

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

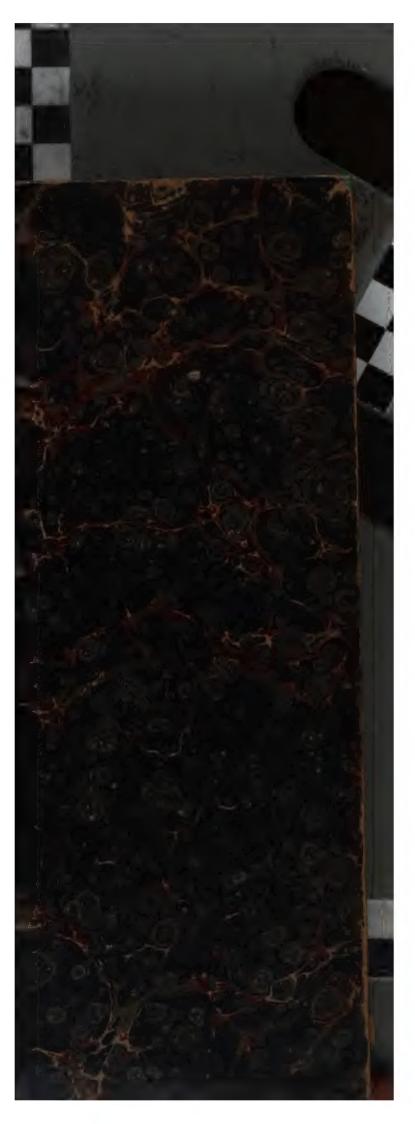
- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
 Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

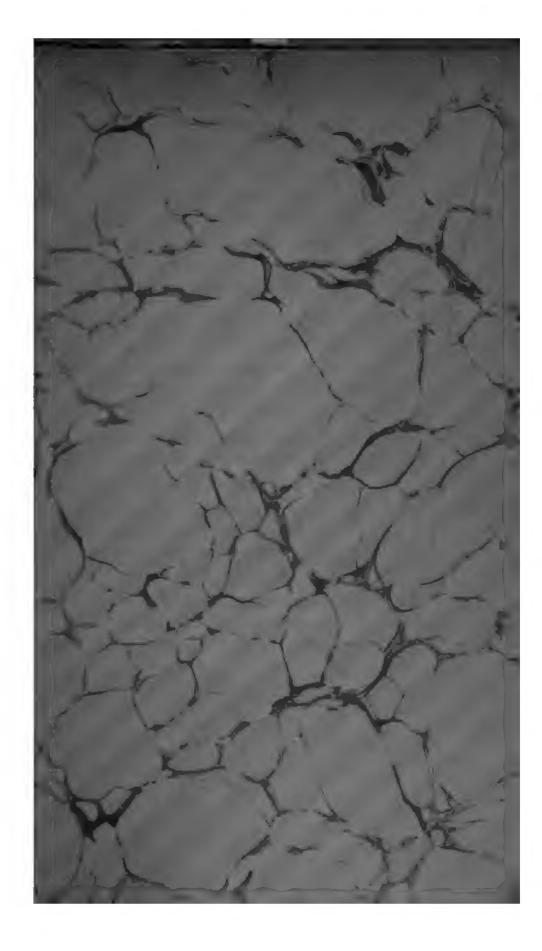
- Не удаляйте атрибуты Google.
 - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
 - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/









Tiutcher, F.I.

СОЧИНЕНІЯ

Ө. И. ТЮТЧЕВА.

СТИХОТВОРЕНІЯ

!!

ПОЛИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія ТРЕНКЕ и ФЮСПО, Максимиліановскій пер., 15 1886. PG3361 TS 1865





Euro Meino?

Keik't nopon bosmun' wheys,

Nobembraems suft Ja engré
Ments, odunt, et um soman,

Coffeent mut occipadnoi nyrs.

1823 rodu.

(Særkæfima. 1850)

A, Monneys



ОГЛАВЛЕНІЕ.

ОТИХОТВОРЕНІЯ.

1820—1836 ¹).

		CTPAH.
На камень жизни роковой	•	. 3
Весеннія воды	•	. 5
Весенняя гроза	•	. 6
Съ поляны воршунъ поднялся	•	. B
Сивжныя горы	•	. 9
Утро въ горахъ		
Весеннее успокоеніе		. 12
Яркій сныть сіяль вы долины		. 13
Ночные голоса		
Безсоница	•	. 16
Нать, моего къ теба пристрастья		. 18
Вчера, въ мечтахъ обвороженныхъ	•	. 19
Ты зналь его въ вругу большаго свъта		
Besyxie		
Изъ края въ край, изъ града въ градъ.		24
Сижу задумчивъ и одинъ	•	. 26
Какое дикое ущелье	• '	. 28
Осенній вечеръ		29
Въ душномъ воздухъ молчанье		. 30
Странникъ.		
Не върь, не върь поэту!		
Вечеръ		
•		=

^{&#}x27;) Въ отдълъ 1820—1836 помъщены стихотворенія относящіяся жъ этому періоду жизни Ө. И., которыхъ даты не могутъ быть опредълены съ точностью, или совствить неизвъстны.

CTI	PAH.
Весна	36
Конь морской	3 8
Декабристамъ	39
Посланіе къ А. В. Шбу.	41
Въ дорогъ	43
«Я помню время золотое»	44
«Какъ надъ горячею золой»	46
Двумъ сестрамъ	47
«Востокъ бълъл Ладья катилась»	48
Арфа скальда	49
Cache-cache	50
Листья	52
«Сей день, я помню, для меня»	54
Сонъ на моръ	55
Видъніе	57
Лебедь.	58
«Еще земли печаленъ видъ»	59
«Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной»	60
Сумерки	61
«Еще шумъль веселый день»	62
«Какъ птичка раннею зарей»	64
«Въ толиъ людей, въ нескромномъ шумъ дня»	66
«Когда пробьеть последній чась природы»	67
Латній вечеръ.	6 8
Венеція.	70
«Вечеръ мглистый и ненастный»	72
Не то что мните вы, природа —	73
Римъ ночью	75
Весна.	76
Друзьямъ	79
«Песокъ сыпучій по колени»	81
«Черезъ ливонскія я профажаль поля»	82
Альцы.	84
Mal'Aria.	85
На взятіе Варшавы.	86
Silentium	88
На смерть Гёте.	90
«Люблю глаза твои, мой другь»	91

	CTPAH.
«Съ горы скатившись, камень легь въ долинъ	. 92
«Тамъ, гдъ горы, убъгая».	93
Tereризе	. 95
Поддень	. 96
Могила Наполеона	. 97
«Потокъ сгустился и тускиветъ»	98
Слезы	99
«Съ какою нъгою, съ какой тоской влюбленный»	. 101
«Что ты клонишь надъ водами»	. 102
Къ Н. И	. 103
Фонтанъ	. 105
Цицеронъ	. 106
1837—1873.	
На смерть Пушкина	. 109
Итальянская Вила	
«Такъ здѣсь-то суждено намъ было»	
«Душа моя — Элизіумъ теней»	
«Живымъ сочувствіемъ привъта»	
«Душа хотыа-бъ быть звыздой»	
«Давно-ль, давно-ль, о югь блаженный»	
«И гробъ опущенъ ужъ въ могилу»	
Къ Ганкв — въ Прагв	
Наполеонъ	
«Тебъ, Колумбъ, тебъ вънецъ»	
«Глядъль я, стоя надъ Невой»	
«И такъ, опять увидълся я съ вами»	
Ротенбургъ	
День и ночь	
«О чемъ ты воешь, вътръ ночной»	
Поэзія	
«Еще томпось тоской желаній»	
Море и утесъ	
«Смотри, какъ на ръчномъ просторъ»	
Русская географія.	
«Вновь твои я вижу очи»	
О Ламартинъ	

CTP	'AH.
Б ли знецы	145
Тихой ночью, позднимъ льтомъ»	147
кКакъ дымный столбъ светлеетъ въ вышине	148
«Вдали отъ солнца и природы»	149
Разсвътъ	150
Конченъ пиръ, умолкли хоры»	152
«Тогда лишь въ полномъ торжествъ»	
·Не разсуждай, не хлопочи»	
Пророчество	
«Подъ дыханьемъ непогоды»	
Два голоса	
Не остывшая отъ зною»	
На Невъ	
. Слезы людскія, о слезы людскія»	
Пошли Господь свою отраду»	
Обвъянъ въщею дремотой»	
Какъ ни дышетъ полдень знойный»	
Нэть, карликъ мой, трусъ безпримърный»	
Графинъ Ростопчиной	
Гроза прошла. Еще курясь, лежаль	
Не даромъ милосердымъ Богомъ•	
«Дума за думой, водна за волной»	
Какъ весель грохоть летнихъ бурь	
Первый листъ	
День вечеръетъ, ночь близка»	
Сіяетъ солнце, воды блещутъ	
• O, не тревожь меня укорой справедливой»	
Не говори: меня онъ какъ и прежде любитъ	
Святая ночь на небосклонъ взошла»	
Проблескъ	
Чему молилась ты съ любовью	
Плаваніе	
Ты, волна моя морская»	
На смерть Жуковскаго	
О, какъ убійственно мы любимъ	
Чародъйкою зимою	
Нашъ вътъ	
Венеція	
	_

			•	стрлн.
«Н очи зналь, — о, эти очи»				200
Предопредъленіе				201
Проъзжая черезъ Ковно				202
•Какое льто, что за льто»				205
Олеговъ щитъ				206
«Теперь тебь не до стиховъ»				207
По случаю прівзда Австрійскаго Эрцг	ерцога	на	похороны	Импе-
ратора Николая				209
На новый 1855 годъ				210
«Увы, что нашего незнанья»				212
•О, въщая душа моя»				213
Гр. Ростопчиной				
«Пламя раветь, пламя пышеть»				
«Такъ, въ жизни есть мгновенья»				
«Эти бъдныя селенья»				
«Воть, отъ моря и до моря»				
Последняя побовь				
«Смотри, какъ роща зеленъетъ»				
Народный праздникъ				
«Есть въ осени первоначальной»				
Царское село.				
Въ часи, когда бываетъ				
«Когда, что звали мы своимъ»				
«Она сидвла на полу»		~ .		228
Дорога изъ Кенигсберга въ Петербург				
>	•			
Е. Н. Анненковой				232
«Не двинулась ночная тынь»				
н. н				235
Memento				237
На юбилей князя П. А. Вяземскаго.				239
я зналь ее еще тогда»				242
При посылка Новаго Завата				
А. А. Фету				
«Хоть я и свиль гнездо въ долине».				
Играй, покуда надъ тобою»				
Когда въ кругу убійственныхъ заботн				
бъ Н. С. А—ой				
				-

CTPAH
Къ Н. С. А—ой
«Ужасный сонъ отяготъль надъ нами»
«Сентябрь холодный бущеваль»
Князю А. А. Сву
«Смотри, какъ западъ загорълся»
Къ Н. Н
Князю Горчакову
На смерть графа Д. Н. Блудова
«Весь день она лежала въ забыты»
«Утихла буря, легче дышеть»
Е. И. В. Государынъ Императрицъ Марін Александровнъ 260
«Какъ не разгаданная тайна»
«О этотъ югъ, о эта Ницца»
Encyclica
«Какъ хорошо ты, о море ночное»
Дочери Д. Ө. Т—ой
На кончину Е. И. В. Государя Наследника Николая Александро-
вича
Телеграмма въ Петергофъ князю II. А. Вяземскому 275
«Пфвучесть есть въ морскихъ волнахъ»
«Какъ неожиданно и ярко»
Я. П. Полонскому
Восходъ солнца
«Ночное небо такъ угрюмо»
Графинъ А. Д. Блудовой
«И въ Божьемъ мірѣ то-жь бываетъ»
«Небо бледно-голубое»
«Тихо въ озеръ струнтся»
На смерть графа М. Н. Муравьева
«Умомъ Россію не понять»
На юбилей Н. М. Карамзина
«Когда дряхльющія силы»
«Ты долго-ль будешь за туманомъ»
«Хотя-бъ она сощла съ лица земного»
Два Единства
Графинъ Л. Д. Блудовой при полученіи отъ нея книги Гр. Д. Н. Б. 297
«Напрасный трудъ! Нъть, ихъ не вразумишь»
Дымъ

	UIPAH
На юбилей князя А. М. Горчакова	30.
Князю П. А. Вяземскому	308
С ла вянамъ	30
«Свершается заслуженная кара»	309
По прочтенів депешъ Императорскаго Кабинета	310
Man muss die Slaven an die Wand drücken!	31:
«Въ небъ тають облака»	
Памяти Егора Петровича Ковалевскаго	
М. П. Погодину	
«Насъ всъхъ, собравшихся на общій праздникъ снова»	
Ю. Ф. Абазв	
«Двъ силы есть — двъ роковыя силы»	
А. Н. Муравьеву	32
Чехамъ, въ годовщину Гуса, при посылкъ Чаши въ Прагу	
Въ деревиъ	
Императрица Евгенія на торжествъ открытія Суэцкаго кан	нала . 33
А. Ө. Гильфердингу	
Гусъ на костръ	
Экспромитъ	
«Природа сфинксъ. И темъ она верней»	
«Надъ Русской Вильной стародавной»	
На кончину брата	
Черное море	
Князю Горчакову	
Въ альбомъ А. В. Плетневой	
По дорогв во Вчижъ	
Дочери М. Ө. В-ой	
Памяти А. Ө. Гильфердинга	
переводы.	
Къ Нисъ	359
О Наполеонъ (изъ Манцони)	
Пѣснь скандинавскихъ воиновъ	
Подражаніе арабскому	
И фснь Радости (изъ Шиллера)	
Поминки (изъ Шиллера)	
«Съ озера въетъ прохлада и нъга» (изъ Шиллера)	

СТРАН
Wilhelm Meister (изъ Гёте)
Wilhelm Meister (изъ Гёте)
Wilhelm Meister (изъ Гёте)
Саконтала (изъ Гёте)
Привътствіе духа (изъ Гёте)
Изъ Фауста (изъ Гёте)
Egmont (изъ Гёте)
Завітный кубокъ (изъ Гёте)
Пъвецъ (изъ Гёте)
«Западъ, Нордъ н'Югъ въ крушенъи (изъ Гёте)
Съ чужой стороны (изъ Гейне)
«Какъ порою свътлый мъсяцъ» (изъ Гейне)
«Другъ, откройся предо мною» (изъ Гейне)
Вопросы (изъ Гейне)
Кораблекрушеніе (изъ Гейне)
«Любовники, безумцы и поэты» (изъ Шекспира) 410
Пъсня (изъ Шекспира)
Въ альбомъ друзьямъ (изъ Байрона)
Микель-Анджело
Въ альбомъ княгини Той (съ французскаго) 414
ПОЛИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.
I. Россія и Германія
II. Россія и Революція
III. Папство и Римскій Вопрось
IV. О цензуръ въ Россіи
приложение.
ПОЛИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ ВЪ ПОДЛИННИКЪ.
I. Lettre à M. le docteur Gustave Kolb 505
II. La Russie et la Révolution
III. La question Romaine
IV. Lettre sur la censure en Russie



1820-1836.

	•	

а камень жизни роковой Природою заброшенъ, Младенецъ пылкій и живой Игралъ неостороженъ, Но Муза сираго взяла Подъ свой покровъ надежный, Поэзіи разостлала Коверъ подъ нимъ роскошный. Какъ скоро, Музы подъ крыломъ, Его созръли годы, Поэтъ, избыткомъ чувствъ влекомъ, Предсталъ во храмъ свободы, Но мрачныхъ жертвъ не приносилъ, Служа ея кумиру, — Онъ горсть цвътовъ ей посвятилъ И пламенную лиру.

Еще другое божество Онъ чтилъ въ младыя лъта:

Амуръ ръзвился вкругъ него И дани бралъ съ поэта.

Ему стрълу на память далъ, — И въ сладкіе досуги

Онъ ею повъсть начерталъ Орфеевой супруги.

И въ мірѣ семъ, какъ въ царствѣ сновъ, Поэтъ живетъ мечтая:

Онъ такъ достигъ земныхъ вѣнцовъ И такъ достигнетъ рая....

Умъ скоръ и смътливъ, въренъ глазъ, Воображенье — быстро....

А спориль въ жизни только разъ — На диспутт Магистра.

II.

Весеннія воды.

ше въ поляхъ бълъетъ снъгъ, А воды ужь весной шумятъ, Бъгутъ и будятъ сонный брегъ, Бъгутъ, и блещутъ, и гласятъ, —

Они гласять, во всъ концы:

- «Весна идетъ, весна идетъ,
- «Мы молодой весны гонцы,
- «Она насъ выслала впередъ!»

Весна идетъ, весна идетъ,
И тихихъ, теплыхъ майскихъ дней
Румяный, свътлый хороводъ
Толпится весело за ней.

III.

Весенняя гроза.

тоблю грозу въ началъ мая, Когда весенній первый громъ, Какъ бы ръзвяся и играя, Грохочеть въ небъ голубомъ.

Гремять раскаты молодые!
Воть дождикь брызнуль, пыль летить...
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотить...

Съ горы бъжить потокъ проворный, Въ лъсу не молкнетъ птичій гамъ, И гамъ лъсной, и шумъ нагорный — Все вторить весело громамъ...

Ты скажешь: вътреная Геба, Кормя Зевесова орда, Громокипящій кубокъ съ неба, Смъясь, на землю пролида!

IV.

Съ поляны коршунъ поднялся, Высоко къ небу онъ взвился; Все выше, далъ вьется онъ И вотъ ушелъ за небосклонъ.

Природа-мать ему дала
Два мощныхъ, два живыхъ крыла;
А я, здъсь въ потъ и пыли,
Я, царь земли, приросъ къ земли!...

V.

Снъжныя горы.

же полдневная пора
Палитъ отвъсными лучами,
И задымилася гора
Съ своими черными лъсами.

Внизу, какъ зеркало стальное, Синъютъ озера струи, И съ камней, блещущихъ на зноъ, Въ родную глубь спъщатъ ручьи.

И между тъмъ какъ, полусонный, Нашъ дольній міръ, лишенный силъ, Проникнутъ нъгой благовонной, Во мглъ полуденной почилъ, — Горѣ, какъ божества родныя Надъ усыпленною землей, Играютъ выси ледяныя Съ лазурью неба огневой.

VI.

Утро въ горахъ.

азурь небесная смъется,
Ночной омытая грозой,
И между горъ росисто вьется
Долина свътлой полосой.

Лишь высшихъ горъ до половины Туманы покрываютъ скатъ, Какъ бы воздушныя руины Волшебствомъ созданныхъ палатъ.

VII.

Весеннее успокоеніе.

О, не кладите меня
Въ землю сырую:
Скройте, заройте меня
Въ траву густую.
Пускай дыханье вътерка
Шевелитъ травою,
Свиръль поетъ издалека,
Свътло и тихо облака
Плывутъ надо мною.

VIII.

ркій снёгь сіяль въ долинё:
Снёгь растаяль и ушель;
Вешній злакъ блестить въ равнинё, —
Злакъ увянеть и уйдеть.

А который вѣкъ бѣлѣетъ
Тамъ, на высяхъ снѣговыхъ?
А заря и нынѣ сѣетъ
Розы свѣжія на нихъ!.....

IX.

Ночные голоса.

жакъ сладко дремлетъ садъ темнозеленый, Объятый нѣгой ночи голубой; Сквозь яблони, цвѣтами убѣлённой. Какъ сладко свѣтитъ мѣсяцъ золотой!

Таинственно, какъ въ первый день созданья, Въ бездонномъ небъ звъздный сонмъ горитъ; Музыки бальной слышны восклицанья, Сосъдній ключъ слышнъе говоритъ.

На міръ дневной спустилася завѣса; Изнемогло движенье, трудъ уснулъ; Надъ спящимъ градомъ, какъ въ вершинахъ лѣса. Проснулся чудный, еженочный гулъ... Откуда онъ, сей гулъ непостижимый?

Иль смертныхъ думъ, освобожденныхъ сномъ,

Міръ безтѣлесный — слышный, но незримый —

Теперь роится въ хаосъ ночномъ?...

X.

Безсонница.

Тасовъ однообразный бой,
Томительная ночи повъсть!
Языкъ для всъхъ равно чужой
И внятный каждому какъ совъсть!

Кто безъ тоски внималъ изъ насъ, Среди всемірнаго молчанья, Глухія времени стенанья, Пророчески прощальный гласъ?

Намъ мнится: міръ осиротѣлый
Неотразимый рокъ настигъ,
И мы, въ борьбъ съ природой цълой,
Покинуты на насъ самихъ;

И наша жизнь стоить предъ нами, Какъ призракъ на краю земли, И съ нашимъ въкомъ и друзьями Блъднъетъ въ сумрачной дали.

И новое, младое племя
Межъ тъмъ на солнцъ разцвъло,
А насъ, друзья, и наше время
Давно забвеньемъ занесло!

Лишь изръдка, обрядъ печальный Свершая въ полуночный часъ, Металла голосъ погребальный Порой оплакиваетъ насъ!

XI.

Ейть, моего къ тебъ пристрастья Я скрыть не въ силахъ, мать земля! Духовъ безплотныхъ сладострастья, Твой върный сынъ, не жажду я. Что предъ тобой утъха рая, — Пора любви, пора весны. Цвътущее блаженство мая. Румяный свътъ, златые сны?

Весь день, въ бездъйствіи глубокомъ, Весенній теплый воздухъ пить, На небъ чистомъ и высокомъ Порою облака слъдить; Бродить безъ дъла и безъ цъли И, ненарокомъ, на лету, Набресть на свъжій духъ синели Или на свътлую мечту!

XII.

чера. въ мечтахъ обвороженныхъ, Съ послъднимъ мъсяца лучомъ
На въждахъ томно-озаренныхъ,
Ты позднимъ позабылась сномъ.

Утихло вкругъ тебя молчанье, И тёнь нахмурилась темнёй, И груди ровное дыханье Струилось въ воздухё слышнёй.

Но сквозь воздушный завысь оконь Недолго лился мракъ ночной, И твой взвывая сонный локонъ Игралъ съ незримою мечтой. Вотъ тихоструйно, тиховъйно, Какъ вътеркомъ занесено, Дымно-легко, мглисто-лилейно Вдругъ что-то порхнуло въ окно.

Вотъ невидимкой пробъжало
По темно-брежжущимъ коврамъ,
Вотъ, ухватясь за одъяло,
Взбираться стало по краямъ;

Воть, словно змѣйка извиваясь, Оно на ложе взобралось, Воть, словно лента развѣваясь, Межъ пологами развилось.

Вдругъ животрепетнымъ сіяньемъ Коснувшись персей молодыхъ, Румянымъ, громкимъ восклицаньемъ Раскрыло шелкъ ръсницъ твоихъ!

XIII.

Ты зналь его въ кругу большаго свъта:

То своенравно весель, то угрюмъ,

Разсъянъ, дикъ иль полонъ тайныхъ думъ, —

Таковъ поэтъ — и ты презрълъ поэта!

На мѣсяцъ взглянь: весь день какъ облакъ тощій, Онъ въ небесахъ едва не изнемогъ; Настала ночь, и свѣтозарный богъ, Сіяетъ онъ надъ усыпленной рощей!

XIV.

Безуміе.

тамъ, гдѣ съ землею обгорѣлой Слился, какъ дымъ, небесный сводъ, Тамъ въ беззаботности веселой Безумье жалкое живетъ.

Подъ раскаленными лучами,
Зарывшись въ пламенныхъ пескахъ,
Оно стекляными очами
Чего-то ищетъ въ облакахъ.

То вспрянеть вдругь, и, чуткимь ухомъ Припавь къ растреснувшей землѣ, Чему-то внемлеть жаднымъ слухомъ Съ довольствомъ тайнымъ на челѣ.

И мнить, что слышить струй кипѣнье, Что слышить токъ подземныхъ водъ, И колыбельное ихъ пѣнье И шумный изъ земли исходъ!..—

XV.

Тары края въ край, изъ града въ градъ Судьба, какъ вихрь, людей мятетъ, И радъ ли ты, или не радъ, Что нужды ей?... впередъ, впередъ!

Знакомый звукъ намъ вътръ принесъ: Любви послъднее прости...
За нами много, много слезъ,
Туманъ, безвъстность впереди!

«О оглянися, о постой,
Куда бѣжать, зачѣмъ бѣжать?
Любовь осталась за тобой;
Гдѣ-жъ въ мірѣ лучшаго сыскать?»

«Любовь осталась за тобой,
Въ слезахъ, съ отчаяньемъ въ груди...
О сжалься надъ своей тоской,
Свое блаженство пощади!»

«Блаженство стольких», стольких» дней Себѣ на память приведи... Все милое душѣ твоей Ты покидаешь на пути»...

— Не время выкликать тёней,
И такъ ужъ этотъ мраченъ часъ!
Усопшихъ образъ тёмъ страшнёй,
Чёмъ въ жизни былъ милёй для насъ.

Изъ края въ край, изъ града въ градъ Могучій вихрь людей мятетъ, И радъ ли ты, или не радъ, Не спросить онъ... впередъ, впередъ!

XVI.

Сижу задумчивъ и одинъ, На потухающій каминъ Сквозь слезъ гляжу, Съ тоскою мыслю о быломъ И словъ, въ уныніи моемъ. Не нахожу.

Былое — было ли когда?
Что нынъ — будетъ ли всегда?
Оно пройдетъ.
Пройдетъ оно, какъ все прошло,
И канетъ въ темное жерло
За годомъ годъ.

За годомъ годъ, за вѣкомъ вѣкъ... Что-жъ негодуетъ человѣкъ,

Сей злакъ земной!...

Онъ быстро, быстро вянетъ... Такъ, Но съ новымъ лётомъ новый злакъ И листъ иной!

И снова будеть все что есть,
И снова розы будуть цвѣсть,
И терны тожъ...
Но ты, мой бѣдный, блѣдный цвѣтъ,
Тебѣ ужъ возрожденья нѣтъ:
Не разцвѣтешь!

Ты сорвань быль моей рукой,
Съ какимъ блаженствомъ и тоской
То знаетъ Богъ!...
Останься-жъ на груди моей,
Пока любви не замеръ въ ней
Послъдній вздохъ!

ΧΥΠ.

Ко мит на встртчу ключь отжить:
Онъ въ домъ сптитъ на новоселье,
Я лту вверхъ, гдт ель стоитъ.

Вотъ взобрался я на вершину, Сижу здёсь радостенъ и тихъ... Ты къ людямъ, ключъ, спёшишь въ долину: Попробуй — каково у нихъ!

хуш.

Осенній вечеръ.

Умильная, таинственная прелесть...
Зловъщій блескъ и пестрота дерёвъ,
Багряныхъ листьевъ томный, легкій шелестъ.
Туманная и тихая лазурь
Надъ грустно сиротъющей землею,
И, какъ предчувствіе сходящихъ бурь,
Порывистый, холодный вътръ порою.
Ущербъ, изнеможенье, и на всемъ
Та кроткая улыбка увяданья,
Что въ существъ разумномъ мы зовемъ
Возвышенной стыдливостью страданья.

XIX.

_ .,U

То душномъ воздухъ молчанье Какъ предчувствие грозы. Жарче розъ благоуханье, Звонче голосъ стрекозы.

Чу! за бълой душной тучей Прокатился глухо громъ; Небо молніей летучей Опоясалось кругомъ...

Жизни нѣкій преизбытокъ
Въ знойномъ воздухѣ разлитъ,
Какъ божественный напитокъ
Въ жилахъ млѣетъ и горить!

Дѣва, дѣва, что волнуетъ
Дымку персей молодыхъ?
Что мутится, что тоскуетъ
Влажный блескъ очей твоихъ?

Что, блёднёя, замираеть
Пламя дёвственныхъ ланить?
Что такъ грудь твою спираетъ
И уста твои палитъ?

Сквозь рёсницы шелковыя Проступили двё слезы..... Иль то капли дождевыя Зачинающей грозы...

XX.

Странникъ.

годенъ Зевсу бъдный странникъ, Надъ нимъ святой его покровъ! Домашнихъ очаговъ изгнанникъ, Онъ гостемъ сталъ благихъ боговъ!

Сей дивный міръ, ихъ рукъ созданье, Съ разнообразіемъ своимъ, Лежитъ развитый передъ нимъ, Въ утъху, пользу, въ назиданье.

Чрезъ веси, грады и поля, Свътлъя, стелется дорога; Ему отверста вся земля, Онъ видитъ все и славитъ Бога!

XXI.

Не върь, не върь поэту!

Его своимъ ты не вови,
И пуще пламеннаго гнѣва
Страшись поэтовой любви!

Его ты сердца не усвоишь Своей младенческой душой, Огня палящаго не скроешь Подъ легкой дёвственной фатой.

Поэтъ всесиленъ, какъ стихія, — Не властенъ лишь въ себъ самомъ: Невольно кудри молодыя Онъ обожжетъ своимъ вънцомъ... Вотще поносить или хвалить Поэта — суетный народь: Онь не змѣею сердце жалить, Но какъ пчела его сосеть!

Твоей святыни не нарушить Поэта чистая рука, Но ненарокомъ жизнь задушить Иль унесеть за облака.

$XX\Pi$.

Вечеръ.

Далекій колокольный звонъ, — Какъ шорохъ стаи журавлиной — И въ шумъ листьевъ замеръ онъ.

Какъ море вешнее въ разливѣ, Свѣтлѣя, не колышетъ день, — И торопливѣй, молчаливѣй Ложится по долинѣ тѣнь.

1825

XXIII.

Весна.

Вима не даромъ злится:Прошла ея пора;Весна въ окно стучитсяИ гонитъ со двора.

И все засуетилось,
Все гонить зиму вонь,
И жаворонки въ небъ
Ужъ подняли трезвонъ.

Зима еще хлопочеть
И на весну ворчить,
Та ей въ глаза хохочетъ
И пуще лишь шумить!

Взбѣсилась вѣдьма злая И, снѣгу захватя, Пустила, убѣгая, Въ прекрасное дитя.

Веснъ и горя мало:
Умылася въ снъту,
И лишь румянъй стала
На перекоръ врагу.

XXIV.

Конь морской.

©, рьяный конь, о конь морской, Съ блёдно-зеленой гривой, То смирный, ласково-ручной, То бёшено игривый! Ты буйнымъ вихремъ вскормленъ былъ Въ широкомъ Божьемъ полё, Тебя онъ прядать научилъ, Играть, скакать по волё!

Люблю тебя, когда стремглавъ
Въ своей надменной силѣ,
Густую гриву растрепавъ,
И весь въ пару и въ мылѣ,
Къ брегамъ направивъ бурный бѣгъ,
Съ веселымъ ржаньемъ мчишься,
Копыта кинешь въ звонкій брегъ
И въ брызги разлетишься!...

XXV.

Декабристамъ.

шась развратило самовластье,
И мечь его вась поразиль,
И въ неподкупномъ безпристрастьи
Сей приговоръ законъ скръпилъ.

Народъ, чуждаясь вёроломства, Поносить ваши имена, И ваша память для потомства, Какъ трупъ въ землё, схоронена.

О жертвы мысли безразсудной!
Вы уповали, можеть быть,
Что станеть вашей крови скудной,
Чтобъ въчный полюсь растопить.

Едва дымясь, она сверкнула На въковой громадъ льдовъ: Зима желъзная дохнула, И не осталось и слъдовъ.

1826.

XXVI.

Посланіе къ А. В. Ш...бу.

Ба-силу добрый геній твой, Мой брать по крови и по лъни, Увель тебя подъ кровъ родной Отъ всъхъ манёвровъ и ученій, Казармъ, тревогъ и заточеній, Отъ жизни мирно-боевой. Въ кругу своихъ, въ халатъ, дома, И съ службой согласивъ покой, Ты праздный мечъ повъсиль свой Въ саду героя-агронома. Но что-жь? Ты могъ ли на просторъ Мечть любимой измънить? Ты знаешь, брать, что праздность — горе Коль не съ къмъ намъ ее дълить. Прими-жь мой дружескій совъть — (Оракулъ говорилъ стихами

И убъждаль, бывало, свъть):
Между московскими красами
Найдти легко, сомнънья нъть,
Красавицу въ пятнадцать лътъ,
Съ умомъ, душою и душами.
Оставь на время плугъ Толстаго,
Забудь химеры и чины,
Женись, — и въ полномъ смыслъ слова
Будь адъютантъ своей жены.
Тогда предайся вдохновенью,
Разбудитъ Музу Гименей, —
Своей пожертвую я лънью,
Лишь ты свою преодолъй!

1826.

XXVII.

Въ дорогъ.

Едьсь, гдь такъ вяло сводъ небесный На землю тощую глядитъ. Здъсь, погрузившись въ сонъ жельзный, Усталая природа спитъ. Лишь кой-гдъ блъдныя березы, Кустарникъ мелкій, мохъ съдой, Какъ лихорадочныя грезы, Смущаютъ мертвенный покой.

XXVIII.

помню время волотое,
Я помню сердцу милый край...
День вечерёль. Мы были двое,
Внизу, въ тёни, шумёль Дунай;

И на холму, тамъ, гдв бвивя, Руина замка вдаль глядитъ, Стояла ты, младая фея, На мшистый опершись гранитъ.

Ногой младенческой касаясь
Обломковъ груды въковой...
И солнце медлило, прощаясь
Съ холмомъ, и съ замкомъ, и съ тобой.

И вътеръ тихій мимолетомъ
Твоей одеждою игралъ
И съ дикихъ яблонь цвътъ за цвътомъ
На плечи юныя свъвалъ.

Ты беззаботно вдаль глядёла...
Край неба дымно гасъ въ лучахъ;
День догоралъ; звучнёе пёла
Рёка въ померкшихъ берегахъ.

И ты, съ веселостью безпечной, Счастливый провожала день... И сладко жизни быстротечной Надъ нами пролетала тёнь.

1827.

XXIX.

Дымится свитокъ и сгараетъ, И огнь, сокрытый и глухой, Слова и строки пожираетъ, —

Такъ грустно тлится жизнь моя — И съ каждымъ днемъ уходитъ дымомъ — Такъ постепенно гасну я
Въ однообразьи нестерпимомъ...

О небо, еслибы хоть разъ Сей пламень развился по волъ, И не томясь, не мучась долъ, Я просіялъ бы и погасъ!

XXX.

Двумъ сестрамъ.

Обыхь вась я видёль вмёстё,
И всю тебя узналь я въ ней:
Та-жь тихость взора, нёжность гласа,
Та-жь прелесть утренняго часа,
Что вёяла съ главы твоей!
И все, какъ въ веркалё волшебномъ,
Все обозначилося вновь:
Минувшихъ дней печаль и радость,
Твоя утраченная младость,
Моя погибшая любовь!

XXXI.

Бостокъ бълълъ... Ладья катилась, Вътрило весело звучало!
Какъ опрокинутое небо
Подъ нами море трепетало.

Востокъ алёлъ... Она молилась, Съ кудрей откинувъ покрывало, Дышала на устахъ молитва, Во взорахъ небо ликовало...

Востокъ вспылалъ... Она склонилась, Блестящая поникла выя, И по младенческимъ ланитамъ. Струились капли огневыя...

XXXII.

Арфа скальда.

О, арфа скальда, долго ты спала
Въ тѣни, въ тиши забытаго угла;
Но лишь луны, очаровавшей мглу,
Лазурный свѣтъ блеснулъ въ твоемъ углу,
Вдругъ, чудный звонъ затрепеталъ въ струнѣ,
Какъ бредъ души, встревоженной во снѣ.

Какой онъ жизнью на тебя дохнулъ?

Иль старину тебъ онъ вспомянулъ,

Какъ по ночамъ здъсь сладострастныхъ дъвъ

Давноминувшій вторился напъвъ?

Иль въ сихъ цвътущихъ и поднесь садахъ

Ихъ легкихъ ногъ скользитъ незримый шагъ?

XXXIII.

Cache-cache.

Боть арфа ея въ обычайномъ углу, Гвоздики и розы стоятъ у окна, Полуденный лучъ задремалъ на полу: Условное время! Но гдъ же она?

О, кто мнѣ поможетъ шалунью сыскать, Гдѣ, гдѣ пріютилась сильфида моя? Волшебную близость, какъ бы благодать Разлитую въ воздухѣ, чувствую я.

Гвоздики не даромъ лукаво глядять, Не даромъ, о розы, на вашихъ листахъ Жарчъе румянецъ. свъжъй ароматъ: Я понялъ, кто скрылся, зарылся въ цвътахъ. Не арфы-ль твоей мнѣ послышался звонъ?
Въ струнахъ ли мечтаешь укрыться златыхъ?
Металлъ содрогнулся, тобой оживленъ,
И сладостный трепетъ еще не затихъ.

Какъ плящуть пылинки въ полдневныхъ лучахъ Какъ искры живыя въ родимомъ огнъ! Видалъ я сей пламень въ знакомыхъ очахъ, Его упоенье извъстно и мнъ.

Влетель мотылекь и съ цветка на другой, Притворно-безпечный, онъ началь порхать. О, полно кружиться, мой гость дорогой! Могу ли, воздушной, тебя не узнать?

XXXIV.

Листья.

Тусть сосны и ели
Всю зиму торчать,
Въ снъта и мятели
Закутавшись спять.
Ихъ тощая зелень,
Какъ иглы ежа,
Хоть ввъкъ не желтъетъ,
Но ввъкъ не свъжа.

Мы-жь, легкое племы, Цвътемъ и блестимъ, И краткое время На сучьяхъ гостимъ. Все красное лъто Мы были въ красъ, Играли съ лучами, Купались въ росъ!...

Но птички отпѣли,
Пвѣты отцвѣли,
Луга поблѣднѣли,
Зефиры ушли.
Такъ что же намъ даромъ
Висѣть и желтѣть?
Не лучше-ль за ними
И намъ улетѣть?

О буйные вътры,
Скоръе, скоръй!
Скоръй насъ сорвите
Съ докучныхъ вътгей!
Сорвите, умчите,
Мы ждать не хотимъ, —
Летите, летите!
Мы съ вами летимъ!

XXXV.

Оей день, я помню, для меня
Выль утромъ жизненнаго дня:
Стояла молча предъ мною,
Вздымалась грудь ея волною,
Алъли щеки какъ заря,
Все жарче рдъя и горя...
И вдругъ, какъ солнце молодое,
Любви признанье золотое
Исторглось изъ груди ея,
И новый міръ увидълъ я!

XXXVI.

Сонъ на моръ.

море и буря качали нашъ челнъ; Я сонный, быль предань всей прихоти волнъ; И двъ безпредъльности были во мнъ — И мной своевольно играли онъ. Кругомъ, какъ кимвалы, звучали скалы, И вътры свистъли, и пъли валы. Я въ хаосъ звуковъ леталъ оглушенъ; Надъ хаосомъ звуковъ носился мой сонъ. Бользненно-яркій, волшебно-ньмой, Онъ въяль легко надъ гремящею тьмой, Въ лучахъ огневицы развилъ онъ свой міръ, Земля зеленъла, свътился эниръ... Сады, лабиринты, чертоги, столпы... И чудился шорохъ несмътной толпы. Я много узналь мнъ невъдомыхъ лицъ, Зржль тварей волшебныхь, таинственныхь птиць, По высямъ творенья я гордо шагалъ, И міръ подо мною недвижно сіялъ... Сквозь грёзы, какъ дикій волшебника вой, Лишь слышался грохотъ пучины морской, И въ тихую область видѣній и сновъ Врывалися тѣни ревущихъ валовъ.

XXXVII.

Видъніе.

и въ оный часъ всемірнаго молчанья, и въ оный часъ явленій и чудесъ... Живая колесница мірозданья Открыто катится въ святилищъ небесъ!

Тогда густветь ночь, какъ хаосъ на водахъ. Безпамятство, какъ Атласъ, давитъ сушу; Лишь Музы дъвственную душу Въ пророческихъ тревожатъ боги снахъ!

XXXVIII.

Лебедь.

шускай орель за облаками
Встръчаеть молніи полеть,
И неподвижными очами
Въ себя впиваеть солнца свъть.

Но нѣтъ завиднѣе удѣла,
О, лебедь чистый, твоего!
И чистой, какъ ты самъ, одѣло
Тебя стихіей Божество.

Она между двойною бездной Лельеть твой всезрящій сонь, И полной славой тверди звъздной Ты отовсюду окружень.

XXXIX.

ше земли печаленъ видъ,

А воздухъ ужъ весною дышетъ —

И мертвый въ полъ стебль колышетъ

И елей вътви шевелитъ.

Еще природа не проснулась, Но сквозь ръдъющаго сна Весну прослышала она И ей невольно улыбнулась.

Душа, душа, спала и ты...
Но что же, вдругь, тебя волнуеть,
Твой сонь ласкаеть и цёлуеть
И золотить твои мечты?

Блестять и тають глыбы снѣга, Блестить дазурь, играеть кровь... Или весенняя то нѣга? Или то женская любовь?

XL.

Земная жизнь кругомъ объята снами,
Настанетъ ночь, и звучными волнами
Стихія бьетъ о берегъ свой.

То гласъ ея: онъ нудить насъ и просить, Ужь въ пристани волшебный ожиль чолнъ... Приливъ растеть и быстро насъ уносить Въ неизмъримость темныхъ волнъ.

Небесный сводъ, горящій славой звіздной Таинственно глядить изъ глубины, И мы плывемъ, пылающею бездной Со всіхъ сторонъ окружены.

XLI.

Сумерки.

Тъни сизыя смъсились,

Цвътъ поблекнуль, звукъ уснуль, —

Жизнь, движенье разръшились

Въ сумракъ зыбкій, въ дальный гулъ...

Мотылька полетъ незримый

Слышенъ въ воздухъ ночномъ...

Часъ тоски невыразимой!

Все во мнъ — и я во всемъ!...

Сумракъ тихій, сумракъ сонный, Лейся въ глубь моей души, Тихій, томный, благовонный, Все залей и утиши. Чувства — мглой самозабвенья Переполни черезъ край, Дай вкусить уничтоженья, Съ міромъ дремлющимъ смѣшай.

XLII.

шие шумълъ веселый день,
Толпами улица блистала,
И облаковъ вечернихъ тънь
По свътлымъ кровлямъ пролетала.

И доносилися порой
Всѣ звуки жизни благодатной,
И все въ одинъ сливалось строй, —
Строй звучный, шумный и невнятной.

Весенней нѣгой утомленъ, Я впалъ въ невольное забвенье. Не знаю, дологъ ли былъ сонъ, По странно было пробужденье. Затихъ повсюду шумъ и гамъ И воцарилося молчанье; Ходили тъни по стънамъ, И полусонное мерцанье;

Украдкою въ мое окно
Глядъло блъдное свътило,
И мнъ казалось, что оно
Мою дремоту сторожило.

И мнѣ казалось, что меня
Какой-то миротворный геній
Изъ пышно-золотого дня
Увлекъ незримо въ царство тѣней.

хіш.

Жакъ птичка раннею зарей,
Міръ, пробудившись, встрепенулся...
Ахъ, лишь одной главы моей
Сонъ благодатный пе коснулся!
Хоть свёжесть утренняя вѣетъ
Въ моихъ всклокоченныхъ власахъ.
На мнѣ, я чую, тяготѣетъ
Вчерашній зной. вчерашній прахъ!

О, какъ произительны и дики,
Какъ ненавистны для меня —
Сей шумъ, движенье, говоръ, клики
Младаго, пламеннаго дня!
О, какъ лучи его багровы,
Какъ жгутъ они мон глаза!
Ночь, ночь! о, гдѣ твои покровы.
Твой тихій сумракъ и роса?...

Обломки старыхъ поколёній,
Вы, пережившіе свой вёкъ,
Какъ вашихъ жалобъ, вашихъ пеней
Неправый праведенъ упрекъ!
Какъ грустно полусонной тёнью,
Съ изнеможеніемъ въ кости,
На встрёчу солнцу и движенью
За новымъ племенемъ брести!

XLIV.

Торой мой взоръ, движенья, чувства, рѣчи, Твоей не смѣютъ радоваться встрѣчѣ, Душа моя, о не вини меня!

Смотри, какъ днемъ туманисто-бѣло
Чуть брежжетъ въ небѣ мѣсяцъ свѣтозарный,
Наступитъ ночь и въ чистое стекло
Вольетъ елей душистый и янтарный!

XLV.

Разрушится составъ частей земныхъ:
Все зримое опять покроютъ воды,
И Божій ликъ изобразится въ нихъ.

XLVI.

Лътній вечеръ.

жъ солнца раскаленный жаръ
Съ главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожаръ
Волна морская поглотила.

Ужъ звъзды свътлыя взошли, И тяготъющій надъ нами Небесный сводъ приподняли Своими влажными главами.

Рѣка воздушная полнѣй
Течетъ межъ небомъ и землею;
Грудь дышетъ легче и вольнѣй
Освобожденная отъ зною.

И сладкій трепеть, какъ струя, По жиламъ пробѣжалъ природы, Какъ бы горячихъ ногъ ея Коснулись ключевыя воды!

1827.

XLVII.

Венеція.

ожъ Венеціи свободной Средь лазоревыхъ зыбей, Какъ женихъ порфирородный Достославно, всенародно Обручался ежегодно Съ Адріатикой своей.

И не даромъ въ эти воды
Онъ кольцо свое бросалъ:
Въки цълые, не годы,
Дивовалися народы...
Чудный перстень воеводы
Ихъ вязалъ и чаровалъ.

И чета въ любви и мирѣ
Много славы нажила.
Въка три или четыре,
Все могучъе и шпре,
Разросталась въ цъломъ мірѣ
Тънь отъ львинаго крыла.

А теперь въ волнахъ забвенья Сколько брошенныхъ колецъ! Миновались поколънья, Эти кольца обрученья, Эти кольца стали звенья Тяжкой цъпи наконецъ!

XLVIII.

Речеръ мглистый и ненастный...

Чу! не жаворонка-ль гласъ?

Ты-ли утра гость прекрасный,

Въ этотъ поздній, мертвый часъ?

Гибкій, ръзвій, звучно-ясный, Въ этотъ мертвый, поздній часъ, Какъ безумья смъхъ ужасный, Онъ всю душу мнъ потрясъ!

XLIX.

е то что мните вы, природа — Не слѣпокъ, не бездушный ликъ: Въ ней есть душа, въ ней есть свобода, Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ.

Вы эрите листь и цвёть на древё:

Иль ихъ садовникъ приклеилъ?

Иль эрёеть плодъ въ родимомъ чревё

Игрою внёшнихъ чуждыхъ силъ?

Они не видять и не слышать, Живуть въ семъ мірѣ какъ въ потьмахъ, Для нихъ и солнца, знать, не дышатъ И жизни нѣтъ въ морскихъ волнахъ. Лучи къ нимъ въ душу не сходили, Весна въ груди ихъ не цвѣла, При нихъ лѣса не говорили И ночь въ звѣздахъ нѣма была,

И, языками неземными
Волнуя ръки и лъса,
Въ ночи не совъщалась съ ними
Въ бесъдъ дружеской гроза.

Не ихъ вина: пойми, коль можеть, Органа жизнь, глухо-нѣмой! Увы, души въ немъ не встревожитъ И голосъ матери самой!

1829.

L.

Римъ ночью.

Взошла луна и овладъла имъ,
И спящій градъ, безлюдно-величавый,
Наполнила своей безмолвной славой...
Какъ сладко дремлетъ Римъ въ ея лучахъ,
Какъ съ ней сроднился Рима въчный прахъ!
Какъ будто лунный міръ и градъ почившій,
Все тотъ же міръ, волшебный, но отжившій!...

LI.

Весна.

1.

Какъ ни гнететъ рукъ судьбины.
Какъ ни томитъ людей обманъ,
Какъ ни браздятъ чело морщины,
И сердце какъ ни полно ранъ,
Какимъ бы строгимъ испытаньямъ
Вы ни были подчинены, —
Что устоитъ передъ дыханьемъ
И первой встръчею весны?

2.

Весна — она о васъ не знаетъ О васъ, о горъ и о влъ; Безсмертьемъ взоръ ея сіяетъ. И ни морщины на челъ...

Своимъ законамъ лишь послушна, Въ условный часъ слетаетъ къ налъ, Свътла, блаженно-равнодушна, Какъ подобаетъ божествамъ.

3.

Цвътами сыплетъ надъ землею, Свъжа, какъ первая весна: Была-ль другая передъ нею — О томъ не въдаетъ она. По небу много облакъ бродитъ, Но эти облака ея: Она ни слъду не находитъ Отцвътшихъ весенъ бытія.

4

Не о быломъ вздыхають розы

И соловей въ ночи поетъ;

Благоухающія слезы

Не о быломъ Аврора льетъ;

И страхъ кончины неизбъжной

Не свъетъ съ древа ни листа;

Ихъ жизнь, какъ океанъ безбрежный

Вся въ настоящемъ разлита.

5.

Игра и жертва жизни частной,
Приди-жъ, отвергни чувствъ обманъ
И ринься, бодрый, самовластный,
Въ сей животворный океанъ!
Приди — струей его эфирной
Омой страдальческую грудь
И жизни божески — всемірной
Хотя на мигъ причастенъ будь!

1829.

LII.

Друзьямъ.

При посылкъ пъсни «Радости» Шиллера.

То пѣлъ Божественный, друзья,
Въ порывѣ пламенномъ свободы,
И въ полномъ чувствѣ Бытія,
Когда на пиршество Природы
Пѣвецъ, любимый сынъ ея,
Сзывалъ въ единый кругъ народы;
И съ восхищенною душей
Во взорахъ — лучъ животворящій —
Изъ чаши Генія кипящей
Онъ пилъ за здравіе людей:

О! мив-ли пъть сей Гимиъ веселой,
Оть близкихъ сердцу вдалекъ,
Въ нераздъляемой тоскъ —
Мив-ль радость пъть на лиръ онъмълой?

Веселье въ ней не сыщеть звука, Его игривая струна Слезами скорби смочена, — И порвала ее Разлука!

Но вамъ, друзья, знакомо вдохновенье!

— На краткій мигъ въ сердечномъ упоеньъ Я жребій свой невольно забывалъ,

(Минутное, но сладкое забвенье!)

Къ протекшему душею улеталъ,

И радость пълъ — нока о васъ мечталъ. —

1829.

LIII.

шесокъ сыпучій по кольни...

Мы вдемъ... поздно... меркнеть день,

И сосенъ по дорогь тыни
Уже въ одну слилися тынь.

Чернъй и чаще боръ глубокій...

Какія грустныя мъста!...

Ночь хмурая, какъ звърь стоокій,

Глядитъ изъ каждаго куста.

1830.

LIV.

шерезъ ливонскія я пробажаль поля,
Вокругъ меня все было такъ уныло;
Безцвътный грунтъ небесъ, песчаная земля
Все на душу раздумье наводило.

Я вспомниль о быломъ печальной сей земли — Кровавую и мрачную ту пору, Когда сыны ея, простертые въ пыли, Лобзали рыцарскую шпору.

И глядя на тебя, пустынная рѣка,
И на тебя, прибрежная дуброва,
Вы, — мыслилъ я — пришли издалека,
Вы, — сверстники сего былова!

Такъ вамъ однимъ лишь удалось
Дойдти до насъ съ бреговъ другого свѣта:
О, еслибъ про него хоть на одинъ вопросъ
Могъ допроситься я отвѣта!...

Но твой, природа, міръ о дняхъ былыхъ молчитъ, Съ улыбкою двусмысленной и тайной: Такъ отрокъ, чаръ ночныхъ свидътель бывъ случайной, При нихъ и днемъ молчаніе хранитъ.

1830.

1

LV.

Альпы.

Сквозь дазурный сумракъ ночи
Альпы снёжныя глядятъ;
Помертвёлыя ихъ очи
Льдистымъ ужасомъ разятъ.
Властью нёкой обаянны,
До восшествія зари,
Дремлятъ грозны и туманны,
Словно падшіе цари!

Но Востокъ дишь заалбеть,
Чарамъ гибельнымъ конецъ:
Первый, въ небъ, просвътлъетъ
Брата старшаго вънецъ.
И съ главы большаго брата
На меньшихъ бъжитъ струя,
И блеститъ въ вънцахъ изъ злата
Вся воскресшая семья...

1830.

LVI.

Mal'Aria.

Во всемъ разлитое, таинственное зло —
Въ цвътахъ, въ источникъ прозрачномъ какъ стекло,
И въ радужныхъ лучахъ, и въ самомъ небъ Рима!
Все тажъ высокая, безоблачная твердь,
Все также грудь твоя легко и сладко дышетъ,
Все тотъ же теплый вътръ верхи деревъ колышетъ,
Все тотъ же запахъ розъ... и это все есть смерть!

Какъ въдать? Можетъ быть и есть въ природъ звуки, Благоуханія, цвъты и голоса — Предвъстники для насъ послъдняго часа И усладители послъдней нашей муки. И ими-то, судебъ посланникъ роковой, Когда сыновъ земли изъ жизни вызываетъ Какъ тканью легкою свой образъ прикрываетъ, Да утаитъ отъ нихъ приходъ ужасный свой!

LVII.

На взятіе Варшавы.

акъ дочь родную на закланье Агамемнонъ богамъ принесъ, Прося попутныхъ бурь дыханья У негодующихъ небесъ: Такъ мы надъ горестной Варшавой Ударъ свершили роковой, Да купимъ сей цъной кровавой Россіи цълость и покой.

... Нѣтъ, насъ одушевляло къ боюНе чревобѣсіе меча,Не звѣрство Янычаръ ручноеИ не покорность палача!

Другая мысль, другая вѣра
У русскихъ билася въ груди:
Грозой спасительною мѣра —
Державы цѣлость соблюсти:

Славянъ родныя поколѣнья
Подъ знамя Русское собрать
И весть на подвигъ просвѣщенья
Единомысленную рать.

И это высшее сознанье
Вело нашъ доблестный народъ;
Путей небесныхъ оправданье
Онъ смъло на себя беретъ.
Онъ чуетъ надъ своей главою
Звъзду въ незримой высотъ,
И неуклонно за звъздою
Идетъ къ таинственной метъ.

Ты-жь, братскою стрёлой произенный, Судебъ свершая приговоръ, Ты палъ, орелъ одноплеменный, На очистительный костеръ! Вёрь слову Русскаго народа: Твой пеплъ мы свято сбережемъ, И наша общая свобода, Какъ фениксъ, возродится въ немъ!

LVIII. Silentium.

Молчи, скрывайся и таи И чувства, и мечты свои! Пускай въ душевной глубинъ И всходять, и зайдуть онъ, Какъ звъзды ясныя въ ночи: Любуйся ими и молчи.

Какъ сердцу высказать себя? Другому какъ понять тебя? Пойметъ ли онъ, чъмъ ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи: Питайся ими и молчи! Лишь жить въ самомъ себъ умъй! Есть цълый міръ въ душъ твоей Таинственно-волшебныхъ думъ; Ихъ заглушитъ наружный шумъ, Дневные ослъпятъ лучи: Внимай ихъ пънью и молчи.

LIX.

На смерть Гёте.

да древъ человъчества высокомъ,
Ты лучшимъ былъ его листомъ,
Воспитанный его чистъйшимъ сокомъ,
Развить чистъйшимъ солнечнымъ лучомъ.

Съ его великою душою Созвучнъй всъхъ, на немъ ты трепеталъ, Пророчески бесъдовалъ съ грозою Иль весело съ зефирами игралъ.

Не поздній вихрь, не бурный ливень лѣтній Тебя сорваль съ родимаго сучка: Быль многихь краше, многихь долголѣтнѣй, И самъ собою паль — какъ изъ вѣнка.

LX.

шюблю глаза твои, мой другь, Съ игрой ихъ пламенно-чудесной, Когда ихъ приподымешь вдругъ И словно молніей небесной Окинешь бъгло цълый кругъ...

Но есть сильнъй очарованье:
Глаза потупленные ницъ
Въ минуты страстнаго лобзанья,
И сквозь опущенныхъ ръсницъ
Угрюмый, тусклый огнь желанья...

LXI.

Оъ горы скатившись, камень легь въ долинъ.

Какъ онъ упалъ, никто не знаетъ нынъ.

Сорвался-ль онъ съ вершины самъ собой,

Или низвергнутъ мыслящей рукой?

Столътье за столътьемъ пронеслося:

Никто еще не разръшилъ вопроса.

17 Янв. 1833.

LXII.

амъ, гдъ горы, убъгая, Въ свътлой тянутся дали, Пресловутаго Дуная Льются въчныя струи.

Тамъ-то, молвятъ, въ стары годы, По лазуревымъ ночамъ, Фей вилися хороводы Подъ водой и по водамъ.

Мъсяцъ слушалъ, волны пъли, И, навъсясь съ горъ крутыхъ, Замки рыцарей глядъли Съ сладкимъ ужасомъ на нихъ.

И лучами не земными, Заключенъ и одинокъ, Перемигивался съ ними Съ древней башни огонекъ. Звёзды въ небё имъ внимали, Проходя за строемъ строй, И бесёду продолжали Тихомолкомъ межь собой.

Въ панцырь дѣдовскій закованъ, Воинъ — сторожъ на стѣнѣ — Слышалъ, тайно очарованъ, Дальній гулъ какъ бы во снѣ.

Чуть дремотой забывался, Гуль яснёль и грохоталь... Онь сь молитвой просыпался И дозорь свой продолжаль.

Все прошло, все взяли годы, Поддался и ты судьбѣ, О, Дунай, и пароходы Нынче рыщуть по тебъ.

LXIII.

Тегернзе.

лютеранъ люблю богослуженье, Обрядъ ихъ строгій, важный и простой; Сихъ голыхъ стѣнъ, сей храмины пустой Понятно мнѣ высокое ученье.

Но видите-ль? Собравшися въ дорогу,
Въ послъдній разъ вамъ Въра предстоитъ:
Еще она не перешла порогу,
Но домъ ея ужь пустъ и голъ стоитъ;

Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь...
Но часъ насталъ, пробилъ... Молитесь Богу
Въ послъдній разъ вы молитесь теперь...

LXIV.

Полдень.

Евниво дышеть полдень мглистый, Лъниво катится ръка, И въ тверди пламенной и чистой Лъниво таютъ облака.

И всю природу, какъ туманъ, Дремота жаркая объемлетъ, И самъ теперь великій Панъ Въ пещеръ нимфъ спокойно дремлетъ.

LXV.

Могила Наполеона.

ушой весны природа ожила,
И блещеть все въ торжественномъ поков:
Лазурь небесъ и море голубое,
И дивная гробница и скала!
Древа кругомъ покрылись новымъ цвётомъ
И тёни ихъ, средь общей тишины,
Чуть зыблются дыханіемъ волны
На мраморъ, весною разогрётомъ...

Давно-ль умолкъ Перунъ его побѣдъ,
И гулъ отъ нихъ стоитъ доселѣ въ мірѣ...

И умъ людей великой тѣнью полнъ,
А тѣнь его, одна, на брегѣ дикомъ,

И тъшится морскихъ пернатыхъ крикомъ...

Чужда всему, внимаетъ шуму волнъ

LXVI.

Потокъ сгустился и тускитеть
И прячется подъ твердымъ льдомъ,
И гаснетъ цвтъ, и звукъ нъмбетъ
Въ оцтентный ледяномъ.
Лишь жизнь безсмертную ключа
Сковать, всесильный хладъ не можетъ:
Она все льется и, журча,
Молчанье мертвое тревожитъ.

Такъ и въ груди осиротълой,
Убитой хладомъ бытія,
Не льется юности веселой,
Не блещетъ ръзвая струя.
Но подо льдистою корой
Еще есть жизнь, еще есть ропотъ.
И внятно слышится порой
Ключа таинственнаго шопотъ.

LXVII.

Слезы.

O lacrimarum fons...

Gray.

шюблю, друзья, ласкать очами Иль пурпуръ искрометныхъ винъ, Или плодовъ между листами Благоухающій рубинъ.

Люблю смотръть, когда созданье Какъ бы погружено въ веснъ. И міръ заснулъ въ благоуханьъ И улыбается во снъ!...

Люблю, когда лицо прекрасной Весенній воздухъ пламенитъ, То кудрей шелкъ взвъваетъ сладострастный, То въ ямочки впивается ланить!

Но что вст прелести павосскія царицы И гроздій сокъ и запахъ розъ, Передъ тобой, святой источникъ слёзъ, Роса божественной денницы!...

Небесный лучъ играетъ въ нихъ И, преломясь о капли огневыя, Рисуетъ радуги живыя На тучахъ жизни громовыхъ.

И только смертнаго зеницъ
Ты, ангелъ слезъ, дотронешься крылами —
Туманъ разсъется слезами,
И небо серафимскихъ лицъ
Вдругъ разовьется предъ очами.

LXVIII.

Съ какою нѣгою, съ какой тоской влюбленный Твой взоръ, твой страстный взоръ изнемогалъ на немъ! Безсмысленно-нѣма, нѣма какъ оцаленный

Небесной молніи огнемъ,

Вдругъ, отъ избытка чувствъ, отъ полноты сердечной, Вся трепетъ, вся въ слезахъ, ты повергалась ницъ; Но скоро добрый сонъ, младенчески-безпечный,

Сходилъ на шелкъ твоихъ рѣсницъ, И на руки къ нему глава твоя склонялась, И матери нѣжнѣй тебя лелѣялъ онъ... Стонъ замиралъ въ устахъ, дыханье уравнялось,

И тихъ, и сладокъ былъ твой сонъ...
А днесь... О, еслибы тогда тебъ приснилось,
Что будущность для насъ обоихъ берегла...
Какъ уязвленная, ты-бъ съ воплемъ пробудилась
Иль въ сонъ иной бы перешла.

LXIX.

то ты клонишь надъ водами Ива, макушку свою И дрожащими листами, Словно жадными устами, Ловишь бъглую струю?

Хоть томится, хоть трепещеть Каждый листь твой надъ струей Но струя бъжить и плещеть. И, на солнцъ нъжась, блещеть И смъется надъ тобой.

LXX.

Къ Н. Н.

ы любишь, ты притворствовать умѣешь:
Когда въ толпѣ, украдкой отъ людей,
Моя нога касается твоей,
Ты мнѣ отвѣтъ даешь и не краснѣешь!...

Все тоть же видь разсѣянный, бездушный, Движенье персей, взорь, улыбка тажь... Межь тѣмъ твой мужъ, сей ненавистный стражъ, Любуется твоей красой послушной!

Благодаря и людямъ, и судьбѣ,
Ты тайнымъ радостямъ узнала цѣну,
Узнала свѣтъ... Онъ ставитъ намъ въ измѣну
Всѣ радости... Измѣна льститъ тебѣ...

Стыдливости румянецъ невозвратный,
Онъ улетълъ съ младыхъ твоихъ ланитъ...
Такъ съ юныхъ розъ Авроры лучъ бъжитъ
Съ ихъ чистою душою ароматной.

Но такъ и быть... въ палящій лётній зной Лестнёй для чувствъ, приманчивёй для взгляда Смотрёть, въ тёни, какъ въ кисти винограда Сверкаетъ кровь сквозь зелени густой.

LXXI.

. Фонтанъ.

Омотри, какъ облакомъ живымъ Фонтанъ сіяющій клубится, Какъ пламентеть, какъ дробится Его на солнцт влажный дымъ. Лучомъ поднявшись къ небу, онъ Коснулся высоты завтной, — И снова пылью огнецвтной Ниспасть на землю осужденъ.

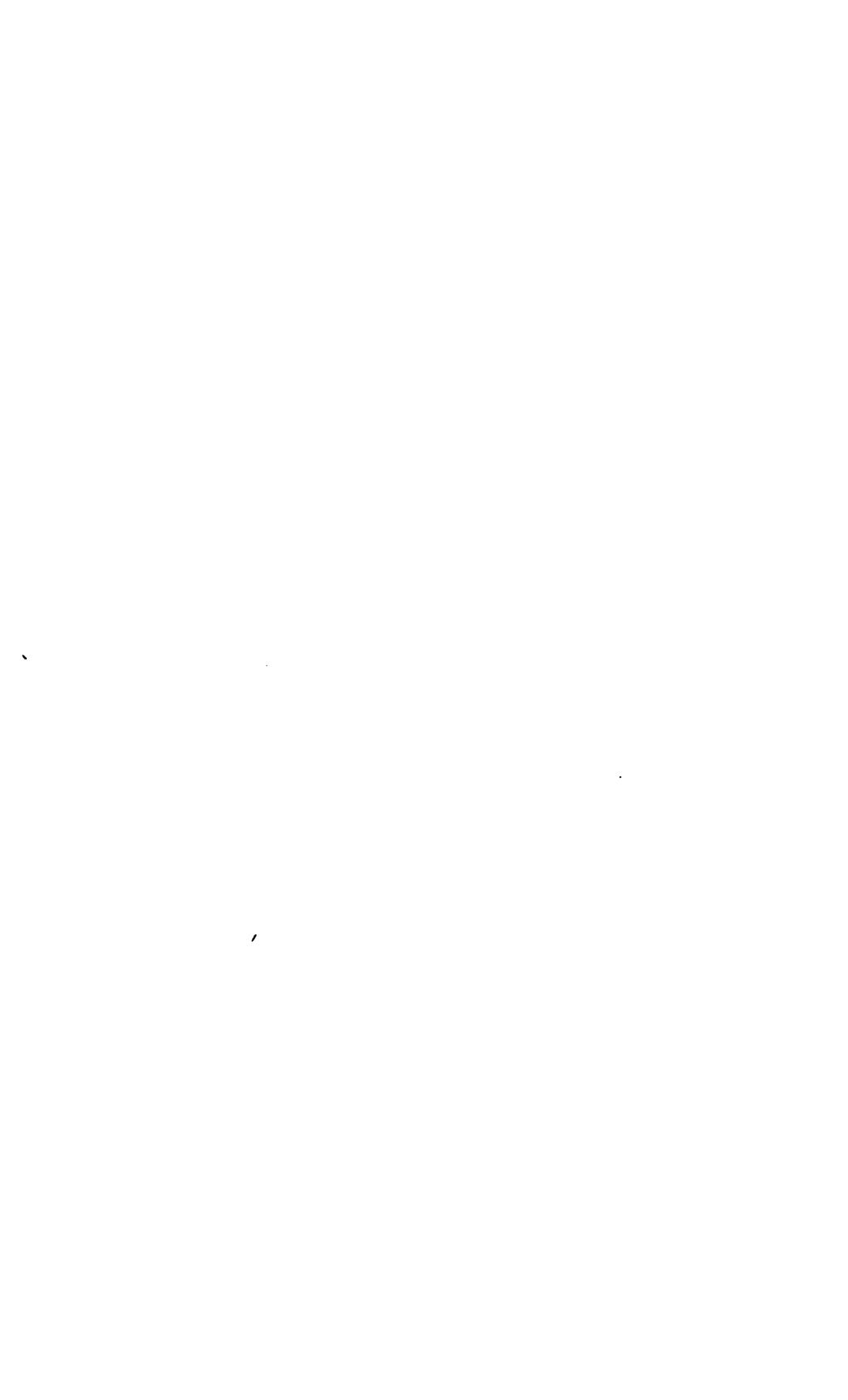
О, смертной мысли водометь,
О, водометь неистощимый!
Какой законь непостижимый
Тебя стремить, тебя мятеть?
Какъ жадно къ небу рвешься ты!
Но длань незримо-роковая,
Твой лучь упорный преломляя,
Свергаеть въ брызгахъ съ высоты...

LXXII. •

Цицеронъ.

Фраторъ римскій говориль: «Средь бурь гражданскихъ и тревоги, Я поздно всталъ и на дорогъ Застигнутъ ночью Рима былъ!» Такъ: но, прощаясь съ римской славой, Съ Капитолійской высоты Во всемъ величьи виделъ ты Закать звъзды его кровавой!... Счастливъ, кто посътилъ сей міръ Въ его минуты роковыя: Его призвали Всеблагія, Какъ собесъдника на пиръ; Онъ ихъ высокихъ зрълищъ зритель, Онъ въ ихъ совътъ допущенъ былъ, II заживо, какъ небожитель. Изъ чаши ихъ безсмертье пилъ.

1837 - 1873.



I.

На смерть Пушкина.

жана высшею рукою

Въ «Цареубійцы» заклейменъ.

А ты, въ безвременную тьму
Вдругъ поглощенная со свъта,
Миръ, миръ тебъ, о тънь поэта,
Миръ свътлый праху твоему!...
На вло людскому суесловью,
Великъ и святъ былъ жребій твой:
Ты былъ боговъ органъ живой
Но съ кровью въ жилахъ... знойной кровью.

И сею кровью благородной
Ты жажду чести утолиль
И осъненный, опочиль,
Хоругвью горести народной.
Вражду твою пусть Богъ разсудить,
Кто слышить пролитую кровь...
Тебя-жъ, какъ первую любовь,
Россіи сердце не забудеть!

29 Янв. 1837.

II.

Итальянская Вилла.

распростясь съ тревогою житейской, И кипарисной рощей заслонясь, Влаженной тънью — тънью елисейской, Она заснула въ добрый часъ.

И воть, тому ужь вѣка два иль болѣ, Волшебною мечтой ограждена, Въ своей цвѣтущей опочивъ юдоли, На волю неба предалась она.

Но небо здёсь къ землё такъ благосклопно: И много лёть и теплыхъ южныхъ зимъ Провёзло надъ нею полу-сонной, Не тронувши ея крыломъ своимъ.

По прежнему фонтанъ въ углу лепечетъ, Подъ потолкомъ гуляетъ вътерокъ, И ласточка влетаетъ и щебечетъ... И спитъ она, и сонъ ея глубокъ.

И мы вошли: все было такъ спокойно,
Такъ все отъ въка мирно и темно!
Фонтанъ журчалъ; недвижимо и стройно
Сосъдній кипарисъ глядълъ въ окно.

Вдругъ все смутилось: судорожный трепетъ По вътвямъ кипариснымъ пробъжалъ; Фонтанъ замолкъ, и нъкій чудный лепетъ Какъ бы сквозь сонъ невнятно прошепталъ.

Что это, другъ! иль злая жизнь не даромъ, — Та жизнь — увы! — что въ насъ тогда текла, Та злая жизнь, съ ея мятежнымъ жаромъ, Черезъ порогъ завътный перешла?

Дек. 1837.

III.

Закъ здёсь-то суждено намъ было Сказать послёднее прости, — Прости всему, чёмъ сердце жило, Что жизнь убивъ, ее испепелило Въ твоей измученной груди!

Прости... Чрезъ много, много лѣтъ
Ты будешь помнить съ содроганьемъ
Сей край, сей брегъ съ его полуденнымъ сіяньемъ,
Гдѣ вѣчный блескъ и ранній цвѣтъ,
Гдѣ позднихъ, блѣдныхъ розъ дыханьемъ
Декабрскій воздухъ разогрѣтъ.

Дек. 1837.

IV.

Душа моя — Элизіумъ тѣней!
Тѣней безмолвныхъ, свѣтлыхъ и прекрасныхъ,
Ни замысламъ годины буйной сей,
Ни радостямъ, ни горю не причастныхъ.

Душа моя — Элизіумъ тѣней! Что общаго межь жизнью и тобою, Межь вами, призраки минувшихъ лучшихъ дней, И сей безчувственной толпою? —

V.

* *

ивымъ сочувствіемъ привъта, Съ недостижимой высоты, О, не смущай, молю, поэта! Но искушай его мечты!

Всю жизнь въ толиъ людей затерянъ, Порой, доступенъ ихъ страстямъ, Поэтъ, я знаю, суевъренъ, Но ръдко служитъ онъ властямъ.

Передъ кумирами земными
Проходитъ онъ главу склонивъ,
Или стоитъ онъ передъ ними
Смущенъ и гордо-боязливъ.

Но если вдругъ живое слово Съ ихъ устъ, сорвавшись, упадетъ. И сквозь величія земнаго Вся прелесть женщины мелькнетъ,

И человъческимъ сознаньемъ
Ихъ всемогущей красоты
Вдругъ озарятся, какъ сіяньемъ,
Изящно-дивныя черты, —

О, какъ въ немъ сердце пламенѣетъ!
Какъ онъ восторженъ, умиленъ!
Пускай служить онъ не умѣетъ,
Боготворить умѣетъ онъ! —
Мюнхенъ, 1840.

VI.

уша хотъла-бъ быть звъздой, — Но не тогда, какъ съ неба полуночи Сіи свътила, какъ живыя очи Глядятъ на сонный міръ земной, —

Но днемъ, когда, сокрытыя какъ дымомъ Палящихъ солнечныхъ лучей, Они какъ божества горятъ свътлъй Въ эфиръ чистомъ и незримомъ.

VII.

Давно-ль, давно-ль, о югъ блаженный, Я зрёль тебя лицомъ къ лицу, И какъ Эдемъ ты растворенный Доступенъ быль мнѣ, пришлецу? Давно-ль, — хотя безъ восхищенья, Но новыхъ чувствъ не даромъ полнъ, — Я тамъ заслушивался пѣнья Великихъ средиземныхъ волнъ!

И пѣснь ихъ, какъ во время оно, Полна гармоніи была, Когда изъ ихъ родного лона Киприда свѣтлая всплыла... Онѣ все тѣ же и понынѣ, Все также блещутъ и звучатъ, — По ихъ лазоревой равнинѣ Родные призраки скользятъ.

Но я... Я съ вами распростился, Я вновь на съверъ увлеченъ; Вновь надо мною опустился Его свинцовый небосклонъ. Здъсь воздухъ колетъ: снъгъ обильный На высотахъ и въ глубинъ, — И холодъ, чародъй всесильный, Одинъ господствуетъ вполнъ.

Но тамъ, за этимъ царствомъ вьюги,
Тамъ — тамъ, на рубежѣ земли,
На золотомъ, на свѣтломъ югѣ,
Еще я вижу васъ вдали:
Вы блещете еще прекраснѣй,
Еще лазурнѣй и свѣжѣй,
И говоръ вашъ еще согласнѣй
Доходитъ до души моей.

VIII.

гробъ опущенъ ужь въ могилу.
И все столпилося вокругъ,
Толкутся, дышатъ черезъ силу...
Спираетъ грудь тлетворный духъ.

И надъ могилою раскрытой,
Въ возглавіи, гдѣ гробъ стоитъ,
Ученый пастырь сановитый
Рѣчь погребальную гласитъ:

Въщаетъ бренность человъчью, Гръхопаденье, кровь Христа, — И умною, пристойной ръчью Толпа различно занята, —

А небо такъ нетлѣнно-чисто,

Такъ безпредѣльно надъ землей,

И птицы рѣютъ голосисто

Въ воздушной безднѣ голубой.

IX.

Къ Ганкъ – въ Прагъ.

температь намъ въ разлукъ? Не пора-ль очнуться намъ И подать другъ другу руки Нашимъ кровнымъ и друзьямъ?

Въки мы слъпцами были И, какъ жалкіе слъпцы, Мы блуждали, мы бродили, Разбрелись во всъ концы;

А случалось-ли, порою,
Намъ столкнуться какъ нибудь,
Кровь не разъ лилась ръкою,
Мечъ терзалъ родную грудь.

H

BE

Ha

To.

D OFF

PA

И вражды безумной сёмя
Плодъ сторичный принесло:
Не одно погибло племя,
Иль въ чужбину отошло.

Иновърецъ. иноземецъ
Насъ раздвинулъ, разломилъ:
Тъхъ обезъязычилъ Нъмецъ,
Этихъ — Турокъ осрамилъ.

Вотъ, среди сей ночи темной Здѣсь, на Пражскихъ высотахъ, Доблій мужъ рукою скромной Засвѣтилъ маякъ въ потьмахъ.

О, какими вдругъ лучами Озарились всѣ края! Обличилась передъ нами Вся Славянская земля.

Горы, степи и поморья День чудесный осіяль, Отъ Невы до Черногорья, Отъ Карнатовъ за Уралъ. Разсвътаетъ надъ Варшавой, Кіевъ очи отворилъ, И съ Москвой золотоглавой Вышеградъ заговорилъ.

И нарвчій братских звуки Вновь понятны стали намъ, На яву увидять внуки То, что снилося отцамъ!

1841.

(Приписка сдъланная во время перваго Славянскаго съезда въ Россій въ 1867 году.)

акъ взываль я, такъ гласиль я!

Тридцать лътъ съ тъхъ поръ ушло:
Все упорнъе усилья,
Все назойливъе зло.

Ты, стоящій днесь предъ Богомъ, Мужъ добра, святая тѣнь, — Будь вся жизнь твоя залогомъ, Что придетъ желанный день!

За твое же постоянство
Въ нескончаемой борьбъ,
Первый праздникъ Всеславянства
Приношеньемъ будь тебъ!...

X.

Наполеонъ.

1.

Отважно въ бой вступилъ и изнемогъ въ борьбъ: Не одолълъ ея твой геній самовластный!...
Бой невозможный, трудъ напрасный:
Ты всю ее носиль въ самомъ себъ!...

2.

Два демона ему служили,
Двъ силы чудно въ немъ слились:
Въ его главъ — орлы парили,
Въ его груди — змъи вились...
Ширококрылыхъ вдохновеній
Орлиный, дерзостный полетъ,
И въ самомъ буйствъ дерзновеній
Змъйной мудрости разсчетъ!

Но освящающая сила,
Непостижимая уму,
Его души не озарила
И не приблизилась къ Нему...
Онъ былъ земной, не Божій пламень!
Онъ гордо плылъ, презритель волнъ!
Но о подводный Въры камень
Въ щепы разбился утлый чолнъ.

3.

И ты стояль — передъ тобой Россія! — И въщій волхвъ, въ предчувствіи борьбы, Ты самъ слова промолвиль роковыя:

«Да сбудутся ея судьбы!»...
И не напрасно было заклинанье:
Судьба откликнулась на голосъ твой.
Но новою загадкою въ изгнаньи
Ты возразилъ на отзывъ роковой.

Года прошли, и воть изъ ссылки тёсной На родину вернувшійся мертвець. На берегахъ рёки, тебё любезной, Тревожный духъ, почиль ты, наконецъ... Но чутокъ сонъ и, по ночамъ тоскуя, Порою вставъ, ты смотришь на Востокъ, И вдругъ, смутясь, бъжишь, какъ бы почуя Передразсвътный вътерокъ.

XI.

ебъ, Колумбъ, тебъ вънецъ! Чертежъ земной ты выполнившій сміло И довершившій, наконецъ, Судебъ неконченное дъло! Ты завъсу расторгъ всесильною рукой — И новый міръ, невъдомый, нежданный, Изъ безпредъльности туманной На Божій свёть ты вынесь за собой. Такъ связанъ, съединенъ отъ въка Союзомъ кровнаго родства Разумный геній человъка Съ живою силой естества. Скажи завътное онъ слово — И міромъ новымъ естество Всегда откликнуться готово На голосъ родственный его.

XII.

Плядёль я, стоя надъ Невой, Какъ Исаака великана, Во мглё морознаго тумана, Свётился куполъ золотой.

Всходили робко облака
На небо зимнее ночное,
Бълъла въ мертвенномъ покоъ
Оледенълая ръка.

Я вспомниль, грустно молчаливь,
Какъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ солнце грѣетъ,
Теперь на солнцѣ пламенѣетъ
Роскошный Генуи заливъ...

О, сѣверъ, сѣверъ-чародѣй,
Иль я тобою околдованъ?
Иль въ самомъ дѣлѣ я прикованъ
Къ гранитной полосѣ твоей?

О, еслибъ мимолетный духъ, Во мглъ вечерней тихо въя, Меня унесъ скоръй, скоръе Туда, туда на теплый югъ.

21 Нояб. 1844.

XIII.

такъ, опять увидёлся я съ вами, Мёста не милыя, хоть и родныя, Гдё мыслиль я и чувствоваль впервые И гдё теперь туманными очами, При свётё вечерёющаго дня, Мой дётскій возрасть смотрить на меня.

О, бѣдный призракъ, немощный и смутный Забытаго, загадочнаго счастья!...
О, какъ теперь безъ вѣры и участья Смотрю я на тебя, мой гость минутный! Куда какъ чуждъ ты сталъ въ моихъ глазахъ, Какъ братъ меньшой, умершій въ пеленахъ!

Ахъ, нътъ! не здъсь, не этотъ край безлюдный Былъ для души моей родимымъ краемъ, — Не здъсь расцвълъ, не здъсь былъ величаемъ Великій праздникъ молодости чудной! Ахъ, и не въ эту землю я сложилъ То, чъмъ я жилъ и чъмъ я дорожилъ.

Сент. 1846.

XIV.

Ротенбургъ.

адъ виноградными холмами Плывуть златыя облака, Внизу зелеными волнами Шумитъ померкшая ръка; Взоръ постепенно изъ долины, Подъемлясь, всходить къ высотамъ И видитъ, на краю вершины, Круглообразный, свътлый храмъ. Тамъ въ горнемъ, не земномъ жилищъ Гдъ смертной жизни мъста нътъ, И легче и пустынно-чище Струя воздушная течетъ. Туда взлетая, звукъ нъмъетъ, — Лишь жизнь природы тамъ слышна, И нъчто праздничное въетъ, Какъ дней воскресныхъ тишина.

XV.

День и ночь.

Надъ этой бездной безъимянной,
Покровъ наброшенъ златотканный
Высокой волею боговъ.
День — сей блистательный покровъ —
День — земнородныхъ оживленье,
Души болящей исцъленье,
Другъ человъковъ и боговъ!

Но меркнеть день, настала ночь, — Пришла — и съ міра роковаго Ткань благодатную покрова Собравъ, отбрасываетъ прочь. И бездна намъ обнажена Съ своими страхами и мглами, И нътъ преградъ межь ей и нами: Вотъ отчего намъ ночь страшна.

XVI.

О чемъ ты воеть, вётръ ночной, О чемъ такъ сётуешь безумно? Что значить странный голосъ твой, То глухо-жалобный, то шумный? Понятнымъ сердцу языкомъ Твердишь о непонятной мукѣ, И роешь, и взрываешь въ немъ Порой неистовые звуки!

О, страшныхъ пъсень сихъ не пой Про древній хаосъ, про родимый! Какъ жадно міръ души ночной Внимаетъ повъсти любимой! Изъ смертной рвется онъ груди И съ безпредъльнымъ жаждетъ слиться... О, бурь уснувшихъ не буди: Подъ ними хаосъ шевелится!...

XVII.

Поэзія.

Ореди громовъ, среди огней,
Среди клокочущихъ зыбей,
Въ стихійномъ, пламенномъ раздорѣ,
Она съ небесъ слетаетъ къ намъ —
Небесная — къ земнымъ сынамъ,
Съ лазурной ясностью во взорѣ,
И на бунтующее море
Льетъ примирительный елей.

XVIII.

ше томлюсь тоской желаній,
Еще стремлюсь къ тебѣ душой
И въ сумракѣ воспоминаній
Еще ловлю я образъ твой, —
Твой милый образъ, незабвенный...
Онъ предо мной вездѣ, всегда,
Недостижимый, неизмѣнный,
Какъ ночью на небѣ звѣзда.

XIX.

Море и утесъ.

бунтуеть и клокочеть,
Плещеть, свищеть и реветь,
И до звъздъ допрянуть кочеть,
До незыблемыхъ высотъ!
Адъ ли, адская ли сила,
Подъ клокочущимъ котломъ,
Огнь геенскій разложила
И пучину взворотила,
И поставила вверхъ дномъ?

Волнъ неистовыхъ прибоемъ

Безпрерывно валъ морской

Съ ревомъ, свистомъ, визгомъ, воемъ

Бьетъ въ утесъ береговой!

Но, спокойный и надменный,

Дурью волнъ не обуянъ,

Неподвижный, неизмѣнный. Мірозданью современный. Ты стоишь, нашъ великанъ!

И озлобленныя боемъ,
Какъ на приступъ роковой,
Снова волны лѣзутъ съ воемъ
На гранитъ громадный твой.
Но о камень неизмѣнный
Бурный натискъ преломивъ,
Валъ отбрызнулъ сокрушенный,
И клубится мутной пѣной
Обезсиленный порывъ...

Стой же ты, утесь могучій!
Обожди лишь чась, другой —
Надобсть волнъ гремучей
Воевать съ твоей пятой!
Утомясь потъхой злою,
Присмиръеть вновь она,
И безъ вою и безъ бою,
Подъ гигантскою пятою,
Вновь уляжется волна.



XX.

Смотри, какъ на рѣчномъ просторѣ,
По склону вновь ожившихъ водъ,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина вслѣдъ плыветъ.

На солнцѣ-ль радужно блистая, Иль ночью въ поздней темнотѣ, Но всѣ, неизбѣжимо тая, Онѣ плывутъ въ одной метѣ.

Всѣ вмѣстѣ — малыя, большія,.
Утративъ прежній образъ свой,
Всѣ безразличны, какъ стихія,
Сольются съ бездной роковой!...

О, нашей мысли обольщенье, Ты — человъческое я! Не таково-ль твое значенье, Не такова-ль судьба твоя?

XXI.

Русская географія.

Воть Царства Русскаго завътныя столицы...

Но гдъ предъль ему?... и гдъ его границы

На Съверъ, на Востокъ, на Югъ и на Закатъ?

Грядущимъ временамъ судьбы ихъ обличатъ...

Семь внутреннихъ морей и семь великихъ рѣкъ... отъ Нила до Невы, отъ Эльбы до Китая — Отъ Волги по Ефратъ, — отъ Ганга до Дуная... Вотъ Царство Русское... и не прейдетъ во вѣкъ Какъ то провидѣлъ Духъ, и Даніилъ предрекъ.

XXII.

Новь твои я вижу очи,
И одинъ твой южный взглядъ
Киммерійской грустной ночи
Вдругь развѣялъ сонный хладъ...
Воскресаетъ предо мною
Край иной — родимый край,
Словно прадѣдовъ виною
Для сыновъ погибшій рай.

Лавровъ стройныхъ колыханье Зыблетъ воздухъ голубой; Моря тихое дыханье Провъваетъ лътній зпой. Цълый день тамъ солнце гръетъ Золотистый виноградъ; Баснословной былью въетъ Изъ-подъ мраморныхъ аркадъ.

Сновидъньемъ безобразнымъ
Скрылся съверъ роковой;
Сводомъ легкимъ и прекраснымъ
Свътитъ небо надо мной;
Снова жадными очами
Свътъ живительный я пью
И подъ чистыми лучами
Край волшебный узнаю.

XXIII.

О Ламартинъ.

Какъ онъ любилъ родныя ели Своей Савойи дорогой!
Какъ мелодически шумъли
Ихъ вътви надъ его главой!
Ихъ мракъ торжественно угрюмый И дикій заунывный шумъ
Какою сладостною думой
Его обворожали умъ.

XXIV.

Близнецы.

Два Божества — то смерть и сонъ,

Какъ братъ съ сестрою дивно сходныхъ

Она — угрюмъй, кротче — онъ...

Но есть другихъ два близнеца — И въ мірѣ нѣтъ четы прекраснѣй И обаянья ихъ ужаснѣй Ей предающаго сердца...

Союзъ ихъ кровный, не случайной И только въ роковые дни Своей неразрѣшимой тайной Обворожаютъ насъ они. — И кто въ избыткѣ ощущеній, Когда кипитъ и стынетъ кровь, Не вѣдалъ вашихъ искушеній — Самоубійство, и любовь!

i,

XXV.

ихой ночью, позднимъ лѣтомъ,
Какъ на небѣ звѣзды рдѣютъ,
Какъ подъ сумрачнымъ ихъ свѣтомъ
Нивы дремлющія зрѣютъ!...
Усыпительно-безмольны,
Какъ блестятъ въ тиши ночной
Золотистыя ихъ волны,
Убѣленныя луной!

XXVI.

жакъ дымный столбъ свётлёетъ въ вышинѣ, Какъ тёнь внизу скользитъ неуловимо! Вотъ наша жизнь, — промолвила ты мнѣ, Не свётлый дымъ, блестящій при лунѣ, А эта тёнь, бёгущая отъ дыма!

XXVII.

Едали отъ солнца и природы, Вдали отъ свъта и искусства, Вдали отъ жизни и любви, Мелькнутъ твои младые годы, Живыя помертвъютъ чувства, Мечты развъются твои.

И жизнь твоя пройдеть незрима
Въ краю безлюдномъ, безымянномъ,
На незамъченной землъ, —
Какъ исчезаеть облакъ дыма,
На небъ тускломъ и туманномъ,
Въ осенней безпредъльной мглъ.

XXVIII.

Разсвъть.

Еще молчать колокола,
А ужь востокъ заря румянить:
Ночь безконечная прошла,
И скоро свътлый день настанеть.

Вставай же, Русь! Ужь близокъ часъ!
Вставай Христовой службы ради!
Ужь не пора-ль, перекрестясь,
Ударить въ колоколъ въ Царьградъ?

Раздайся, благовъстный звонъ, И весь Востокъ имъ огласися! Тебя зоветъ и будитъ онъ! Вставай, мужайся, ополчися!

Въ доспъхи въры грудь одънь, И съ Богомъ, исполинъ державный!... О, Русь, великъ грядущій день, Вселенскій день и Православный!

XXIX.

Сонченъ пиръ, умолкли хоры,
Опорожнены амфоры,
Опрокинуты корзины,
Не допиты въ кубкахъ вины,
На главахъ вёнки измяты, —
Лишь курились ароматы
Въ опуствешей свётлой залъ.
Кончивъ пиръ, мы поздно встали:
Звёзды на небё сіяли,
Ночь достигла половины...

Какъ надъ безпокойнымъ градомъ, Надъ дворцами, надъ домами, Шумнымъ уличнымъ движеньемъ, Съ тускло-рдянымъ освъщеньемъ И безумными толпами, — Какъ надъ этимъ дольнимъ чадомъ, Въ черномъ, выспреннемъ предълъ, Звъзды чистыя горъли, Отвъчая смертнымъ взглядамъ Непорочными лучами!

XXX.

Тогда лишь въ полномъ торжествъ Въ славянской міровой громадъ Строй вождельный водворится, Какъ съ Русью Польша помирится, А помирятся-жь эти двъ — Не въ Петербургъ, не въ Москвъ, А въ Кіевъ и въ Цареградъ...

XXXI.

е разсуждай, не хлопочи...
Безумство ищеть, глупость судить;
Дневныя раны сномъ лечи,
А завтра быть тому, что будеть.

Живя, умъй все пережить:
Печаль, и радость. и тревогу.
Чего желать, о чемъ тужить?
День пережитъ — и слава Богу!
1850.

XXXII.

Пророчество.

Въсть родилась не въ нашемъ родъ — То древній гласъ, то свыше гласъ: «Четвертый въкъ ужь на исходъ, — Свершится онъ и грянетъ часъ! И своды древніе Софіи Въ возобновленной Византіи Вновь осънятъ Христовъ алтарь!»... Пади предъ нимъ, о Царь Россіи, И встань какъ всеславянскій Царь!

XXXIII.

Родъ дыханьемъ непогоды
Вздувшись, потемнъли воды
И подернулись свинцомъ,
И сквозь глянецъ ихъ суровый
Вечеръ пасмурно-багровый
Свътитъ радужнымъ лучомъ.

Сыплеть искры золотыя, Стеть розы огневыя— И уносить ихъ потокъ: Надъ волной темно-лазурной Вечеръ пламенный и бурный Обрываетъ свой вънокъ...

XXXIV.

Два голоса.

ужайтесь, о други, боритесь прилежно, Хоть бой и неравень, борьба безнадежна. Надъ вами свътила молчатъ въ вышинъ; Подъ вами могилы — молчатъ и онъ.

Пусть въ горнемъ Олимпѣ блаженствуютъ боги: Безсмертье ихъ чуждо труда и тревоги; Тревога и трудъ лишь для смертныхъ сердецъ.... Для нихъ нѣтъ побѣды, для нихъ есть конецъ.

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, Какъ бой ни жестокъ, ни упорна борьба! Надъ вами безмолвные звъздные круги, Подъ вами нъмые, глухіе гроба. Пускай Олимпійцы завистливымъ окомъ
Глядять на борьбу непреклонныхь сердед
Кто ратуя паль, побъжденный лишь ро комъ,
Тоть вырваль изъ рукъ ихъ побъдный въне цъ.

XXXV.

Ночь іюльская блистала.
И надъ тусклою землею
Небо, полное грозою,
Отъ зарницъ все трепетало...

Словно тяжкія рѣсницы
Разверзалися порою,
И сквозь бѣглыя зарницы
Чьи-то грозныя зѣницы
Загорались надъ землею...

XXXVI.

На Невъ.

опять звёзда ныряеть
Въ легкой зыби невскихъ волнъ,
И опять любовь ввёряетъ
Ей таинственный свой чолнъ.

И межь зыбью и звёздою
Онъ скользитъ, какъ бы во снё.
И два призрака съ собою
Вдаль уноситъ по волнё.

Дѣти-ль это праздной лѣни
Тратятъ здѣсь досугъ ночной,
Иль блаженныя двѣ тѣни
Покидаютъ міръ земной?

Ты, разлитая какъ море.
Пышно-струйная волна,
Пріюти въ твоемъ просторѣ
Тайну скромнаго челна!

XXXVII.

Олезы людскія, о слезы людскія,
Льетесь вы ранней и поздней порой, —
Льетесь безв'єстныя, льетесь незримыя,
Неистощимыя, неисчислимыя, —
Льетесь, какъ льются струи дождевыя
Въ осень глухую, порою ночной.

XXXVIII.

Тому, кто въ лътній жаръ и зной, Какъ бъдный нищій мимо саду, Бредетъ по жаркой мостовой.

Кто смотритъ вскользь черезъ ограду
На тънь деревьевъ, злакъ долинъ,
На недоступную прохладу
Роскошныхъ свътлыхъ луговинъ.

Не для него гостепріимной Деревья сѣнью разрослись, Не для него какъ облакъ дымной Фонтанъ на воздухѣ повисъ.

Лазурный гроть, какъ изъ тумана, Напрасно взоръ его манитъ, И пыль росистая фонтана Главы его не освъжитъ.

Пошли Господь свою отраду
Тому, кто жизненной тропой,
Какъ бъдный нищій мимо саду,
Бредеть по знойной мостовой.

XXXIX.

Обвънъ въщею дремотой,
Полураздътый лъсъ груститъ;
Изъ лътнихъ листьевъ развъ сотый.
Блестя осенней позолотой,
Еще на въткъ шелеститъ.

Гляжу съ участьемъ умиленнымъ, Когда, пробившись изъ-за тучъ, Вдругъ по деревьямъ испещреннымъ Молніевидный брызнетъ лучъ

Какъ увядающее мило!
Какая прелесть въ немъ для насъ,
Когда, что такъ цвѣло и жило,
Теперь такъ немощно и хило,
Въ послѣдній улыбнется разъ!...

XL.

жакъ ни дышетъ полдень знойный Въ растворенное окно, — Въ этой храминъ спокойной, Гдъ все тихо и темно,

Гдъ живыя благовонья Бродять въ сумрачной тъни, Въ сладкій сумракъ полусонья Погрузись и отдохни.

Здѣсь фонтанъ неутомимый День и ночь поетъ въ углу И кропитъ росой незримой Очарованную мглу.

И въ мерцаньи полусвъта,
Тайной страстью занята,
Здъсь влюбленнаго поэта
Въетъ легкая мечта.

XLI.

ты, какъ ни жмися, какъ ни трусь, Своей душою маловърной Не соблазнишь святую Русь.

Иль всё святыя упованья,
Всё убёжденья истребя,
Она отъ своего призванья
Вдругъ отречется для тебя?...

Иль такъ ты дорогъ Провидѣнью,

Такъ друженъ съ нимъ, — такъ за-одно,

Что дорожа твоею лѣнью,

Вдругъ остановится оно?...

Не върь въ святую Русь кто хочетъ, Лишь върь она себъ самой — И Богъ побъды не отсрочитъ Въ угоду трусости людской.

То, что объщано судьбами
Ужь въ колыбели было ей,
Что ей завъщано въками
И върой всъхъ ея Царей, —

То, что Олеговы дружины Ходили добывать мечомъ, То, что орелъ Екатерины Ужь прикрывалъ своимъ крыломъ, —

Вънда и скиптра Византіи

Вамъ не удастся насъ лишить!

Всемірную судьбу Россіи—

Нътъ — вамъ ея не запрудить!...

XLII.

Графинъ Ростопчиной.

(Въ отвътъ на ея письмо.)

жакъ подъ сугробомъ снъжнымъ лъни, Какъ околдованный зимой, Какимъ-то сномъ усопшей тъни Я спалъ зарытый, но живой!

И вотъ я чую, надо мною, Не на яву и не во снѣ, Какъ бы повѣяло весною, Какъ бы запѣло о веснѣ...

Знакомый голосъ, голосъ чудный,
То лирный звукъ, то женскій вздохъ...
Но я, ленивецъ безпробудный,
Я вдругъ откликнуться не могъ...

Я спаль, въ оковахъ тяжкой лёни, Подъ осьми-мёсячной зимой, Какъ дремлють праведныя тёни Во мглё стигійской роковой.

Но этотъ сонъ полу-могильный, Какъ надо мной ни тяготълъ, Онъ самъ же, чародъй всесильный. Ко мнъ на помощь подоспълъ.

Пріязни давней выраженья, — Ихъ для меня онъ уловилъ И въ музыкальныя видёнья Знакомый голосъ воплотилъ...

Вотъ вижу я, какъ бы сквозь дымки. Волшебный садъ, волшебный домъ...
И въ замкъ феи-невидимки
Вдругъ очутились мы вдвоемъ —

Вдвоемъ! и пѣснь ея звучала,
И отъ завѣтнаго крыльца
Гнала и буйнаго нахала,
Гнала и пошлаго льстеца.

XLIII.

роза прошла. Еще курясь, лежалъ Высокій дубъ, перунами сраженный, И сизый дымъ съ вътвей его бъжалъ По зелени, грозою освъженной:

А ужь давно звучные и полный Пернатыхы пыснь по рощь раздалася, И радуга концомы дуги своей Въ зеленыя вершины уперлася!...

XLIV.

ше даромъ милосердымъ Богомъ Пугливой птичка создана: Спасенья върнаго залогомъ Ей робость чуткая дана.

И нътъ для оъдной птички проку
Въ свойствъ съ людьми, съ семьей людской:
Чъмъ ближе къ нимъ, тъмъ ближе къ року —
Не сдобровать подъ ихъ рукой...

Воть птичку дѣвушка вскормила
Отъ первыхъ перушекъ съ гнѣзда,
Взлелѣяла и возростила
И не жалѣла, не щадила
Для ней ни ласки, ни труда.

Но какъ съ любовію тревожной Ты, дѣва, ни пеклась о ней, Настанетъ день, день непреложный: Питомецъ твой неосторожный Погибнетъ подъ ногой твоей...

XLV.

ума за думой, волна за волной — Два проявленья стихіи одной! Въ сердцъ-ли тъсномъ, въ безбрежномъ-ли моръ, Здъсь — въ заключеніи, тамъ — на просторъ: Тотъ же все въчный прибой и отбой! Тотъ же все призракъ тревожно-пустой! 1851.

XLVI.

акъ веселъ грохотъ лътнихъ бурь, Когда, взметая прахъ летучій, Гроза нахлынувшая тучей Смутить небесную лазурь, И опрометчиво-безумно Вдругъ на дубраву набъжитъ, — И вся дубрава задрожитъ ІШироколиственно и шумно! Какъ подъ незримою пятой Лъсные гнутся исполины; Тревожно ропщутъ ихъ вершины, Какъ совъщаясь межь собой, --И сквозь внезапную тревогу Немолчно слышенъ птичій свистъ, И кой-гдъ первый желтый листъ, Крутясь, слетаетъ на дорогу.

XLVII.

Первый листь.

исть зеленьеть молодой:
Смотри, какъ листьемъ молодымъ
Стоятъ обвъяны березы,
Воздушной зеленью сквозной,
Полу-прозрачною какъ дымъ.

Давно имъ грезилось весной,
Весной и лътомъ золотымъ,
И вотъ, живыя эти грёзы,
Подъ первымъ небомъ голубымъ,
Пробились вдругъ на свътъ дневной.

О, первыхъ листьевъ красота, Омытыхъ въ солнечныхъ лучахъ,

12

Съ новорожденною ихъ тѣнью!
И слышно намъ по ихъ движенью,
Что въ этихъ тысячахъ и тьмахъ
Не встрѣтишь мертваго листа.

1851

XLVIII.

Длиннъй съ горы ложится тънь, На небъ гаснутъ облака, Ужь поздно. Вечеръетъ день.

Но мив не страшень мракъ ночной, Не жаль скудъющаго дня, — Лишь ты, волшебный призракъ мой, Лишь ты не покидай меня!...

Крыломъ своимъ меня одёнь, Волненье сердца утиши, И благодатна будетъ тёнь Для очарованной души.

Кто ты? Откуда? Какъ рёшить:

Небесный ты или земной —

Воздушный житель, — можеть быть, —

Но съ страстной женскою душой!

XLIX.

Сіяетъ солнце, воды блещутъ,
На всемъ улыбка, жизнь во всемъ,
Деревья радостно трепещутъ,
Купаясь въ небъ голубомъ.

Поють деревья, блещуть воды, Любовью воздухь растворень, И мірь, цвътущій мірь природы, Избыткомъ жизни упоень.

Но и въ избыткѣ упоенья

Нѣтъ упоенія сильнѣй -
Одной улыбки умиленья

Измученной души твоей...

L.

О, не тревожь меня укорой справедливой:
Повърь, изъ насъ двоихъ завиднъй часть твоя:
Ты любишь искренно и пламенно, а я
Я на тебя гляжу съ досадою ревнивой.

И жалкій чародъй передъ волшебнымъ міромъ. Мной созданнымъ самимъ, безъ въры я стою. И самого себя, краснъя, сознаю Живой души твоей безжизненнымъ кумиромъ. 1852.

LJ.

ше говори: меня онъ какъ и прежде любить. Какъ прежде, мною дорожитъ...
О, нътъ! онъ жизнь мою безчеловъчно губитъ, Хоть вижу — ножъ въ рукъ его дрожитъ.

То въ гнѣвѣ, то въ слезахъ, тоскуя, негодуя, Увлечена, въ душѣ уязвлена, Я стражду, не живу... имъ, имъ однимъ живу я; Но эта жизнъ — о, какъ горька она!

Онъ мѣритъ воздухъ мнѣ такъ бережно и скудно, Не мѣрятъ такъ и лютому врагу...
Охъ, я дышу еще болѣзненно и трудно, Могу дышать, но жить ужь не могу.

LII.

Овятая ночь на небосклонъ взошла
И день отрадный, день любезный
Какъ золотой коверъ она свила, —
Коверъ, накинутый надъ бездной.
И, какъ видънье, внѣшній міръ ушелъ...
И человъкъ, какъ сирота бездомный,
Стоитъ теперь и немощенъ и голъ,
Лицомъ къ лицу предъ этой бездной темной.
И чудится давно минувшимъ сномъ
Теперь ему все свѣтлое, живое,
И въ чуждомъ, неразгаданномъ ночномъ
Онъ узнаетъ наслѣдье роковое...

LIII.

Проблескъ.

Олыхаль-ли въ сумракъ глубокомъ.
Воздушной арфы легкій звонъ,
Когда полуночь ненарокомъ
Дремавшихъ струнъ встревожитъ сонъ?

То потрясающіе звуки,
То замирающіе вдругъ...
Какъ бы послъдній ропотъ муки
Въ нихъ, отозвавшися, потухъ.

Дыханье каждое зефира
Взрываеть скорбь въ ея струнахъ
Ты скажешь: ангельская лира
Груститъ, въ пыли, на небесахъ.

О, какъ тогда съ земнаго круга Душой къ безсмертному летимъ! Минувшее, какъ призракъ друга, Прижать къ груди своей хотимъ.

Какъ вёримъ вёрою живою, Какъ сердцу радостно, свётло! Какъ бы эфирною струею По жиламъ небо протекло!

Но, ахъ, не намъ его судили; Мы въ небъ скоро устаемъ, — И не дано ничтожной пыли Дышать божественнымъ огнемъ.

Едва усиліемъ минутнымъ
Прервемъ на часъ волшебный сонъ,
И вворомъ трепетнымъ и смутнымъ.
Привставъ, окинемъ небосклонъ,

И отягченною главою,
Однимъ лучомъ ослѣплены,
Вновь упадаемъ не къ покою,
Но въ утомительные сны.

LIV.

шему молилась ты съ любовью, Что какъ святыню берегла, Судьба людскому суесловью На поруганье предала.

Толпа вошла, толпа вломилась
Въ святилище души твоей,
И ты невольно устыдилась
И тайнъ и жертвъ, доступныхъ ей...

Ахъ, еслибы живыя крылья Души, парящей надъ толпой, Ее спасали отъ насилья Безсмертной пошлости людской!

LV.

Плаваніе.

ша равнинъ водъ лазурной Шли мы върною стезей; Огнедышащій и бурный Уносилъ насъ змъй морской.

Съ неба звъзды намъ свътили, Снизу искрилась волна, И мятелью влажной пыли Обдавала насъ она.

Мы на палубѣ сидѣли...
Многихъ сонъ одолѣвалъ...
Все звучнѣй колеса пѣли,
Разгребая шумный валъ.

Пріутихъ нашъ кругъ веселый, Женскій говоръ, женскій шумъ... Подпираетъ локоть бёлый Много милыхъ, сонныхъ думъ.

Сны играють на просторѣ Подъ магической луной, И баюкаеть ихъ море Тихо-струйною волной.

LVI.

Бы, волна моя морская. Своенравная волна, Какъ, покоясь иль играя, Чудной жизни ты полна!

Ты на солнце-ли смѣешься,
Отражая неба сводъ,
Иль мятешься ты и бьешься
Въ одичалой безднѣ водъ? —

Сладокъ мнѣ твой тихій шопотъ, Полный ласки и любви; Внятенъ мнѣ и буйный ропотъ, Стоны вѣщіе твои.

Будь върна стихіи бурной — То угрюма то свътла; Но въ ночи твоей лазурной Сбереги, что ты взяла.

Не кольцо, какъ даръ завѣтный, Въ зыбь твою я опустилъ, И не камень самоцвѣтный Я въ тебъ похоронилъ.

Нътъ, въ минуту роковую, Тайной прелестью влекомъ, Душу, душу я живую Схоронилъ на днъ твоемъ.

LVII.

На смерть Жуковскаго.

видълъ вечеръ твой: онъ былъ прекрасенъ; Послъдній разъ прощаяся съ тобой, Я любовался имъ: и тихъ и ясенъ И весь насквозь проникнутъ теплотой...
О, какъ они и гръли и сіяли — Твои, поэтъ, прощальные лучи...
А между тъмъ замътно выступали
Ужь звъзды первыя въ его ночи.

Въ немъ не было ни лжи, ни раздвоенья...

Онъ все въ себъ мирилъ и совмъщалъ.

Съ какимъ радушіемъ благоволенья

Онъ были мнъ Омировы читалъ!

Цвътущія и радужныя были

Младенческихъ, первоначальныхъ лътъ!

А звъзды, между тъмъ, на нихъ сводили

Таинственный и сумрачный свой свътъ.

По-истинѣ, какъ голубь чистъ и цѣлъ
Онъ духомъ былъ, хоть мудрости змѣиной
Не презиралъ, понять ее умѣлъ, —
Но вѣялъ въ немъ духъ чисто-голубиный.
И этою духовной чистотою
Онъ возмужалъ, окрѣпъ и просвѣтлѣлъ.
Душа его возвысилась до строю:
Онъ стройно жилъ, онъ стройно пѣлъ...

И этотъ-то души высокій строй,
Создавшій жизнь его, проникшій лиру,
Какъ лучшій плодъ, какъ лучшій подвигъ свой,
Онъ завъщалъ взволнованному міру.
Пойметъ-ли міръ, оцънитъ-ли его?
Достойны-ль мы священнаго залога?...
Иль не про насъ сказало Божество:
«Лишь сердцемъ чистые — тъ узрятъ Вога.»
1852.

LVIII.

О, какъ убійственно мы любимъ, Какъ, въ буйной слѣпотѣ страстей, Мы то всего вѣрнѣе губимъ, Что сердцу нашему милѣй!

Давно-ль, гордясь своей побъдой,
Ты говориль: она моя...
Годъ не прошель, спроси и свъдай,
Что уцълъло отъ нея?

Куда ланить дѣвались розы, Улыбка усть и блескъ очей? Все опалили, выжгли слезы Горючей влагою своей.

Ты помнишь-ли, при вашей встрёчё, При первой встрёчё роковой, Ея волшебный взоръ и рёчи И смёхъ младенчески-живой?

И что-жь теперь? И гдѣ все это? И долговѣченъ-ли былъ сонъ? Увы, какъ сѣверное лѣто Былъ мимолетнымъ гостемъ онъ!

Судьбы ужаснымъ приговоромъ
Твоя любовь для ней была
И незаслуженнымъ позоромъ
На жизнь ея она легла!

Жизнь отреченья, жизнь страданья Въ ея душевной глубинъ... Ей оставались вспоминанья... Но измънили и онъ.

И на землъ ей дико стало,
Очарованіе ушло...
Толпа, нахлынувъ, въ грязь втоптала
То, что въ душъ ея цвъло.

И что-жь отъ долгаго мученья
Какъ пеплъ сберечь ей удалось? —
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль безъ отрады и безъ слезъ!

О, какъ убійственно мы любимъ!
Какъ, въ буйной слѣпотѣ страстей,
Мы то всего вѣрнѣе губимъ,
Что сердцу нашему милѣй!

LIX.

ародѣйкою зимою
Околдованъ лѣсъ стоитъ —
И подъ снѣжной бахрамою,
Неподвижною, нѣмою,
Чудной жизнью онъ блеститъ.

И стоить онь, околдовань,
Не мертвець и не живой —
Сномь волшебнымь очаровань,
Весь опушань, весь оковань
Легкой цёпью пуховой.

Солнце зимнее-ли мещетъ

На него свой лучъ косой —

Въ немъ ничто не затрепещетъ —

Онъ лишь вспыхнетъ и заблещетъ

Ослъпительной красой.

LX.

Нашъ въкъ.

ше плоть, а духъ растлился въ наши дни, И человъкъ отчаянно тоскуеть, Онъ къ свъту рвется изъ ночной тъни И свъть обрътщи, ропщеть и бунтуетъ.

Безвъріемъ палимъ и изсушенъ,

Невыносимое онъ днесь выноситъ...

И сознаетъ свою погибель онъ,

И жаждетъ въры... но о ней не проситъ.

Не скажеть вѣкъ, съ молитвой и слезой Какъ ни скорбить предъ замкнутою дверью:

- «Впусти меня! Я върю, Боже мой!
- «Приди на помощь моему невёрью!»...

LXI.

Венеція.

То зеркалу зыбкаго дола,
Подъ темнымъ покровомъ ночнымъ,
Таинственной тънью гондола
Скользитъ по струямъ голубымъ.

Въ часы тишины и прохлады — Синьора, услышавъ сквозь сонъ Созвучья ночной серенады, Не выйдетъ тайкомъ на балконъ.

Забыты октавы Торквато, Умолкнуль всселый напѣвъ, Которымъ звучали когда-то Уста гондольеровъ и дѣвъ. Гондола скользить молчаливо
Вдоль мраморныхь, мрачныхъ палатъ,
Изъ мрака онъ горделиво,
Сурово и молча глядятъ.

LXII.

очи зналь, — о, эти очи!
Какь я любиль ихь — знаеть Богь!
Оть ихь волшебной, страстной ночи
Я душу оторвать не могъ.

Въ непостижимомъ этомъ взорѣ, Жизнь обнажающемъ до дна, Такое слышалося горе Такая страсти глубина!

Дышаль онь грустный, углубленный Въ тъни ръсниць ея густой, Какъ наслажденье — утомленный И какъ страданье — роковой.

И въ эти чудныя мгновенья
Ни разу мнѣ не довелось
Съ нимъ повстрѣчаться безъ волненья
И любоваться имъ безъ слезъ.

LXIII.

Предопредъленіе.

шюбовь, любовь, — гласить преданье, — Союзь души съ душой родной, Ихъ съединенье, сочетанье, И роковое ихъ сліянье, И поединокъ роковой. И чёмъ одно изъ нихъ нёжнёе Въ борьбё неравной двухъ сердецъ, Тёмъ неизбёжнёй и вёрнёе, Любя, страдая, грустно млёя, Оно изноетъ наконецъ.

1853

LXIV.

Проъзжая черезъ Ковно.

шы-ль это, Нѣманъ величавый?
Твоя-ль струя передо мной?
Ты столько лѣтъ, съ такою славой --Россіи вѣрный часовой!
Одинъ лишь разъ, по волѣ Бога,
Ты супостата къ ней впустилъ,
И цѣлость русскаго порога
Ты тѣмъ навѣки утвердилъ.

Ты помнишь ли былое, Нёманъ, — Тотъ день годины роковой, Когда стоялъ онъ надъ тобой, Онъ самъ — могучій, южный демонъ, —

И ты какъ нынѣ протекалъ, Шумя подъ вражьими мостами, И онъ струю твою ласкалъ Своими чудными очами?

Побъдно шли его полки,
Знамена весело шумъли,
На солнцъ искрились штыки, —
Мосты подъ пушками гремъли, —
И съ высоты, какъ нъкій богъ,
Казалось, онъ парилъ надъ ними,
И двигалъ всъмъ и все стерегъ
Очами чудными своими.

Лишь Одного онъ не видаль:

Не видъль онъ, воитель дивный,

Что тамъ, на сторонъ противной

Стояль Другой — стояль и ждаль..

И мимо проходила рать —

Все грозно-боевыя лица, —

И неизбъжная Десница

Клала на нихъ свою печать.

Итакъ, побъдно шли полки, Знамена гордо развъвались, Струились молніей штыки
И барабаны заливались...
Несмѣтно было ихъ число...
И въ этомъ безконечномъ строѣ
Едва-ль десятое чело
Клеймо минуло роковое...

1853

LXV.

Да это, просто, колдовство, И какъ, прошу, далось намъ это Такъ, ни съ того и ни съ чего?

Гляжу тревожными глазами
На этоть блескъ, на этотъ свёть:
Не издёваются-ль надъ нами?
Откуда намъ такой привёть?

Увы, не такъ ли молодая
Улыбка женскихъ устъ и глазъ,
Не восхищая, не прельщая,
Подъ старость лишь тревожитъ насъ...
1854.

LXVI.

Олеговъ щитъ.

Молитва Магометанъ.

«Дляхъ! пролей на насъ твой свътъ!
Краса и сила правовърныхъ!
Гроза гауровъ лицемърныхъ!
Пророкъ твой Магометъ!»...

Молитва Славянъ.

«О, наша крѣпость и оплоть!
Великій Богъ! веди насъ нынѣ,
Какъ нѣкода Ты велъ въ пустынѣ
Свой избранный народъ!»...

* *

Глухая полночь! Все молчить!
Вдругъ... изъ-за тучъ луна блеснула
И надъ воротами Стамбула
Олеговъ озарила щитъ.

LXVII.

еперь тебѣ не до стиховъ,
О слово русское, родное!
Созрѣла жатва, жнецъ готовъ,
Настало время не земное...

Ложь воплотилася въ булатъ,
Какимъ-то Божьимъ попущеньемъ
Не цълый міръ, но цълый адъ
Тебъ грозитъ ниспроверженьемъ...

Всѣ богохульные умы,
Всѣ богомерзкіе народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя свѣта и свободы!

Тебѣ они готовять плѣнь,
Тебѣ пророчать посрамленье, —
Ты — лучшихь, будущихъ временъ
Глаголъ, и жизнь, и просвѣщенье!

О, въ этомъ испытаньи строгомъ, Въ последней, въ роковой борьбе, Не измени же ты себе И оправдайся передъ Богомъ...

LXVIII.

По случаю прітада Австрійскаго Эрцгерцога на похороны Императора Николая.

тьть, мъра есть долготерпънью, Безумству также мъра есть... Клянусь его вънчанной тънью, Не все же можно перенесть!

И какъ не грянетъ отовсюду
Одинъ всеобщій кличъ тоски:
Прочь, прочь австрійскаго Іуду
Отъ гробовой его доски!

Прочь съ ихъ предательскимъ лобзаньемъ, И весь «апостольскій» ихъ родъ Будь заклейменъ однимъ прозваньемъ: Искаріотъ, Искаріотъ!

LXIX.

На новый 1855 годъ.

Въ Альбонъ А. П. Данилевскаго.

Отоимъ мы слёпы предъ судьбою:
Не намъ сорвать съ нея покровъ...
Я не свое тебъ открою,
А бредъ пророческій духовъ.

Еще намъ далеко до цёли:
Гроза реветъ, гроза растетъ,
И вотъ въ желёзной колыбели,
Въ громахъ, родится новый годъ.

Черты его ужасно строги, Кровь на рукахъ и на челъ; Но не однъ войны тревоги Несеть онъ людямъ на землъ. Не просто будеть онъ воитель,
Но исполнитель Божьихъ каръ, —
Онъ совершить, какъ поздній мститель,
Давно задуманный ударъ.

Для битвъ онъ посланъ и расправы, Съ собой несетъ онъ два меча: Одинъ — сраженій мечъ кровавый, Другой — съкира палача.

Но на кого?... Одна ли выя, Народъ ли цёлый обреченъ?... Слова не ясны роковыя И смутенъ замогильный стонъ.

LXX.

Вы, что нашего незнанья
И безпомощнъй и грустнъй?
Кто смъетъ молвить: до свиданья!
Чрезъ бездну двухъ, или трехъ дней?
1855.

LXXI.

О, въщая душа моя,
О, сердце полное тревоги,
О, какъ ты бъешься на порогъ
Какъ бы двойнаго бытія!...

Такъ, ты жилище двухъ міровъ,
Твой день — бользненный и страстный,
Твой сонъ — пророчески — неясный,
Какъ откровеніе духовъ...

Пускай страдальческую грудь
Волнують страсти роковыя, —
Душа готова, какъ Марія,
Къ ногамъ Христа на вѣкъ прильнуть.
1855.

LXXII.

Гр. Ростопчиной.

О, въ эти дни — дни роковые, Дни испытаній и утрать, — Отраденъ будь для ней возврать Въ мъста душъ ея родныя!

Пусть добрый, благосклонный геній Скоръй ведеть на встръчу къ ней И горсть живыхъ еще друзей, И столько милыхъ, милыхъ твней! 1855.

LXXIII.

Пламя рдёсть, пламя пышеть, Искры брызжуть и летять, А на нихъ прохладой дышеть Изъ-за рёчки темный садъ. Сумракъ тутъ, тамъ жаръ и крики, — Я брожу, какъ-бы во снё, — Лишь одно я живо чую — Ты со мной и вся во мнё.

Трескъ за трескомъ, дымъ за дымомъ, Трубы голыя торчатъ, А въ поков нерушимомъ Листья въютъ и шуршатъ, Я, дыханьемъ ихъ обвъянъ, Страстный говоръ твой ловлю; Слава Богу, я съ тобою, А съ тобой мнъ, какъ въ раю.

LXXIV.

акъ, въ жизни есть мгновенія. Ихъ трудно передать, Они самозабвенія Земнаго благодать. Шумять верхи древесные Высоко надо мной И птицы лишь небесныя Бесъдують со мной. Все пошлое и ложное Ушло такъ далеко, Все мило-невозможное Такъ близко и легко... И любо мнв, и сладко мнв. И миръ въ моей груди, Дремотою обвъянъ я — О, время погоди!

LXXV.

ти бъдныя селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпънья.
Край ты русскаго народа?

Не пойметь и не оцѣнить Гордый взоръ иноплеменный, Что сквозить и тайно свѣтить Въ наготѣ твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной, Всю тебя, вемля родная, Въ рабскомъ видъ, Царь Небесный Исходилъ благословляя.

LXXVI.

отъ, отъ моря и до моря Нить жельзная бъжитъ, Много славы, много горя Эта нить порой въститъ.

И за ней слёдя глазами,
Путникъ видитъ, какъ порой,
Птицы вёщія садятся
Вдоль по нити вёстовой.

Вотъ съ поляны воронъ черный Прилетълъ и сълъ на ней, Сълъ, и каркнулъ, и крылами Замахалъ онъ веселъй.

И кричить онь, и ликуеть,
И кружится все надъ ней:
Ужь не кровь-ли воронъ чуетъ
Севастопольскихъ въстей?

15 ABr. 1855.

LXXVII.

Послъдняя любовь.

О, какъ на склонъ нашихъ лътъ

Нъжнъй мы любимъ и суевърнъй...

Сіяй, сіяй прощальный свътъ

Любви послъдней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тёнь
Лишь тамъ на западё бродитъ сіянье,
Помедли, помедли, вечерній день,
Продлись, продлись очарованье.

Пускай скудветь въ жилахъ кровь,
Но въ сердцв не скудветъ нъжность...
О, ты, послъдняя любовь!
Блаженство ты и, безнадежность.

LXXVIII.

Смотри, какъ роща зеленѣеть.
Палящимъ солнцемъ облита,
И въ ней какою нѣгой вѣетъ
Отъ каждой вѣтки и листа!

Войдемъ и сядемъ надъ корнями Деревъ, поимыхъ родникомъ, — Тамъ, гдъ обвъянный ихъ мглами. Онъ шепчетъ въ сумракъ нъмомъ.

Надъ нами бредятъ ихъ вершины Въ полдневный зной погружены, И лишь порою крикъ орлиный До насъ доходитъ съ вышины...

LXXIX.

Народный праздникъ.

шадъ этой темною толпой Непробужденнаго народа Взойдешь-ли ты когда, свобода, Блеснетъ-ли лучъ твой золотой?

Блеснетъ твой лучъ и оживитъ, И сонъ разгонитъ и туманы... Но старыя гнилыя раны, Рубцы насилій и обидъ,

Растленье душь и пустота,
Что гложеть умь и въ сердце ноеть...
Кто ихъ излечить, кто прикроеть?
Ты риза чистая Христа...

15 Авг. 1857.

LXXX.

Сть въ осени первоначальной Короткая, но дивная пора: Весь день стоитъ какъ бы хрустальный, И лучезарны вечера...

Гдѣ бодрый серпъ гулялъ и падалъ колосъ
Теперь ужь пусто все — просторъ вездѣ, —
Лишь паутины тонкій волосъ
Блестить на праздной бороздѣ.

Пустветь воздухь, птиць не слышно боль, Но далеко еще до первыхь зимнихь бурь, И льется чистая и теплая лазурь На отдыхающее поле.

LXXXI.

Царское Село.

Осенней, позднею порою
Люблю я Царскосельскій садъ,
Когда онъ тихой полумглою
Какъ бы дремотою объятъ.
И бълокрылыя видънья,
На тускломъ озера стеклъ,
Безгласны, тихи, безъ движенья —
Бълъютъ въ этой полумглъ...

И на широкія ступени

Екатерининскихъ дворцовъ

Ложатся сумрачныя тёни

Октябрскихъ раннихъ вечеровъ.

И въ тайнъ сумрака нъмаго

Лишь слабо свътитъ, подъ звъздой,

Какъ память дальнаго былова,

Пустынный куполъ золотой.

LXXXII.

Такъ тяжко на груди,
И сердце изнываетъ,
И тъма лишь впереди,

Безъ силъ и безъ движенья, Мы такъ удручены, Что даже утъщенья Друзей намъ не смъщны, —

Вдругъ солнца лучъ привътный Войдетъ украдкой къ намъ И брызнетъ огнецвътной Струею по стънамъ;

Со тверди благосклонной, Съ дазуревыхъ высотъ — Вдругъ воздухъ благовонный Въ окно на насъ пахнетъ... Уроковъ и совѣтовъ
Они намъ не несутъ,
И отъ судьбы навѣтовъ
Они насъ не спасутъ,

Но силу ихъ мы чуемъ, Ихъ слышимъ благодать, И меньше мы тоскуемъ, И легче намъ дышать...

Такъ мило благодатна, Воздушна и свътла — Душъ моей стократно Любовь твоя была.

LXXXIII.

На въкъ отъ насъ ушло,
И какъ подъ камнемъ гробовымъ
Намъ станетъ тяжело,

Пойдемъ и взглянемъ вдоль рѣки, Туда, по склону водъ, Куда, стремглавъ, бѣгутъ струи, Куда потокъ несетъ, —

Неодолимъ, неудержимъ.

И не вернется вспять...

И чъмъ мы далъе глядимъ,

Тъмъ легче намъ дышать...

И слезы льются изъ очей,
И видимъ мы сквозь слезъ,
Какъ все быстръе и быстръй
Волненье понеслось...

Душа впадаеть въ забытье
И чувствуеть она,
Что вотъ умчала и ее
Великая волна...

LXXXIV.

Она сидъла на полу
И груду писемъ разбирала,
И какъ остывшую золу,
Брала ихъ въ руки и бросала.

Брала знакомые листы
И чудно такъ на нихъ глядѣла,
Какъ души смотрятъ съ высоты
На ими брошеное тѣло.

И сколько жизни было туть, Невозвратимо пережитой, И сколько горестныхъ минуть Любви и радости убитой!

Стояль я молча, въ сторонѣ, И пасть готовъ быль на колѣни, — И страшно, грустно стало мнѣ, Какъ отъ присущей милой тѣни.

LXXXV.

Дорога изъ Кенигсберга въ Петербургъ.

1.

Родной ландшафть подъ дымчатымъ навѣсомъ
Огромной тучи снѣговой;
Синѣетъ даль съ ея угрюмымъ лѣсомъ,
Окутаннымъ осенней мглой!
Все голо такъ, и пусто, необъятно,
Въ однообразіи нѣмомъ,
Мѣстами лишь просвѣчиваютъ пятна
Стоячихъ водъ, покрытыхъ первымъ льдомъ.

Ни звуковъ здёсь, ни красокъ, ни движенья; Жизнь отошла, и покорясь судьбё, Въ какомъ-то забытьи изнеможенья, Здёсь человёкъ лишь снится самъ себъ. Какъ свёть дневной, его тускнёють взоры; Не вёрить онь, хоть видёль ихъ вчера, Что есть края, гдё радужныя горы Въ лазурныя глядятся озера...

LXXXVI.

2.

Трустный видь и грустный чась!

Дальній путь торопить нась...

Воть, какъ призракъ гробовой.

Мъсяцъ всталъ, и изъ тумана

Освътилъ безлюдный край...

Путь далекъ, не унывай!

Ахъ, и въ этотъ самый часъ, Тамъ, гдё нётъ теперь ужъ насъ, Тотъ же мёсяцъ, но живой Дышетъ въ зеркалё Лемана! Чудный видъ, и чудный край Путь далекъ, не вспоминай!

LXXXVII.

Е. Н. Анненковой.

въ нашей жизни повседневной Бывають радужные сны — Въ край незнакомый, въ край волшебный И чуждый намъ и задушевный, Мы ими вдругъ увлечены.

Мы видимъ: съ голубаго своду

Нездъшнимъ свътомъ въетъ намъ —

Другую видимъ мы природу,

И безъ заката, безъ восходу,

Другое солнце свътитъ тамъ...

Все лучше тамъ, свётила шире —
Такъ отъ земнаго далеко...
Такъ разно съ тёмъ, что въ нашемъ мірѣ —
— И въ чистомъ пламенномъ эфирѣ
Душѣ такъ радостно легко.

Проснулись мы, — конецъ видѣнью Его ничѣмъ не удержать, И, тусклой, неподвижной тѣнью, Отдашься общему теченью — И жизнь охватить насъ опять!

Но долго звукъ неуловимый Звучить надъ нами въ вышинѣ — И предъ душой, тоской томимой, Все тотъ же взоръ неотразимый, Все та-жь улыбка, что во снъ.

LXXXVIII.

Высоко въ небъ мъсяцъ свътитъ,

Царитъ себъ — и не замътитъ

Что ужъ родился юный день,

Что хоть лъниво и не смъло

Лучъ возникаетъ за лучемъ —

А небо такъ еще всецъло

Ночнымъ сіяетъ торжествомъ...

Но не пройдетъ двухъ-трехъ мгновеній,

Ночь испарится надъ землей, —

И въ полномъ блескъ проявленій

Вдругъ насъ охватитъ міръ дневной.

Дек., 8 ч. утра, 1859.

LXXXIX.

H. H.

(При получении отъ него въ подарокъ очковъ.)

Созв'єздій въ горней вышинъ, —

Для нашихъ слабыхъ глазъ туманныхъ

Недосягаемы онъ...

И какъ онъ бы ни свътили,
Не намъ о блескъ ихъ судить, —
Лишь телескопа дивной силъ
Онъ подвластны, можетъ бытъ...

Но есть созв'єздія иныя, Оть нихь иные и лучи: Какъ солнца пламенно-живыя, Он'є сіяють намъ въ ночи... Ихъ бодрый, радующій души, Свътъ путеводный, свътъ благой, Вездъ — и въ моръ и на сушъ — Вездъ мы видимъ предъ собой.

Для міра дольняго отрада,
Они, краса небесъ родныхъ,
Для этихъ звъздъ очковъ не надо, —
И близорукій видитъ ихъ...

XC.

Memento.

На этотъ край, на озеро и горы,
Въ роскошной славъ западныхъ лучей:
Какъ сквозь туманъ болъзни многотрудной,
Она, порой, ловила призракъ чудный, —
Весь этотъ міръ былъ такъ сочувственъ ей!

Какъ эти горы, волны и свътила,
И въ полутьмъ своей она любила,
Своею чуткой, любящей душой, —
И предъ грозой, ужь близкой, разрушенья,
Какія въ ней бывали умиленья —
Предъ этой жизнью въчно-молодой!

Свътились Альпы, озеро дышало, — И туть же намъ, сквозь слёзъ, понятно стало, Что чья душа такъ царственно свътла, Кто до конца сберегъ ее живую, — И въ страшную минуту роковую Все той же будетъ, чъмъ была!...

Женева, 1860, Сент.

XCI.

На юбилей князя П. А. Вяземскаго.

Музы есть различныя пристрастья, Дары ея даются не равно; Стократь она божественнъе счастья, Но своенравно какъ оно:

Иныхъ она лишь на зарѣ лелѣетъ,
Цѣлуетъ шелкъ ихъ кудрей молодыхъ,
Но вѣтерокъ чуть жарче лишь новѣетъ,
И съ первымъ сномъ она бѣжитъ отъ нихъ.

Тъмъ у ручья, на луговинъ тайной, Нежданная, является порой, Порадуетъ улыбкою случайной, Но послъ первой встръчи — нътъ второй! Не то отъ ней присуждено вамъ было:
Васъ юношей настигнувъ въ добрый часъ,
Она въ душт васъ кртпко полюбила
И долго всматривалась въ васъ.

Досужная, она не мимоходомъ
Пеклась о васъ, ласкала, берегла,
Растила вашъ талантъ, и съ каждымъ годомъ
Любовь ея нъжнъе все была.

И какъ съ годами крѣпнетъ, пламенѣя, Сокъ благодатный виноградныхъ лозъ, — И въ кубокъ вашъ все жарче и свѣтлѣе Такъ вдохновеніе лилось.

И никогда такимъ виномъ какъ нынѣ
Вашъ славный кубокъ вѣнчанъ не бывалъ...
Давайте-жь, князь, подымемъ въ честь богинѣ
Вашъ полный, пѣнистый фіалъ, —

Богинъ въ честь, хранящей благородно Залогъ всего, что свято для души, Родную ръчь... расти она свободно — И подвигъ свой великій доверши!

Пототъ мы всѣ, въ молитвенномъ молчаньѣ, Священныя поминки сотворимъ, — Мы сотворимъ тройное возліянье Тремъ незабвенно дорогимъ.

Нъть отклика на голось ихъ зовущій, Но въ свътлый праздникъ вашихъ имянинъ, Кому-жь они не близки, не присущи, Жуковскій, Пушкинъ, Карамзинъ!...

Такъ вёримъ мы, незримыми гостями Теперь они, покинувъ горній міръ, Сочувственно витаютъ между нами И освящаютъ этотъ пиръ.

За ними, князь, во имя музы вашей, Подносимъ вамъ заздравное вино, И долго, долго, въ этой свътлой чашъ Пускай кипить и искрится оно!... 2 Марта 1861.

XCII.

зналь ее еще тогда,
Въ тъ баснословные года,
Какъ передъ утреннимъ лучомъ
Первоначальныхъ дней звъзда
Ужъ тонетъ въ небъ голубомъ.

И все еще была она
Такъ свъжей прелести полна,
Той доразсвътной темноты, —
Какъ бы незрима, не слышна,
Роса ложилась на цвъты.

И жизнь ея тогда была
Такъ совершенна, такъ цёла,
И такъ средё земной чужда,
Что, мнится, и она зашла, —
А не погибла, — какъ звёзда.

27 Марта 1861.

XCIII.

[ри посылкъ Новаго Завъта.

Быль вынуть для тебя судьбой, И рано съ жизнью безпощадной Вступила ты въ неравный бой.

Ты билась съ мужествомъ немногихъ, И въ этомъ роковомъ бою — Изъ испытаній самыхъ строгихъ Всю душу вынесла свою.

Нътъ, жизнь тебя не побъдила, И ты въ отчаянной борьбъ Ни разу, другъ, не измънила Ни правдъ сердца, ни себъ. Но скудны всѣ земныя силы:
Разсвирѣпѣетъ жизни зло —
И намъ, какъ на краю могилы,
Вдругъ станетъ страшно, тяжело.

Вотъ, въ эти-то часы, съ любовью, О книгъ сей ты вспомяни — И всей душой, какъ къ изголовью, Къ ней припади — и отдохни.

XCIV.

А. А. Фету.

Тебъ сердечный мой поклонъ
И мой, каковъ ни есть, портреть,
И пусть, сочувственный поэть,
Тебъ, коть молча, скажеть онъ:
Какъ дорогъ былъ мнъ твой привъть,
Какъ имъ въ душъ я умиленъ.

Инымъ достался отъ природы
Инстинктъ пророчески-слѣпой —
Они имъ чуютъ, слышатъ воды
И въ темной глубинъ земной...

Великой матерью любимый,
Стократь завиднёй твой удёль —
Не разъ подъ оболочкой зримой
Ты самоё ее узрёль...

XCV.

Тоть я и свидь гнёздо въ долине, Но чувствую порой и я, Какъ животворно на вершине Бёжить воздушная струя, — Какъ рвется изъ густаго слоя, Какъ жаждетъ горнихъ наша грудь, Какъ все удушливо-земное Она хотёла-бъ оттолкнуть!

На недоступныя громады
Смотрю по цёлымъ я часамъ, —
Какія росы и прохлады
Оттуда съ шумомъ льются къ намъ!
Вдругъ просвётлёють огнецвётно
Ихъ непорочные снёга:
По нимъ проходитъ незамётно
Небесныхъ Ангеловъ нога...

10 ORT. 1861.

XCVI.

грай покуда надъ тобою
Еще безоблачна лазурь —
Играй съ людьми, играй съ судьбою.
Ты, жизнь, ужъ призванная къ бою —
Ты сердце, жаждущее будь!

Какъ часто, грустными мечтами Томимый, на тебя гляжу — И взоръ туманится слезами — Зачъмъ? Что общаго межь нами? Ты жить идешь — я ухожу.

Я слышаль утреннія грёзы—
И первый, милый, лепеть дня—
Но позднія, живыя грозы,
Но взрывь страстей, но страсти слёзы
Нъть, это все, не для меня...

Но, можетъ быть въ разгаръ лъта Вздохнешь ты по своей веснъ — И вспомнишь и про время это Какъ про забытый, до разсвъта Мелькнувшій призракъ въ первомъ снъ. 1862.

XCVII.

Когда въ кругу убійственныхъ заботъ

Намъ все мерзитъ, и жизнь, какъ камней груда,
Лежитъ на насъ, — вдругъ, знаетъ Богъ откуда,
Намъ на душу отрадное дохнетъ,
Минувшимъ насъ обвъетъ и обниметъ —
И страшный грузъ минутно приподниметъ.
Такъ иногда осеннею порой,
Когда поля ужъ пусты, рощи голы,
Блъднъе небо, пасмурнъе долы, —
Вдругъ вътръ подуетъ, теплый и сырой,
Опавшій листъ погонитъ предъ собою
А душу намъ обдастъ какъ бы весною.

XCVIII.

Къ Н. С. А-ой.

Вдругъ птичка въ комнату влетитъ И жизнь и свътъ внесетъ съ собою, Все огласитъ и озаритъ.

Весь міръ, цвътущій міръ природы, Въ нашъ уголь вносить за собой, Зеленый лъсъ, живыя воды И отблескъ неба голубой:

Такъ мимолетной и воздушной Явилась гостьей къ намъ она, Въ нашъ міръ и чопорный, и душный, И пробудила всёхъ отъ сна.

Ея присутствіемъ согрѣта Жизнь встрепенулася живѣй, И даже Питерское лѣто Чуть не оттаяло при ней.

При ней и старость молодёла
И опыть сталь ученикомъ:
Она вертёла какъ хотёла,
Дипломатическимъ клубкомъ...

XCIX.

Къ Н. С. А-ой.

самый домъ нашъ будто ожилъ Ее жилицею избравъ: И насъ ужъ менъе тревожилъ Неугомонный телеграфъ.

Но кратки всѣ очарованья,

Имъ не дано у насъ гостить,

И вотъ сошлись мы — для прощанья;

Но долго, долго не забыть

Нежданно-милыхъ впечатлёній,
Тъ ямки розовыхъ данитъ,
Ту нъгу стройную движеній
И станъ оправленный въ магнитъ;

Радушный смёхь и звучный голось, Полулукавый свёть очей, И этоть длинный тонкій волось, Едва доступный пальцамъ фей...

C.

жасный сонъ отяготёль надъ нами, Ужасный, безобразный сонъ: Въ крови до пять, мы бьемся съ мертвецами, Воскресшими для новыхъ похоронъ.

Осьмой ужь мёсяць длятся эти битвы, Геройскій пыль, предательство и ложь, Притонь разбойничій въ дому молитвы, Въ одной рукт распятіе и ножь,

И цѣлый міръ, какъ опьяненный ложью, Всѣ виды зла, всѣ ухищренья зла!... Нѣтъ никогда такъ дерзко правду Божью Людская кривда къ бою не звала!...

И этоть кличь сочувствія слівнаго, Всемірный кличь къ неистовой борьбів, Разврать умовь и искаженье слова—Все поднялось и все грозить тебів,

О, край родной! такого ополченья
Міръ не видалъ съ первоначальныхъ дней...
Велико знать, о Русь, твое значенье!
Мужайся, стой, кръпись и одолъй!
Москва, Авг. 1863.

CI.

Съ деревьевъ ржавый листъ валился,
День потухающій дымился,
Сходила ночь, туманъ вставалъ.

И все для сердца и для глазъ
Такъ было холодно-безцвътно,
Такъ было грустно-безотвътно,
Но чья-то пъснь вдругъ раздалась.

И воть, какимъ-то обаяньемъ, Туманъ, свернувшись, улетѣлъ; Небесный сводъ поголубѣлъ И вновь подернудся сіяньемъ,

И все опять зазеленёло,
Все обратилося въ веснё...
И эта греза снилась мнё,
Пока мнё птичка ваша пёла.

CII.

Князю А. А. С....ву.

уманный внукъ воинственнаго дѣда,
Простите намъ, нашъ симпатичный князь,
Что русскаго честимъ мы людоѣда ¹),
Мы, Русскіе, Европы не спросясь!...

Какъ извинить предъ вами эту смълость?
Какъ оправдать сочувствие къ тому,
Кто отстоялъ и спасъ Россіи цълость,
Всъмъ жертвуя народу своему;

Кто всю отвътственность, весь трудъ и бремя, Взяль на себя въ отчаянной борьбъ — И бъдное, замученное племя, Воздвигнувъ къ жизни, вынесъ на себъ?...

¹⁾ Гр. М. Н. Муравьева, какъ называли его враги.

Кто, избранный для всёхъ крамолъ мишенью, Всталъ и стоитъ, спокоенъ, невредимъ, На вло врагамъ, ихъ лжи и озлобленью, На вло, увы! и пошлостямъ роднымъ.

Такъ будь и намъ позорною уликой Письмо къ нему отъ насъ, его друзей! Но намъ сдается, князь, вашъ дѣдъ великій Его скрѣпилъ бы подписью своей.

12 Ноябр. 1863.

CIII.

Омотри, какъ западъ загорълся
Вечернимъ заревомъ лучей,
Востокъ померкнувшій одълся
Холодной, сизой чешуей!

Въ враждё-ль они между собою?

Иль солнце не одно для нихъ

И, неподвижною средою

Дёля, не съединяетъ ихъ?

CIV.

Къ Н. Н.

Какъ ни бъсилося влоръчье, Какъ ни трудилося надъ ней, Но этихъ главъ чистосердечье, — Оно всъхъ демоновъ сильнъй.

Все въ ней такъ искренно и мило,
Такъ всъ движенья хороши;
Ничто лазури не смутило
Ея безоблачной души.

Къ ней и пылинка не пристала
Отъ глупыхъ сплетней, злыхъ ръчей;
И даже клевета не смяла
Воздушный шелкъ ея кудрей.

CV.

Князю Горчакову.

Вамъ выпало призванье роковое,
Но тотъ, кто призвалъ васъ, и соблюдетъ.
Все лучшее въ Россіи, все живое .
Глядитъ на васъ и въритъ вамъ и ждетъ.

Обманутой, обиженной Россіи
Вы честь спасли, — и выше нѣтъ заслугъ;
Днесь подвиги вамъ предстоятъ иные:
Отстойте мысль ея, спасите духъ...

1864

CVI.

На смерть Графа Д. Н. Блу-дова.

тихими послёдними шагами
Онъ подошелъ къ окну. День вечерёлъ,
И чистыми, какъ благодать, лучами
На западё свётился и горёлъ.
И вспомнилъ онъ годину обновленья —
Великій день, новозавётный день, —
И на лицё его отъ умиленья
Предсмертная вдругъ озарилась тёнь.

И разъ еще два образа родные, — Ихъ какъ святыню въ сердцѣ онъ носилъ, — Предстали передъ нимъ — Царь и Россія, И отъ души онъ ихъ благословилъ.

Потомъ главой припалъ онъ къ изголовью Последняя свершалася борьба, — И самъ Спаситель отпустилъ съ любовью Послушнаго и вернаго раба!...

19 Февр. 1864.

CVII.

шесь день она лежала въ забытьи,
И всю ее ужь тёни покрывали;
Лилъ теплый лётній дождь, его струи
По листьямъ весело звучали.

И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться къ шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена въ сознательную думу...

И вотъ, какъ бы бесёдуя съ собой, Сознательно она проговорила (Я былъ при ней, убитый, но живой): «О, какъ все это я любила!»

CVIII.

Тихла буря, легче дышеть

Лазурный сонмъ женевскихъ водъ,

И лодка вновь по нимъ плыветъ,

И снова лебедь ихъ колышетъ.

Весь день, какъ лѣтомъ, солнце грѣетъ, Деревья блещутъ пестротой, И воздухъ ласковой волной Ихъ вѣтхость пышную лелѣетъ.

А тамъ въ торжественномъ покоъ, Разоблаченная съ утра, Сіяетъ Бълая Гора Какъ откровенье неземное...

Женева, Окт. 1864.

CIX.

Е.И.В.Государын ВИмператриц ВМаріи Александровн В.

1.

То-бъ ни быль ты, но встрътясь съ ней, Душою чистой иль гръховной, Ты вдругъ почувствуешь живъй Что есть міръ лучшій, міръ духовной. — Ницца, 1864.

CX.

2.

живая прелесть дышеть въ ней; — Мы смотримъ съ трепетомъ тревожнымъ На тихій свъть ея очей:

Земное-ль въ ней очарованье, Иль не земная благодать? Душа хотвла-бъ ей молиться, А сердце рвется обожать...

Ницца, 1 Нояб. 1864.

CXI.

О этотъ югъ, о эта Ницца!...
О, какъ ихъ блескъ меня тревожитъ!
Мысль, какъ подстръленная птица,
Подняться хочетъ и не можетъ...
Нътъ ни полета, ни размаху;
Висятъ поломанныя крылья,
И вся дрожитъ, прижавшись къ праху,
Въ сознаньи грустнаго безсилья...
Ницца, 21 Нояб. 1864.

CXII.

Encyclica.

Быль день, когда Господней правды молоть Громиль, дробиль ветхозавётный храмь, И собственнымь мечомь своимь заколоть — Въ немъ издыхаль первосвященникъ самъ.

Еще страшнъй, еще неумолимъй
И въ наши дни, дни Божьяго суда,
Свершится казнь въ отступническомь Римъ
Надъ лже-намъстникомъ Христа.

Стольтья шли, ему прощалось много, Кривые толки, темныя дъла; Но не простится правдой Бога Его послъдняя хула. Не отъ меча погибнеть онъ земнаго, Мечомъ земнымъ владъвшій столько лъть! Его погубить роковое слово:

«Свобода совъсти есть бредъ.» —

21 Дек. 1864.

CXIII.

Здёсь лучезарно, тамъ сизо-черно!
Въ лунномъ сіяніи, словно живое,
Ходитъ, и дышетъ, и блещетъ оно.

На безконечномъ, на вольномъ просторъ Блескъ и движеніе, грохотъ и громъ... Тусклымъ сіяньемъ облитое море, Какъ хорошо ты въ безлюдьи ночномъ!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская!
Чей это праздникъ такъ празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткія звъзды глядять съ высоты...

Въ этомъ волненіи, въ этомъ сіяньи, Вдругъ онёмёвъ, я потерянъ стою, И какъ охотно въ ихъ обаяньи Всю потопилъ бы я душу свою!

———— Ницца, 2 Янв. 1865.

CXIV.

Дочери Д. Ө. То-й.

Тогда на то нъть Божьяго согласья, Какъ ни страдай она любя, Душа, увы, не выстрадаетъ счастья, Не можетъ выстрадать себя!

Душа, душа, которая всецёло Одной завётной предалась любви И ей одной дышала и болёла, Господь тебя благослови!

Онъ милосердый, всемогущій,
Онъ грѣющій Своимъ лучомъ
И пышный цвѣтъ на воздухѣ цвѣтущій,
И чистый перлъ на днѣ морскомъ...
Ница, 18 Фев. 1865.

CXV.

На кончину Е.И.В. Государя Наслъдника Николая Александровича.

Онъ, претерпъвшій до конца...
Знать, онъ предъ Богомъ былъ достоинъ
Другаго, лучшаго вънца!

Другаго, лучшаго наслёдства,

Наслёдства Бога своего, —

Онъ, наша радость съ малолётства,

Онъ быль не нашъ, онъ былъ Его...

Но между нимъ и между нами Есть связи естества сильнъй: Со всъми русскими сердцами Теперь онъ молится о ней, — О ней, чью горечь испытанья Пойметь, измърить только Та, Кто, освятивъ собой страданье, Стояла, плача, у креста...

12 Апр. 1865.

CXVI.

Телеграмма въ Петергофъ Князю П. А. Вяземскому.

шевпомощный и убогой,
И съ усильемъ и съ тревогой,
Къ вамъ пишу, съ одра привставъ,
И привътъ мой хромоногой
Окрылитъ пусть телеграфъ.

Пусть умчить его, играя,
Въ дивный, свётлый уголь тотъ,
Гдё весь день, не умолкая,
Словно буря дождевая
Въ купахъ зелени поетъ.

29 Іюня 1865.

CXVII.

Est in arundineis modulatio musica ripis.

Тармонія въ стихійныхъ спорахъ,
И стройный мусикійскій шорохъ
Струится въ зыбкихъ камышахъ.

Невозмутимый строй во всемъ, Созвучье полное въ природѣ, — Лишь въ нашей призрачной свободѣ Разладъ мы съ нею сознаемъ.

Откуда, какъ разладъ возникъ?
И отчего-же въ общемъ хорѣ
Душа не то поетъ, что море,
И ропщетъ мыслящій тростникъ?
11 Мая 1865.

CXVIII.

Такъ неожиданно и ярко,
По влажной неба синевъ,
Воздушная воздвиглась арка
Въ своемъ минутномъ торжествъ!
Одинъ конецъ въ лъса вонзила,
Другимъ за облака ушла;
Она полнеба обхватила
И въ высотъ изнемогла!

О, въ этомъ радужномъ видѣны Какая нѣга для очей!
Оно дано намъ на мгновенье, — Лови его, лови скорѣй!
Смотри: оно ужь поблѣднѣло;
Еще минута, двѣ — и что-жь?
Ушло, какъ то уйдетъ всецѣло,
Чѣмъ ты и дышешь и живешь.

1865.

Еще минута, и во всей Неизмъримости эфирной Раздастся благовъстъ всемірный Побъдныхъ солнечныхъ лучей...

Москва, 25 Іюля 1865.

CXXI.

Рочное небо такъ угрюмо,
Заволокло со всёхъ сторонъ:
То не угроза и не дума —
То вялый, безотрадный сонъ!
Однъ зарницы огневыя.
Воспламеняясь чередой,
Какъ демоны глухонъмые,
Ведутъ бесъду межь собой.

Какъ по условленному знаку,
Вдругъ неба вспыхнетъ полоса,
И быстро выступятъ изъ мраку
Поля и дальніе лѣса!
И вотъ опять все потемнѣло,
Все стихло въ чуткой темнотѣ,
Какъ бы таинственное дѣло
Рѣшалось тамъ на высотѣ...

____ 18 Авг. 1865.

CXXII.

Графинъ А. Д. Блудовой.

То, что намъ съ каждымъ днемъ яснѣе,

Что пережить — не значитъ жить...

Во имя милаго былова,
Во имя вашего отца,
Дадимъ же мы другъ другу слово —
Не измъняться до конца. —

1 Марта 1866.

CXXIII.

въ Божьемъ мірѣ то-жь бываетъ, И въ маѣ снѣгъ идетъ порой, А все-жь весна не унываетъ И говоритъ: чередъ за мной!... Безсильна, какъ она ни злися, Несвоевременная дурь! Мятели, вьюги улеглися, Ужь близко время лѣтнихъ бурь... 11 Мая 1866.

CXXIV.

ебо блёдно-голубое
Дышетъ свётомъ и тепломъ,
Что-то радостно-родное
Въетъ, свётится во всемъ.

Воздухъ, полный теплой влаги, Зелень свъжую поитъ
И торжественные флаги
Зыбью тихою струитъ.

Чистымъ пламенемъ, спокойно По ночамъ горятъ огни... Очарованныя ночи, Очарованные дни!

Словно, строгій чинъ природы Преданъ былъ, на эти дни, Духу жизни и свободы, Духу свъта и любви.

Словно въ въкъ ненарушимый. Былъ нарушенъ въчный строй И любившей и любимой — Человъческой душой.

Въ этомъ ласковомъ сіянью, Въ этомъ воздухю живомъ Чье-то чудится дыханье, Чей-то слышется пріемъ.

И нёмое умиленье, Съ благодатью чистыхъ слёзъ, Къ намъ сошло, какъ откровенье, И во всёхъ отозвалось.

Не бывалое доселѣ
Поняль вѣщій нашь народь,
И Дагмарова недѣля
Перейдетъ изъ рода въ родъ.
17 Сент. 1866.

CXXV.

ихо въ озерѣ струится
Отблескъ кровель золотыхъ,
Много въ озерѣ глядится
Достославностей былыхъ.
Жизнь играетъ, солнце грѣетъ,
Но подъ нею и подъ нимъ
Здѣсь былое чудно вѣетъ
Обаяніемъ своимъ.

Солнце свётить золотое
Блещуть озера струи,
Здёсь великое былое
Словно дышеть въ забытьи;
Дремлеть сладко, беззаботно,
Не смущая дивныхъ сновъ
И тревогой мимолетной
Лебединыхъ голосовъ.

Царское-Село, 1866.

CXXVI.

На Смерть Графа М. Н. Муравьева.

Жы, вмёсто всёхъ вёнковъ, кладемъ слова простыя:

Не много было-бъ у него враговъ,

Когда бы не твои, Россія!

1866.

CXXVII.

У момъ Россію не понять,
Аршиномъ общимъ не измърить;
У ней особенная стать —
Въ Россію можно только върить.
22 Нояб. 1866.

CXXVIII.

На юбилей Н. М. Карамзина.

Беликій день Карамзина
Мы, поминая братской тризной,
Что скажемъ здёсь передъ отчизной,
На что-бъ откликнулась она?

Какий хвалой благоговъйной, Какимъ сочувствіемъ живымъ, Мы этотъ славный день почтимъ— Народный праздникъ и семейный?

Какой пошлемъ тебѣ привѣтъ — Тебѣ, нашъ добрый, чистый геній, Средь колебаній и сомнѣній Много-тревожныхъ этихъ лѣтъ?

При этой смѣси безобразной — Безсильной правды, дерзкой лжи — Такъ ненавистной для души Высокой и ко благу страстной,

Души, какой твоя была, Какъ здъсь она еще боролась. Но на призывный Божій голосъ Неудержимо къ цъли шла?

Мы скажемъ: будь намъ путеводной, Будь вдохновительной звъздой, Свъти въ нашъ сумракъ роковой, Духъ цъломудренно-свободный,

Умъвшій все совокупить
Въ ненарушимомъ полномъ строъ.
Все человъчески-благое,
И русскимъ чувствомъ закръпить, —

Умъвшій, не сгибая выи Предъ обаяніемъ вънца, Царю быть другомъ до конца И върноподданнымъ Россіи...

1 Дек. 1866.

CXXIX.

огда дряхлёющія силы
Намъ начинають измёнять,
И мы должны какъ старожилы
Пришельцамъ новымъ мёсто дать,

Спаси тогда насъ добрый геній Отъ малодушныхъ укоризнъ — Отъ клеветы, отъ озлобленій На измѣняющую жизнь;

Отъ чувства затаенной злости На новый современный міръ, Гдѣ новые садятся гости За уготованный имъ пиръ;

Ото всего, что тымь задорный Чымь глубже крылось съ давнихъ поръ — И старческой любви позорный Сварливый старческій задоръ.

Уть желчи горькаго сознанья,
Что насъ потокъ ужъ не несётъ
И что другія есть призванья,
Другіе вызваны впередъ.

1866.

CXXX.

шы долго-ль будешь за туманомъ Скрываться, Русская звъзда, Или оптическимъ обманомъ
Ты обличишься навсегда?

Ужель на встрѣчу жаднымъ взорамъ, Къ тебѣ стремящимся въ ночи, Пустымъ и ложнымъ метеоромъ Твои разсыплются лучи?

Все гуще мракъ, все пуще горе,
Все неминуемъй бъда:
Взгляни, чей флагъ тамъ гибнетъ въ моръ,
Проснись теперь, иль никогда...

Дек. 1866.

CXXXI.

е слыхаль торжественнаго слова?

жаз въкамъ его передаютъ.

(-

И что-жь теперь? Увы, что видимъ мы? Кто пріютить, кто призрить гостью Божью? Ложь, злая ложь растила вст умы, И цтлый міръ сталь воплощенной ложью!...

Опять Востокъ дымится свѣжей кровью! Опять рѣзня... повсюду вой и плачъ, И снова правъ пирующій палачъ, А жертвы преданы злословью!

О этотъ въкъ, воспитанный въ крамолахъ, Въкъ безъ души, съ озлобленнымъ умомъ, На площадяхъ, въ палатахъ, на престолахъ Вездъ онъ правды личнымъ сталъ врагомъ! Но есть еще одинъ пріють державный, Для правды есть одинъ святой Алтарь: Въ твоей душт онъ, Царь нашъ Православный, Нашъ благодушный, честный, Русскій Царь!— 31 Дек. 1866.

CXXXII.

Два Единства.

жать переполненной Господнимъ гнѣвомъ чаши Кровь льётся черезъ край, и Западъ тонетъ въ ней. Кровь хлынетъ и на Васъ, друзья и братья наши, Славянскій міръ сомкнись тѣснѣй...

«Единство» — возвъстиль оракуль нашихь дней, Быть можеть спаено желъзомъ лишь и кровью, Но мы попробуемъ спаять его любовью — А тамъ увидимъ — что прочнъй.

1866.

CXXXIII.

Графинъ А. Д. Блудовой при полученіи отъ нея книги Гр. Д. Н. Б.

Такъ этого посмертнаго альбома

Мнѣ дороги завѣтные листы,

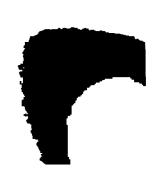
Какъ все на нихъ такъ родственно-знакомо,

Какъ полно все душевной теплоты!

Какъ этихъ строкъ сочувственная сила Всего меня обвъяла былымъ:

Храмъ опустълъ, потухъ огонь кадила, Но жертвенный еще курится дымъ.

1 Марта 1867.



CXXXIV.

Папрасный трудъ! Нѣтъ, ихъ не вразумнишь: Чѣмъ либеральнѣй, тѣмъ они пошлѣе; Цивилизація для нихъ фетишъ, Но недоступна имъ ея идея.

Какъ передъ ней ни гнитесь, господа,
Вамъ не снискать признанья отъ Европы:
Въ ея глазахъ вы будете всегда
Не слуги просвъщенья, а холопы!

Man 1867.

CXXXV.

Дымъ.

(Повъсть И. С. Тургенева.)

Тратов не веропрати и прекрасный, Шумель и зеленель волшебный лесь, — Не лесь, а целый мірь разнообразный, Исполненный виденій и чудесь:

Лучи сквозили, трепетали тѣни;
Не умолкалъ въ деревьяхъ птичій гамъ;
Мелькали въ чащѣ быстрые олени,
И ловчій рогъ взывалъ по временамъ.

На перекресткахъ, съ рѣчью и привѣтомъ, На встрѣчу намъ, изъ полутьмы лѣсной, Обвѣянный какимъ-то чуднымъ свѣтомъ, Знакомыхъ лицъ слетался цѣлый рой. Какая жизнь, какое обаянье,
Какой для чувствъ роскошный, свътлый пиръ!
Намъ чудились не здъшнія созданья,
Но близокъ былъ намъ этотъ дивный міръ.

И воть опять къ таинственному лѣсу
Мы съ прежнею любовью подошли.
Но гдѣ же онъ? Кто опустилъ завѣсу,
Спустилъ ее отъ неба до земли?

Что это: призракъ, чары ли какія? Гдѣ мы? И вѣрить-ли глазамъ своимъ? Здѣсь дымъ одинъ, какъ пятая стихія, — Дымъ безотрадный, безконечный дымъ!

Кой-гдѣ насквозь торчать, по обнаженнымъ Пожарищамъ, уродливые пни, И бѣгаютъ по сучьямъ обожженнымъ, Съ зловѣщимъ трескомъ, бѣлые огни.

Нѣтъ, это сонъ! Нѣтъ, вѣтерокъ повѣетъ И дымный призракъ унесетъ съ собой, И вотъ, опять нашъ лѣсъ зазеленѣетъ, Все тотъ же лѣсъ — волшебный и родной? 1867.

CXXXVI.

На юбилей князя А. М. Горчакова.

Тъ тъ дни крававо-роковые, Когда, прервавъ борьбу свою, Въ ножны вложила мечъ Россія, Свой мечъ иззубренный въ бою, —

Онъ волей призванъ былъ державной Стоять на стражъ, — и онъ сталъ, И бой отважный, бой неравный, Одинъ съ Европой продолжалъ.

И воть двёнадцать лёть ужь длится Упорный поединокъ тоть: Иноплеменный міръ дивится, Одна лишь Русь его пойметь.

Онъ первый угадаль въ чемъ дѣло, И имъ впервые русскій духъ Союзной силой признанъ смѣло, — И вотъ вѣнецъ его заслугъ.

Іюнь 1867.

CXXXVII.

Князю П. А. Вяземскому.

еперь не то, что за полгода,
Теперь не тъсный кругъ друзей,
Но вся великая природа
Вашъ торжествуетъ юбилей.

Смотрите, на какомъ просторѣ
Она устроила свой пиръ, —
Весь этотъ берегъ, это море,
Весь этотъ чудный лѣтній міръ.

Смотрите, какъ облитый свётомъ, Ступивъ на крайнюю ступень, Съ своимъ прощается поэтомъ Великолъпный этотъ день... Онъ первый угадаль въ чемъ дѣло, И имъ впервые русскій духъ Союзной силой признанъ смѣло, — И вотъ вѣнецъ его заслугъ.

Іюнь 1867.

CXXXVII.

Князю П. А. Вяземскому.

еперь не то, что за полгода,
Теперь не тъсный кругъ друзей,
Но вся великая природа
Вашъ торжествуетъ юбилей.

Смотрите, на какомъ просторѣ
Она устроила свой пиръ, —
Весь этотъ берегъ, это море,
Весь этотъ чудный лѣтній міръ.

Смотрите, какъ облитый свътомъ, Ступивъ на крайнюю ступень, Съ своимъ прощается поэтомъ Великолъпный этотъ день... Хотя враждебною судьбиной И были мы разлучены, Но все же мы — народъ единый, Единой матери сыны! Но все же, братья, мы родные... Вотъ, вотъ что ненавидять въ насъ: Вамъ — не прощается Россія, Россіи — не прощають васъ!

Смущаеть ихъ, и до испугу,
Что вся славянская семья
Въ лицо и недругу и другу
Впервые скажетъ — это я!
При неотступномъ вспоминанъъ
О длинной цъпи влыхъ обидъ,
Славянское самосознанье,
Какъ Божья кара, ихъ стращитъ!

Давно на почвѣ европейской,
Гдѣ ложь такъ пышно разрослась,
Давно наукей фарисейской
Двойная правда создалась:
Для нихъ — законъ и равноправность,
Для насъ — насилье и обманъ...
И закрѣпила стародавность
Ихъ, какъ наслѣдіе Славянъ.

И то, что дёлалось вёками,
Не оскудёло и по-днесь,
И тяготёеть и надъ нами —
Надъ нами, собранными здёсь...
Еще болить отъ старыхъ болей
Вся современная пора:
Не тронуто Коссово поле,
Не срыта Бёлая гора!

А между тёмъ позоръ не малый
Въ славянской, всёмъ родиой средв, —
Лишь тотъ ушелъ отъ ихъ опалы
И не подвергся ихъ враждѣ
Кто для своихъ всегда и всюду
Злодёемъ былъ передовымъ:
Они лишь нашего Гуду
Честятъ лобзаніемъ своимъ.

Опально-міровое племя!
Когда же будешь ты народъ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгодъ,
И грянеть кликъ къ объединенью,
И рухнеть то, что дълить насъ?...
Мы ждемъ и въримъ Провидънью:
Ему извъстны день и часъ...

И зта въра въ правду Бога
Ужь въ нашей не умретъ груди,
Хоть много жертвъ и горя много
Еще мы видимъ впереди...
Онъ живъ — Верховный Промыслитель,
И судъ Его не оскудълъ...
И слово — Царь Освободитель —
За русскій выступитъ предълъ!

CXXXIX.

Овершается заслуженная кара
За тяжкій грёхъ, тысячелётній грёхъ...
Не отвратить, не избёжать удара,
И правда Божья видима для всёхъ.

То Божьей правды праведная кара, И ей въ отпоръ чью помощь ни зови, — Свершится судъ... и панская тіара Въ послёдній разъ купается въ крови!

А ты, — ея носитель неповинный, Спаси тебя Господь и отрезви — Молись Ему, чтобы твои съдины Не осивернились въ пролитой крови.

29 OKT. 1867.

CXL.

По прочтени депешь Императорского Кабинета, напечатанных в «Journal de St-Pétersbourg».

Позарится вновь Востокъ, — О, какъ поймутъ тогда значенье Великолъпныхъ этихъ строкъ!

Какъ первый яркій лучъ денницы, Коснувшись, ихъ воспламенить, И эти въщія страницы Озолотить и освятить!

И въ изліяньи чувствъ народныхъ, Какъ Вожья чистая роса, Племенъ признательно свободныхъ. На нихъ затеплится слеза! На нихъ записана вся повъсть
О томъ, что было и что есть, —
Изобличивъ Европы совъсть,
Онъ спасли Россіи честь.

Дек. 1867.

CXLI.

"Man muss die Slaven an die Wand drücken!"

(Слова Австрійскаго Министра фонъ Бейста.)

Они кричать, они грозятся:
«Воть къ стѣнкѣ мы Славянъ прижмемъ!»
Ну, какъ бы имъ не оборваться
Въ задорномъ натискѣ своемъ!

Да, ствика есть — ствиа большая, И васъ не трудно къ ней прижать, — Да польза-то для нихъ какая? Воть, воть что трудно угадать.

Ужасно та стѣна упруга,

Хоть и гранитная скала,

Шестую часть земнаго круга
Она давно ужь обошла...

Ее не разъ и штурмовали — Кой-гдъ срывали камня три, Но напослъдокъ отступали, Съ разбитымъ лбомъ, богатыри...

Стоить она какъ и стояла,
Твердыней смотрить боевой;
Она не то, чтобъ угрожала,
Но... каждый камень въ ней живой.

Такъ пусть же бѣшенымъ напоромъ Тѣснятъ насъ Нѣмцы и прижмутъ Къ ея бойницамъ и затворамъ, — Посмотримъ, что они возьмутъ?

Какъ ни бъсись, вражда слъпая, Какъ ни грози вамъ буйство ихъ, — Не выдастъ васъ стъна родная Не оттолкнетъ она своихъ.

Она разступится предъ вами И, какъ живой для васъ оплотъ. Межъ вами станетъ и врагами И къ нимъ по ближе подойдетъ.

CXLII.

Въ небъ таютъ облака
И, лучистая, на знов
Въ некрахъ катится ръка,
Словно зеркало стальное.

Часъ отъ часу жаръ сильнъй,
Тънь ушла къ нъмымъ дубровамъ
И съ бълъющихъ полей
Въетъ запахомъ медовымъ.

Чудный день! — пройдуть въка,
Также будуть въ въчномъ строъ
Течь и искриться ръка,
И поля дышать на зноъ.

2 ABr. 1868.

CXLIII.

Памяти Егора Петровича Ковалевскаго.

воть въ рядахъ отечественной рати Опять не стало смълаго бойца, — Опять вздохнуть о горестной утратъ Всъ честныя, всъ русскія сердца.

Душа живая, онъ необоримо
Всегда себъ былъ въренъ и вездъ, —
Живое пламя, часто не безъ дыма
Горъвшее въ удушливой средъ.

Но въ правду вёрилъ онъ — и не смущался, И съ пошлостью боролся весь свой вёкъ, Боролся — и ни разу не поддался, — Онъ на Руси былъ рёдкій человёкъ!

И не Руси одной по немъ сгрустнется:
Онъ дорогъ былъ и тамъ, въ землѣ чужой,
И тамъ, гдѣ кровь такъ безотрадно льется,
Почтутъ его признательной слезой.

CXLIV.

М. П. Погодину.

При посылкъ ему экземпляра Стихотвореній.

Отиховъ моихъ вотъ списокъ безобразный,
Но все равно, дарю теперь имъ васъ.
Не могъ склонить своей я лёни праздной,
Чтобъ хоть на мигъ она имъ занялась.
Въ нашъ вёкъ стихи живутъ два-три мгновенья.
Родятся утромъ — къ вечеру умрутъ:
Чего-жь тутъ толковать? Рука забвенья
Исправитъ ихъ чрезъ нёсколько минутъ.

CXLV.

Тасъ всёхъ, собравшихся на общій праздникъ снова, Учило нынче насъ Евангельское Слово Въ своей священной простотё — Не утаится Градъ отъ зрёнія людскова «Стоя на горной высотё»...

Будь это и для насъ возвѣщено не всуе — Завѣтомъ будь оно и Намъ — И мы, великій день здѣсь братски торжествуя, Поставимъ нашъ союзъ на высоту такую, Чтобъ всѣмъ онъ видѣнъ былъ, — всѣмъ братскимъ племенамъ.

11 Мая 1869.

CXLVI.

Ю. Ф. Абазъ.

Такъ — гармоническихъ орудій Власть бепредёльна надъ душой, И любять всё живые люди Языкъ ихъ темный, но родной.

Въ нихъ что-то стонетъ, что-то бъется Какъ въ узахъ заключенный духъ, На волю просится и рвётся И хочетъ высказаться вслухъ...

Не то совсёмъ при вашемъ пёньё, Не то мы чувствуемъ въ себё: Тутъ полнота освобожденья, Конецъ и плёну и борьбё...



Изъ тяжкой вырвавшись юдоли И всё оковы разрёша, На всей своей ликуетъ волё Освобожденная душа...

По всемогущему призыву
Свёть отдёляется отъ тьмы,
И мы на звуки душу живу
Въ нихъ вашу душу слышемъ мы.

CXLVII.

въ силы есть, — двъ роковыя силы, Всю жизнь свою у нихъ мы подъ рукой, Отъ колыбельныхъ дней — и до могилы, — Одна есть смерть, — другая судъ людской.

И та и тотъ равно неотразимы
И безотвътственны и тотъ и та, —
Пощады нътъ — протесты нетерпимы,
Ихъ приговоръ смыкаетъ всъмъ уста...

Но смерть честивй — чужда лицепріятья — Не тронута ничвить, не смущена, Смиренную иль ропчущую братью Своей косой равняеть всёхъ она.

Свъть не таковъ — борьбы, разноголосья Ревнивый властелинъ — не терпить онъ — Не косить сплошь, — но лучшіе колосья Не ръдко съ корнемъ вырываетъ вонъ.



И горе ей — увы, двойное горе
Той гордой силь — гордо молодой
Вступающей съ ръшимостью во взоръ,
Съ улыбкой на устахъ — въ неровный бой! —

Когда она при роковомъ сознаньи
Всѣхъ правъ своихъ — съ отвагой красоты
Везтрепетно, въ какомъ то обаяньи
Идетъ сама на встрѣчу клеветы,

Личиною чела не прикрываеть, И не даеть принизиться челу, И съ кудрей молодыхъ — какъ пыль свѣваетъ Угрозы, брань и страшную хулу, —

Да, горе ей! — и чёмъ простосердечнёй,
Тёмъ кажется виновнёе она —
Таковъ ужъ свётъ, онъ тамъ безчеловёчнёй
Гдё человёчно-искреннёй вина.

CXLVIII.

А. Н. Муравьеву.

Тамъ, гдѣ на высотѣ обрыва
Воздушный, свѣтозарный храмъ
Уходитъ выспрь — очамъ на диво —
Какъ бы парящій къ небесамъ;
Гдѣ Первозваннаго Андрея
Еще поднесь сіяетъ крестъ,
На небѣ Кіевскомъ бѣлѣя,
Святый блюститель здѣшнихъ мѣстъ:

У ногъ его, свою обитель
Его покровомъ осёня,
Живешь ты въ ней — не праздный житель,
На склонт трудоваго дня.
И кто бы могъ, безъ умиленья,
И нынт не почтить въ тебт
Единство жизни и стремленья
И твердость стойкую въ борьбъ?

Да, много, много испытаній
Ты перенесь и одольль!
Живи-жь, не въ суетномъ сознаньи
Тобой свершенныхъ добрыхъ дълъ;
Живи и бодрствуй — для примъра,
Намъ заявляющаго вновь,
Что могутъ дъйственная въра
И непреклонная любовь.

CXLIX.

Чехамъ, въ годовщину Гуса, при посылкъ Чаши въ Прагу.

а ваши, братья, празднества, На встръчу вашимъ ликованьямъ, На встръчу вамъ идетъ Москва Съ благоговъйнымъ упованьемъ...

Въ среду восторженныхъ тревогъ — Въ разгаръ великаго волненья — Она приноситъ вамъ залогъ, Залогъ любви и единенья.

Примите же изъ рукъ ея
То, что и вашимъ прежде было,
Что старочешская семья
Такой цъной себъ купила.

Такою страшною цёной — Что память эта и по нынё И вашей лучшею святыней — И вашей жизненной струей.

Примите Чашу — вамъ звѣздой Въ ночи судебъ она свѣтила И вашу немощь возносила Надъ человѣческой средой.

О, вспомните какимъ Она
Была вамъ знаменьемъ любимымъ —
И что въ костръ неугасимомъ
Она для васъ обрътена.

И этой-то великой мзды,
Отцевъ великихъ достоянье,
За всъ ихъ тяжкіе труды
За всъ ихъ жертвы и страданья

Себя лишать даете вы,
Иноплеменной дерзкой ложью —
Даете ей срамить, увы —
И честь отцевъ, и Правду Божью.

И долго-ль, долго-ль этотъ плѣнъ, Изъ всѣхъ тягчайшій плѣнъ, духовный - Еще сносить ты осужденъ, О чешскій людъ единокровный?

Нътъ, нътъ, не даромъ благодать

На васъ сзывали предки ваши —

И будетъ вамъ дано понять,

Что нътъ спасенья вамъ безъ Чаши.

Она лишь разрѣшить въ конецъ Призваніе вашего народа, Въ ней и духовная свобода И единенія вѣнецъ.

Придите-жь къ дивной Чашѣ сей — Добытой лучшей вашей кровью, — Придите, приступите къ Ней Съ Надеждой, Вѣрой и Любовью!... Москва, 1869.

CL.

Въ деревнъ.

Нападеніе собаки — друга дома, на стаю гусей.

То за отчаянные крики,
И гамъ и трепетанье крылъ;
Кто этотъ гвалтъ безумно-дикій
Такъ неумъстно возбудилъ?!
Ручныхъ гусей и утокъ стая
Вдругъ одичала и летитъ,
Летитъ куда? Сама не зная,
И какъ шальная голоситъ.

Какой внезапною тревогой Звучать всѣ эти голоса! Не песъ, а бѣсъ четвероногой, Бѣсъ обернувшійся во пса,

Въ порывъ буйства, для забавы, Самоувъренный нахалъ, Смутилъ покой ихъ величавый И ихъ размыкалъ, разогналъ!

И словно самъ онъ, вслёдъ за ними,
Для довершенія обидъ,
Съ своими нервами стальными,
На воздухъ взвившись, полетить!
Какой же смыслъ въ движеньи этомъ?
Зачёмъ вся эта трата силъ?
Зачёмъ испугъ такимъ полетомъ
Гусей и утокъ окрылилъ?

Да туть есть цёль! въ лёнивомъ стадё Замёченъ страшный быль застой, И нуженъ сталъ, прогресса ради, Внезапный натискъ роковой, — И вотъ, благое Провидёнье Съ цёпи спустило сорванца, Чтобъ крылъ своихъ предназначенье Не позабыть имъ до конца.

Такъ, современныхъ проявленій Смыслъ иногда и безтолковъ, — Но тотъ-же современный геній Всегда ихъ выяснить готовъ! Иной, ты скажешь, просто ластъ, А онъ свершаетъ высшій долгъ, Онъ, осмысляя, развиваетъ Утиный и гусиный толкъ!

19 ABr. 1869.

CLI.

Императрица Евгенія на торжествъ открытія Суэц- каго канала.

лаги въютъ на Босфоръ, Пушки празднично гремятъ; Небо ясно, блещетъ море, И ликуетъ Цареградъ.

И не даромъ онъ ликуетъ:
На волшебныхъ берегахъ
Нынъ весело пируетъ
Благодушный падишахъ.

Угощаеть онь на славу
Милыхъ западныхъ друзей:
И свою бы всю державу
Заложилъ для нихъ, ей, ей...

Изъ премудраго далёка Франкистанской ихъ земли Погулять на счетъ Пророка Всъ они сюда пришли.

Пушекъ громъ и мусикія!
Здъсь Европы всей приваль,
Здъсь всъ силы міровыя
Свой справляютъ карнавалъ.

И при крикахъ изступленныхъ, Бойкій западный разгулъ
И въ гаремахъ потаенныхъ
Двери настежъ распахнулъ.

Какъ въ роскошной этой рамъ Дивныхъ горъ и двухъ морей Веселится объ Исламъ Христіанскій съъздъ князей!

И конца нътъ ихъ привътамъ
Обничаетъ брата братъ...
О, какимъ отраднымъ свътомъ
Звъзды Запада горятъ!

И всѣхъ ярче и милѣе
Свѣтитъ тутъ звѣзда одна,
Коронованная фея,
Рима дочь — его жена.

Съ пресловутаго театра
Всѣхъ изяществъ и затѣй,
Какъ вторая Клеопатра,
Въ сонмѣ царственныхъ гостей.

На Востокъ она явилась, Всѣмъ на радость, не на зло, И предъ нею все склонилось: Солнце съ Запада взошло!

Только тамъ, гдѣ тѣни бродятъ
По долинамъ и горамъ —
И куда ужь не доходятъ
Эти клики, этотъ гамъ. —

Только тамъ, гдѣ тѣни бродятъ,
Тамъ въ ночи, изъ свѣжихъ ранъ
Кровью медленно исходятъ
Милліоны христіанъ...

Октябрь 1869.

CLII.

А. Ө. Гильфердину.

(По случаю забалотировки его въ И. Академіи Наукъ.)

Опѣшу поздравить съ неудачей!
Она — блистательный успѣхъ,
Для васъ почетна наипаче
И назидательна для всѣхъ.

Что русскимъ словомъ, столько лѣтъ, Вы славно служите Россіи — Про это знаетъ цѣлый свѣтъ: Не знаютъ Нѣмцы лишь родные...

Ахъ нътъ, то знаютъ и они;
И что въ Славянскомъ вражьемъ міръ
Вы совершили, — вы одни —
Все въдаютъ — et inde irae.

Во всемъ обширномъ этомъ краѣ Они встрѣчали васъ не разъ — Въ Балканахъ, Чехахъ, на Дунаѣ, Вездѣ, вездѣ встрѣчали васъ.

И какъ же могъ бы безъ измѣны, Высокодоблестный досѣль, Въ Академическія стѣны, Въ завѣтную ихъ цитадель,

Казною русской содержимый Для этихъ славныхъ оборонъ — Васъ, васъ впустить — непобъдимый Нъмецкій храбрый гарнизонъ?

17 Дек. 1869.

CLIII.

Гусъ на костръ.

(По поводу живой картины.)

Готово вспыхнуть пламя — все молчить.

Лишь слышенъ легкій трескъ — и въ нижнемъ слоъ

Костра, огонь предательски сквозить.

Дымъ побѣжалъ — народъ столпился гуще. Вотъ всѣ они — весь этотъ темный міръ — Тутъ и гнетомый людъ — и людъ гнетущій, Ложь и насилье — рыцарство и клиръ.

Тутъ въродомный Кесарь — и Князей Имперскихъ и державныхъ сонмъ верховный; И самъ Онъ — Римскій Іерархъ, въ своей Непогръшимости гръховной.

Туть и она — та старица простая, Не позабытая съ тъхъ поръ, Что принесла, крестясь и воздыхая, Вязанку дровъ, какъ лепту на костеръ.

И на костръ, какъ жертва предъ закланьемъ — Вотъ Праведникъ великій предстоитъ — Уже обвъянъ огненнымъ сіяньемъ Онъ молится — и голосъ не дрожитъ.

Народа Чешскаго Святой учитель, Безтрепетный Свидътель о Христъ И Римской лжи суровый обличитель Въ своей высокой простотъ,

Не измѣнивъ ни богу ни народу,
Боролся онъ и былъ необоримъ —
За правду Божью, за ея свободу,
За все, за все, что бредомъ назвалъ Римъ.

Онъ духомъ въ небѣ — братскою-жь любовью Еще онъ здѣсь — еще въ средѣ своихъ — И свѣтелъ онъ, что собственною кровью Христову кровь онъ отстоялъ для нихъ. О Чешскій край — о родъ единокровный! Не отвергай наслёдья своего — О доверши же подвигъ свой духовный И братскаго единства торжество.

И цёпь порвавь съ юродствующимъ Римомъ, Гнетущую тебя ужь такъ давно — На Гусовомъ костре неугасимомъ Расплавь ея последнее звено.

17 Марта 1870.

CLIV.

Экспромпть.

Въ альбомъ г. Ваккара, служившаго членомъ Комитета Иност. Цензуры въ то время какъ Ө. И. былъ председатель онаго.

Релвнью высшему покорны,
У мысли стоя на часахъ,
Не очень были мы задорны,
Хоть и со штуцеромъ въ рукахъ.

Мы имъ владѣли не охотно, Грозили рѣдко — и скорѣй Не арестантскій, а почетный Держали караулъ при ней.

ORT. 1870.

CLV.

Природа сфинксъ. И тъмъ она върнъй Своимъ искусомъ губитъ человъка, Что, можетъ статься, никакой отъ въка Загадки нътъ и не было у ней.

CLVI.

Родные теплются кресты,
И звономъ мъди православной
Всъ огласились вышины.

Минули въки искушенья,
Забыты страшныя дъла,
И даже мерзость запустънья
Здъсь райскимъ криномъ разцвъла.

Преданье ожило святое
Первоначальныхъ лучшихъ дней,
И только позднее былое
Здёсь въ царство отошло тёней.

Оттуда смутнымъ сновидѣньемъ Еще дано ему порой Передъ всеобщимъ пробужденьемъ Живыхъ тревожить здѣсь покой. Природа сфинксъ. И тёмъ она вёрнёй Своимъ искусомъ губитъ человёка, Что, можетъ статься, никакой отъ вёка Загадки нётъ и не было у ней.

1870.

lance let a

MARI

las,

ME

Posti besti

pe 3

PIES S

CLVI.

Родные теплются кресты,
И звономъ мъди православной
Всъ огласились вышины.

Минули въки искушенья,
Забыты страшныя дъла,
И даже мерзость запустънья
Здъсь райскимъ криномъ разцвъла.

Преданье ожило святое
Первоначальныхъ лучшихъ дней,
И только позднее былое
Здъсь въ царство отошло тъней.

Оттуда смутнымъ сновидѣньемъ Еще дано ему порой Передъ всеобщимъ пробужденьемъ Живыхъ тревожить здѣсь покой. Въ тотъ часъ, какъ съ неба мёсяцъ сходитъ Въ холодной зимней полумглѣ, Еще какой-то призракъ бродитъ По оживающей землѣ.

1870.

CLVII.

На кончину Брата.

(Н. И. Тютчева.)

рать, столько лёть сопутствовавшій мнѣ, И ты ушель, куда мы всѣ уйдемъ, И я теперь на голой вышинѣ Стою одинъ — и пусто все кругомъ.

И долго-ль мнѣ стоять здѣсь одному? День, годъ, другой — и пусто будетъ тамъ, Гдѣ я теперь смотрю въ ночную тьму, — Но что со мной — не сознавая самъ...

Безслёдно все, и такъ легко не быть!
При мнё иль безъ меня — что нужды въ томъ?
Все будетъ тожь — и вьюга также выть,
И тотъ же мракъ, и та же степь кругомъ.

Преда чествостан ег. держава è — Все рушилось само собой.

И вота: «Свободная стихія.
— Сказаль бы нашь поэть родной —
Иуминь ты кана в дне былые
«И Катинь вілны голубыя
«И блещень годож красой!»....

Пятнаднать льть тебя держало
Населье вь западномъ пльну —
Ты не сдавалась и роптала —
Но часъ пробиль — насиліе пало —
Оно пошло какъ ключь ко дну.

Опять зоветь и къ дѣлу нудить
Родную Русь, твоя волна —
И къ распръ той, что Богь разсудить.
Великій Севастополь будить
Отъ заколдованнаго сна.

И то, что ты во время оно Отъ бранныхъ скрыла непогодъ, Въ свое сочувственное лоно — Отдашь ты намъ и безъ урона — Безсмертный черноморскій флотъ.

Да, — въ сердцѣ русскаго народа Святиться будетъ этотъ день — Онъ наша внѣшняя свобода — Онъ Петропавловскаго свода Освѣтитъ гробовую сѣнь.

2 Марта 1871.

CLIX.

Князю Горчакову.

а, вы сдержали ваше слово: Не двинувъ пушки, ни рубля, Въ свои права вступить готова Родная русская земля.

И намъ завъщанное море
Опять свободною волной,
О краткомъ позабывъ позоръ,
Лобзаетъ берегъ свой родной.

Счастливъ, въ нашъ вѣкъ, кому побѣда Далась не кровью, а умомъ, Счастливъ, кто точку Архимеда Умѣлъ найти въ себѣ самомъ.

Но кончено-ль противоборство?
И какъ могучій нашъ рычагъ
Ослабить въ умникахъ упорство
И сдвинетъ глупость въ дуракахъ?

CLX.

Въ Альбомъ А. В. Плетневой.

шему бы жизнь насъ ни учила, Но сердце въритъ въ чудеса: Есть нескудъющая сила, Есть и нетлънная краса.

Нѣтъ — то не призрачныя тѣни, Не міръ лишь видимый во снѣ, — Онѣ — превыше всѣхъ сомнѣній — Ужь потому, что то — онѣ...

Нъть! увядание земное,
Цвътовъ не тронетъ не земныхъ,
И отъ полуденнаго зноя
Роса не высохнетъ на нихъ —

И эта въра не обманеть
Того, кто ею лишь живеть:
Не все, что здъсь цвъло, увянеть...
Не все, что было здъсь, пройдеть!...

Но этой вёры для немногихь, Лишь тёмъ доступна благодать, Кто въ искушеньяхъ жизни строгихъ, Какъ вы, умёлъ, любя, страдать.

Чужіе врачевать недуги
Своимъ страданіемъ умѣлъ,
Кто душу положилъ за други
И до конца все претерпѣлъ.

1871.

CLXI.

По дорогъ во Вчижъ.

Оть жизни той, что бушевала здёсь — Оть крови той, что здёсь рёкой лилась Что уцёлёло, что дошло до насъ? Два, три кургана видимъ мы поднесь...

Да два, три дуба выросли на нихъ — Раскинувшись и широко и смѣло — Красуются, щумятъ и нѣтъ имъ дѣла, Чей прахъ, чью память кроютъ корни ихъ.

Природа знать не знаеть о быломъ, Ей чужды наши призрачные годы, И передъ ней мы смутно сознаёмъ Себя самихъ — лишь грёзою природы. Поочередно всёхъ своихъ дётей,
Свершающихъ свой подвигъ безполезный,
Она равно привётствуетъ — своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.
17 Авг. 1871.

CLXII.

Дочери М. Ө. Б-ой.

(На праздникъ Паски.)

ень православнаго Востока, Святой, святой, великій день, Разлей свой благовъстъ широко И всю Россію имъ одънь.

Но и святой Руси предъломъ

Его призыва не стъсняй:

Пусть слышенъ будеть въ міръ цъломъ,

Пускай онъ льется черезъ край,

Своею крайнею волною И ту долину захватя, Гдѣ бьется съ немощію злою Мое родимое дитя. Тоть свётлый край, куда въ изгнанье Она судьбой увлечена, Гдё неба южнаго дыханье Какъ врачевство лишь пьеть она.

О, дай болящей исцёленье,
Оградой въ душу ей полей,
Чтобы въ Христово Воскресенье
Всецёло жизнь воскресла въ ней...

1872.

CLXIII.

Памяти А. Ө. Гильфердингу.

Онъ родомъ былъ не Славянинъ,
Но былъ Славянствомъ всёмъ усвоенъ:
Онъ дёломъ доказалъ, что въ полё и одинъ
Быть можетъ доблестный и храбрый воинъ!
1873.

ПЕРЕВОДЫ.



I.

Къ Нисъ.

ты презрѣла дружній гласъ,
Ты поклонниковъ толпою
Оградилася отъ насъ.

Равнодушно и безпечно,
Легковърное дитя,
Нашу дань любви сердечной
Ты отвергнула шутя.

Нашу върность промъняла

На невърный блескъ, пустой, —

Нашихъ чувствъ тебъ, знать, мало:

Ниса, Ниса, Богъ съ тобой!

1824.

II.

О Наполеонъ.

(Изъ Манцони.)

Бысокаго предчувствія
Порывы и томленье;
Души, господства жаждущей,
Кипящее стремленье,
И замысловь событіе
Несбыточныхь какъ сонъ:

Все испыталь онъ. Счастіе.

Поб'єду, заточенье,

И все судьбы пристрастіе,

И все ожесточенье.

Два раза брошенъ быль во прахъ

И два раза на тронъ!...

Явился: два стольтія Въ бореніи жестокомъ, Его уврѣвъ, смирились вдругъ, Какъ предъ всесильнымъ рокомъ:

Онъ повелълъ умолкнуть имъ И сълъ межъ нихъ судьей!

Исчезь, и въ ссылкѣ довершилъ Свой вѣкъ неимовѣрный — Предметъ безмѣрной зависти И жалости безмѣрной,

Предметь вражды неистовой, Преданности слъпой!...

.

Какъ часто предъ кончиной дня — Дня безотрадной муки — Потупивъ молніи очей, Крестомъ сложивши руки, Стоялъ онъ, и минувшее Овладъвало имъ.

Онъ зрълъ въ умъ: подвижные Шатры, равнины боевъ, Рядовъ пъхоты длинный блескъ, Потоки конныхъ строевъ — Желъзный міръ и дышущій Вельніемъ однимъ!...

О, подъ толикимъ бременемъ
Въ немъ сердпе истомилось
И духъ упалъ... Но сильная
Къ нему рука спустилась
И къ небу, милосердая,
Его приподняла!...

1824.

III.

Пъснь скандинавскихъ воиновъ.

День проснулся — Ранній петель
Встрепенулся — Дружина, воспрянь! Вставайте, о други! Бодръй, бодръй На пиръ мечей. На брань!...

Предъ нами нашъ вождь!
Мужайтесь, о други, —
И вслъдъ за могучимъ
Ударимъ грозой!...

Вихремъ помчимся, Сквовь тучи и громъ, Къ солнцу побъды Вслъдъ за орломъ!

Гдѣ битва мрачнѣе, воители чаще,
Гдѣ срослися щиты, гдѣ сплелися мечи,
Туда онъ ударитъ — перунъ вседробящій,
И слѣдъ огнезвѣздный и кровью горящій —
Пророетъ дружинѣ въ желѣзной ночи.

За нимъ, за нимъ въ ряды враговъ, Смълъй, друзья — за нимъ!... Какъ груды скалъ, какъ море льдовъ — Прорвемъ ихъ и стъснимъ!

> Хладенъ, свътелъ, День проснулся — Ранній петелъ Встрепенулся Дружина, воспрянь!

Не кубокъ кипящій душистаго меда Румяное утро героямъ вручитъ; Не сладостныхъ женъ любовь и бесёда Вамъ душу согрёсть и жизнь оживитъ; Но васъ обновленныхъ прохладою сна, Кровавая битвы подыметъ волна!...

Дружина, воспрянь! Смерть иль побъда! На брань!...

1826.

IV.

Подражаніе Арабскому.

По полосъ Бога справедливой Надъ міромъ скоро прогремить!...

Клянусь вечернею зарею И блескомъ утра золотымъ: Онъ семь небесъ своей рукою Одно воздвигнулъ надъ другимъ.

Не Онъ ли яркими огнями
Зажегъ сей безпредъльный сводъ
И онъ же, легкими крылами
Парящихъ птицъ хранитъ полётъ?

Когда же пламенной струею Сверкають гордо небеса Надь озаренною землею — Не Бога ли блестить краса?...

Безъ вѣры въ Бога — мимо, мимо Промчится радость Бытія!... Пошлетъ ли онъ огонь безъ дыма? И дымъ пошлетъ ли безъ огня?... 1827.

V.

Пъснь Радости.

(Шиллера.)

Дадость, первенецъ творенья,
Дщерь великаго Отца,
Мы, какъ жертву прославленья
Предаемъ тебъ сердца!
Все что дълить прихоть свъта
Твой Алтарь сближаеть вновь —
И душа тобой согръта
Пьеть въ лучахъ твоихъ любовь!

Хоръ.

Въ кругъ единый Божьи чада!
Вашъ отецъ глядитъ на васъ!
Святъ Его призывный гласъ,
И върна Его награда!

Кто небесь провидёль сладость,

Кто любиль на сей земли,

Въ миломъ взорё черпаль радость, —

Радость нашу раздёли:

Всё чье сердце сердцу друга

Въ братской вторило груди;

Кто жь не могь любить, — изъ круга

Прочь, съ слезами отойди!...

Хоръ.

Душъ родство! о лучъ небесный Вседержащее звено!
Къ небесамъ ведетъ оно,
Гдъ витаетъ Неизвъстный!

У груди благой природы
Все что дышеть, Радость пьеть!
Всё созданья, всё народы,
За собой она ведеть:
Намъ друзей дала въ несчастьё —
Гроздій сокъ, вёнки Харить, —
Насёкомымъ — сладострастье —
Ангелъ — Богу предстоить.

Хоръ.

Что, сердца, благовъстите?

Иль Творецъ сказался вамъ?

Здъсь, лишь тъни — Солнце тамъ. –

Выше звъздъ Его ищите!...

Душу Божьяго творенья
Радость вѣчная поитъ,
Тайной силою броженья
Кубокъ жизни пламенитъ;
Травку выманила къ свѣту
Въ солнцы — хаосъ развила
И въ пространствахъ, — звѣздочету
Неподвластныхъ — разлила.

Хоръ.

Какъ міры катятся слёдомъ
За вседвижущимъ перстомъ,
Къ нашей цёди потечёмъ
Бодро, какъ герой къ побёдамъ.

Въ яркомъ истины верцалѣ Обравъ твой очамъ блестить

Въ горькомъ опыта фіалѣ
Твой алмазъ на днѣ горитъ.
Ты какъ облакъ прохлажденья,
Намъ предходишь средь трудовъ —
Свѣтишь утромъ возрожденья
Сквозь разсѣлины гробовъ.

Хоръ.

Върьте правящей Десницъ! — Наши скорби, слезы, вздохъ, Въ ней хранятся какъ залогъ И искупятся сторицей!

Кто постигнеть Провидёнье?
Кто явить стези Его?
Въ сердцё сыщемь откровенье,
Сердце скажеть Божество!
Прочь вражда съ земнаго круга!
Породнись душа съ душой!
Жертвой мести — купимъ друга
Пурпуръ — вретища цёной.

Хоръ.

Мы врагамъ своимъ простили Въ книгъ жизни нътъ долговъ — Тамъ, въ святилищъ міровъ Судитъ Богъ какъ мы судили.

Радость грозды наливаеть — Радость кубки пламенить, Сердце дикаго смягчаеть, Грудь отчаянья живить. — Въ искрахъ къ небу брызжеть пѣна, Сердце чувствуеть полнѣй; — Други, братья, — на колѣна! Всеблагому кубокъ сей!...

Хоръ.

Ты, чья мысль духовъ родила, Ты, чей взоръ міры зажегъ! Пьемъ Тебѣ, Великій Богъ! Жизнь міровъ и душъ свѣтило.

Слабымъ — братскую услугу — Добрымъ — братскую любовь, Върность клятвъ — врагу и другу — Долгу въ дань — всю сердца кровь! Гражданина голосъ смълой На совъть къ земнымъ богамъ;

Торжествуй святое Дѣло — Вѣчный стыдъ его врагамъ!

Хоръ.

Нашу длань къ Твоей, Отецъ,
Простираемъ въ безконечность!
Нашимъ клятвамъ даруй въчность
Наши клятвы — гимнъ сердецъ!
Мюнхенъ, 1823.

VI.

Поминки.

(Изъ Шиллера.)

Пала царственная Троя,
Сокрушенъ Пріамовъ градъ,
И Ахеяне, устроя
Свой на родину возвратъ,
На судахъ своихъ сидъли,
Вдоль Эгейскихъ береговъ,
И пэанъ хвалебный пъли,
Громко славя всъхъ боговъ...

Раздавайся, гласъ побъдный!
Вы, къ брегамъ родной земли
Окрыляйтесь, корабли,
Въ путь возвратный, въ путь безбъдный!

И сидъла въ длинномъ строъ Грустно, блъдная семья: Жены, дёвы падшей Трои,
Голося и слёвы лья, —
Въ горъ общемъ и великомъ
Плача о себъ самихъ...
И съ побъднымъ, буйнымъ кликомъ
Дико вопль сливался ихъ:

«Ждеть насъ горькая неволя
Тамъ, вдали, въ странъ чужой!
Ты, прости, нашъ край родной!
Какъ завидна мертвыхъ доля!»

И предсталь передь святыней Приноситель жертвь, Калхась, Градовиждущей Авинь, Градорушащей — молясь — Посейдона силь грозной Опоясавшаго мірь, И тебь, эгидоносный Зевсь, сгущающій эфирь!...

Опрокинуть, уничтожень,
Градь великій, Иліонь!
Долгій, долгій спорь рѣшень—
Судь безсмертныхь непреложень!

Грозныхъ полчищъ воевода Царь царей, Атреевъ сынъ, Обозрѣлъ толпы народа
Уцѣлѣвшій строй дружинъ.
И поникъ онъ головою,
Грустной думой одержимъ:
Много ихъ пришло подъ Трою;
Мало ихъ вернется съ нимъ...

Такъ возвысьтежь гласъ хвалебный!
Пой и радуйся стократъ,
У кого златой возвратъ
Не похитилъ рокъ враждебный!

Но не всёмъ сужденъ отъ Бога
Мирно-радостный возвратъ:
У домашняго порога
Многихъ Керы сторожатъ...
Живъ и цёлъ вернулся съ бою —
Гибнетъ въ храминъ своей!...
Рекъ, Аеиной всеблагою
Вдохновенный Одисей...

Тоть лишь домъ и твердъ и проченъ, Гдъ семейный твердъ уставъ! Легковъренъ женской нравъ, И измънчивъ, и пороченъ!...

И супругой возвращенной — Снова счастливый Атридъ: Красотой ея священной Страстный взоръ свой веселить!... Злое — злой конецъ пріемлетъ! За нечестьемъ казнь слёдить! Въ небё судъ боговъ не дремлетъ! Право царствуетъ Кронидъ...

Злой конецъ — началу злому!
Правоправящій Кронидъ
Въроломцу страшно мститъ
И семьъ его и дому!

Хорошо, любимцамъ счастья,

— Рекъ Аякса братъ меньшой —
Олимпійцевъ самовластье
Величать своей хвалой!...
Неподвластно Вышней силъ
Счастье въ прихотяхъ своихъ:
Другъ Патроклъ давно въ могилъ,
И Терситъ еще въ живыхъ!...
Счастье жеребіи съетъ
Своевольною рукой
Веселись и пъсни пой
Тотъ, кого свътило гръетъ!

Будь утёшень, брать любимый! Память вёчная тебё! Ты, оплоть несокрушимый Чадь Ахейскихь вь ихь борьбё! Вь день ужасный, вь день кровавый Ты одинь за всёхь стояль! Но, не сильный, а лукавый Мзду великую стяжаль?...

Не врага рукой побъдной — Отъ руки ты палъ своей... Ахъ! и лучшихъ изъ людей Часто губитъ гнъвъ зловредный!

И твоей теперь, державной Тёни, доблестный Пелидъ, Сынъ твой, Пирръ, воитель славный, Возліяніе творитъ:
«Какъ тебя, о, мой родитель!
Никого — онъ возгласилъ —

На землъ, гдъ все измънно,
Выше славы блага нътъ!
Наша персть — земля возметъ

Зевсъ, великій промыслитель,

На землъ не возносилъ!

Хоть о падшихъ, побъжденныхъ И молчитъ побъдный кликъ;

Имя славное нетлънно!...

Но, и въ родахъ отдаленныхъ,
Гекторъ, будешь ты великъ!...
Въчной памяти достоинъ,
— Сынъ Тизеевъ провъщалъ —
Кто, какъ честный, храбрый воинъ,
Край отцовъ спасая, палъ!...

Честь тому, кто не робъя, Жизнь за братій положиль! Побъдитель... побъдиль; — Слава падшаго святье!...

Старецъ Несторъ, днесь — маститый Братникъ, кубокъ взявъ, встаетъ — И сосудъ, плющомъ обвитый, Онъ Гекубъ подаетъ:
Мать! вкуси струи цълебной И забудь весь свой уронъ!
Силенъ Вакха сокъ волшебный!
Дивно насъ врачуетъ онъ!

Мать! вкуси струи цълебной И вабудь судебъ законъ — Дивно насъ врачуетъ онъ, Бога Вакха даръ волшебный!

И Ніобы древней сила, Горемъ злымъ удручена, Соку дивнаго вкусила — И утѣшилась она! Лишь сверкнеть въ застольной чашѣ Благодатное вино — Въ Лету рухнетъ горе наше И пойдетъ, какъ ключь, на дно... Да, пока играетъ въ чашѣ Всемогущее вино, Горе въ Лету снесено, Въ Летъ тонетъ горе наше!

И воздвиглась на прощань ВПровозв В СТНИЦа — жена, И исполнилась в В Щанья В Дохновеннаго она — И пожарище родное Обозр В В в посл В Дымъ и паръ зд В се земное! В В чность, боги, лишь у васъ! Какъ уходятъ клубы дыма — Такъ уходятъ клубы дыма — Такъ уходятъ наши дни! Воги, в В чны вы одни!... Все земное идетъ мимо! >

VII.

(Изъ Шиллера.)

«Es lächelt der See.»

Съ озера въстъ прохлада и нъта — Отрокъ заснулъ, убаюканъ у брега.

Блаженные звуки
Онъ слышить во снъ:
То ангеловъ лики
Поютъ въ вышинъ.

И вотъ онъ очнулся отъ райскаго сня, — Его обнимая, ласкаетъ волна,

И слышить онъ голосъ, Какъ ропоть струи: «Приди, мой красавецъ, Въ объятья мои!»

VIII.

Wilhelm Meister.

(Изъ Гёте.)

«Wer nie sein Brod mit Thränen ass.»

Тоть не знакомъ съ небесными властями!

Нъть на землъ проступка безъ отмщенья!

IX

Wilhelm Meister.

(Изъ Гёте.)

«Wer sich der Einsamkeit ergibt.»

Тоть скоро будеть чуждь, — Ахь, людямь есть кого любить, Что имь до нашихъ нуждъ!

Такъ! Что вамъ до меня! Что вамъ бъда моя! Она лишь про меня— Съ ней не разстанусь я!

Какъ крадется къ милой любовникъ тайкомъ:
«Откликнись, другъ милый, одна-ль?»
Такъ бродитъ и ночью и днемъ,
Кругомъ меня тоска,
Кругомъ меня печаль!...

Ахъ, развё лишь въ гробу
Отъ нихъ укрытся мнё —
Въ гробу, въ землё сырой —
Тамъ бросятъ и онё!...

X.

Wilhelm Meister.

(Изъ Гёте.)

«Kennst du das Land?»

Ты знаешь край, гдё мирть и лаврь растеть, Глубокъ и чисть лазурный неба сводь, Цвётеть лимонъ и апельсинъ златой Какъ жаръ горить подъ зеленью густой?...

Ты знаешь край?... Туда, туда съ тобой Хотъла-бъ я укрыться, милый мой!...

Ты знаешь высь съ стезей по крутизнамъ, Лошакъ бредеть въ туманъ, по скаламъ, Въ ущельяхъ горъ отродье змъй живетъ, Гремитъ обвалъ и водопадъ реветъ?...

Ты знаешь путь?... Туда и намъ съ тобой Слёдъ проложенъ: уйдемъ, Властитель мой!

Ты знаешь домъ, на мраморныхъ столбахъ, Сіяетъ залъ и куполъ весь въ лучахъ; Глядятъ кумиры молча и грустя: «Что, что съ тобою, бъдное дитя?...»

Ты знаешь домъ?... Туда, туда съ тобой Уйдемъ скоръй, уйдемъ, родитель мой!

XI.

Саконтала.

(Изъ Гёте.)

Ихъ дъвственный румянецъ,

Что зрълый годъ даетъ плодамъ —

Ихъ царственный багрянецъ,

Что нъжитъ взоръ и веселитъ

Какъ перлъ, въ моряхъ цвътущій,

Что гръетъ душу и живитъ

Какъ нектаръ всемогущій,

Весь цвътъ сокровищчицъ мечты,

Весь полный цвътъ творенья,

И, словомъ, небо красоты

Въ лучахъ воображенья, —

Все, все поэзія слила

Въ тебъ одной, Саконтала.

XII.

Привътствіе духа.

(Изъ Гёте.)

Та старой башнѣ, у рѣки, Духъ рыцаря стоитъ И лишь завидить челноки, Привѣтомъ ихъ дарить:

- «Кипъла кровь и въ сей груди,
- «Кулакъ былъ изъ свинца,
- «И богатырскій мозгъ въ кости,
- «И кубокъ до конца!
- «Пробушевалъ полжизни я
- «Другую проволокъ;
- «А ты плыви, плыви, ладья,
- «Куда несеть потокъ.

XIII.

Изъ Фауста.

(Изъ Гёте.)

......Фаустъ.....

Сего часа благое достоянье?...
Смотри, какъ хижины кругомъ
Осыпало вечернее сіянье...
День пережить, и къ небесамъ инымъ
Свётило дня несетъ животворенье...
О, гдё крыло, чтобъ взвиться вслёдъ за нимъ,
Прильнуть къ его лучамъ, слёдить его теченье!
У ногъ моихъ лежитъ прекрасный міръ
И, вёчно-вечерёющій, смёется...
Всё выси въ заревё, во всёхъ долинахъ миръ,
Сребристый ключъ въ златыя рёки льется.
Надъ цёпью дикихъ горъ, лёсистыхъ странъ
Полеть богоподобный вёетъ,
И ужъ вдали открылся и свётлёетъ

Съ заливами своими океанъ... Но свътлый богъ главу въ пучины клонитъ И вдругъ крыла таинственная мочь Вновь ожила и вследъ за уходящимъ гонить, И вновь душа въ потокахъ свъта тонетъ. Передо мною день, за мною ночь, У ногъ равнина водъ и небо надъ главою! Прекрасный сонъ!... и суетный!... прости!... Къ крыламъ души, парящимъ надъ землею, Не скоро намъ тълесныя найдти!... Но сей порывъ, сіе и вверхъ и вдаль стремленье, Оно природное внушенье, У всъхъ людей оно въ груди И оживаетъ въ нихъ порою, Когда весной, надъ нашей головою, Изъ облаковъ пъснь жавронка звенить, Когда надъ крутизной лъсистой Орелъ, ширяяся, паритъ, Поверхъ озеръ изъ степи чистой Журавль на родину спъшитъ...

XIV.

Egmont.

(Изъ Гёте.)

<Freudvoll
Und leidvoll.>

Радость и горе въ живомъ упоеньи,
Думы и сердце въ вёчномъ волненьи
Въ небё ликуя, томясь на вемли,
Страстно ликующей
Страстно тоскующей
Жизни блаженство въ одной лишь любви... —
1870.

XV.

Завътный кубокъ.

(Изъ Гёте.)

Быль Царь, какъ мало ихъ нынѣ, — По смерть онъ вѣренъ былъ:
Отъ милой, при кончинѣ,
Онъ кубокъ получилъ.

Цѣнилъ его высоко,И часто осушалъ;Въ немъ сердце сильно билось,Лишь кубокъ въ руки бралъ.

Когда-жь сей міръ покинуть Пришелъ его чередъ: Онъ дѣлитъ все наслѣдство, — Но кубокъ не даетъ.

И въ замокъ что надъ моремъ Друзей своихъ созвалъ — И съ ними на прощанье, Тамъ сидя, пировалъ.

Въ послъдній разь упился Онъ влагой огневой — Надъ бездной наклонился И, въ море кубокъ свой.

На дно паль кубокъ морское —
Онъ паль — пропаль изъ глазъ, —
Забилось ретивое —
Царь пиль въ послъдній разъ!

XVI.

Пъвецъ.

(Изъ Гёте.)

- с то тамъ за звуки предъ крыльцомъ?
- «За гласы предъ вратами?...
- «Въ высокомъ теремъ моемъ
- «Раздайся пъснь предъ нами!...»

Король сказаль и Пажь бъжить,

Вернулся Пажъ, Король гласить:

- «Скоръй впустите старца!...»
 - «Хвала Вамъ, Витязи, и честь
 - «Вамъ, дамы, обожанья!...
 - «Какъ звъзды въ небъ перечесть!
 - «Кто знаетъ ихъ названья!...
 - «Хоть взоръ манить сей рай чудесъ,
 - «Закройся взоръ, не время здёсь,
 - «Васъ праздно тёшить, очи!» —

Строй птвець глаза смежиль, И въ струны грянуль живо. У смелыхъ взоръ смелей горитъ У женъ поникъ — стыдливо... Пленился Царь его игрой, И шлетъ за ценью золотой Почтить птвиа стядаго!...

- «Златой мнъ цъпи не давай, —
- «Награды сей не стою;
- «Ее ты Рыцарямъ отдай
- «Безстрашнымъ среди бою;
- «Отдай ее своимъ Дьякамъ
- «Прибавь къ ихъ прочимъ тяготамъ
- «Сіе влатое бремя!...
- «По Вожьей воль я пою
- «Какъ птичка въ поднебесьъ,
- «Не чая мады за пъснь свою —
- «Мнъ пъснь сама возмездье!...
- «Просиль бы милости одной: —
- «Вели мнъ кубокъ золотой,
- «Виномъ наполнить свътлымъ!» Онъ кубокъ взялъ и осушилъ,

И слово молвилъ съ жаромъ:

- «Тотъ домъ самъ Богъ благословилъ
- «Гдв это скуднымъ даромъ!...

- «Свою вамъ милость Онъ пошли,
- «И васъ утъшь на сей земли,
- «Какъ я утъшенъ Вами!...»

XVII.

(Изъ Гётева Западо-Восточнаго Дивана.)

Троны, Царства въ разрушеньи — На Востокъ укройся дальной Воздухъ пить патріархальной! Въ пъсняхъ, играхъ, пированьъ, Обнови существованье.

Тамъ проникну, въ сокровенныхъ
До истоковъ потаенныхъ
Первородныхъ поклоненій —
Гласу Божіихъ вельній
Непосредственно внимавшихъ
И ума не подрывавшихъ!...

Память праотцевъ святившихъ
Иноземію претившихъ
Гдѣ во всемъ хранилась мѣра
Мысль тѣсна, просторна вѣра,
Слово, — въ силѣ и почтеньѣ
Какъ живое откровенье!...

То у Пастырей подъ кущей То въ оазисъ цвътущей, Съ караваномъ отдохну я, Ароматами торгуя: Изъ пустыни въ поселенья Изслъжу всъ направленья.

Пъсни Гафиза святыя
Усладятъ стези крутыя
Ихъ, вожатый голосистой
Распъвая въ тверди чистой
Въ позднемъ небъ звъзды будитъ
И шаги верблюдовъ нудитъ.

То упьюся въ баняхъ лѣнью — Вѣрный Гафиза ученью: — Дѣва-другъ фату бросаетъ Амвру съ кудрей отрясаетъ

И поэта сладкопъвность Въ дъвахъ Райскихъ будитъ ревность!

И сіе высокомърье

Не вмъняйте въ суевърье —

Знайте: всъ слова поэта

Легкимъ сонмомъ жаднымъ свъта,

У дверей стучатся Рая

Даръ безсмертья вымоляя!

XVIII.

Съ чужой стороны.

(Изъ Гейне.)

Та сѣверѣ мрачномъ, на дикой скалѣ

Кедръ одинокій подъ снѣгомъ бѣлѣетъ,

И сладко заснулъ онъ въ инистой мглѣ,

И сонъ его вьюга лелѣетъ.

Про юную пальму все снится ему,
Что въ дальнихъ предълахъ Востока,
Подъ пламеннымъ небомъ, на знойномъ холму,
Стоитъ и цвътетъ одинока...

XIX.

(Изъ Гейне.)

жакъ порою свътлый мъсяцъ Выплываетъ изъ-за тучъ, — Такъ, одинъ, въ ночи былаго, Свътить мнъ отрадный лучъ.

Всѣ на палубѣ сидѣли,
Вдоль по Реину неслись, —
Зеленѣющіе бреги
Передъ нами раздались.

И у ногъ прелестной дамы
Я въ раздуміи сидёль, —
И на миломъ, блёдномъ ликъ
Тихій вечеръ пламенёлъ.

Дѣти пѣли, въ бубны били, Шуму не было конца, И лазурнъй стало небо, И просторнъе сердца.

Сновидъньемъ пролетъли
Горы, замки на горахъ —
И свътились, отражаясь,
Въ милыхъ спутницы очахъ.

XX. ·

(Нзъ Гейне.)

Ты не призракъ ли какой,
Какъ выводитъ ихъ порою
Мозгъ поэта огневой!...

Нъть, не върю: этихъ щочекъ, Этихъ глазокъ милый свътъ, Этотъ ангельскій роточекъ Не создастъ никакъ поэтъ,

Василиски и вампиры,
Конь крылать и змъй зубасть —
Воть мечты его кумиры,
Ихъ творить поэтъ гораздъ.

Но тебя, твой станъ эфирный, Сихъ данитъ волшебный цвѣтъ, Этотъ взоръ лукаво-смирный — Не создастъ никакъ поэтъ.

XXI.

Вопросы.

(Изъ Гейне, Nordsee.)

1.

Мужъ, юноша стоитъ.

Въ груди тоска, въ душъ сомнънье, —
И сумрачный — онъ вопрошаетъ волны:
О, разръшите мнъ загадку жизни,
Мучительно — старинную загадку —
Надъ коей, сотенъ тысячи головъ
Въ Египетскихъ, Халдейскихъ шапкахъ —
Гіероглифами ушитыхъ,
Въ чалмахъ, и митрахъ, и скуфьяхъ,
И съ париками, и обритыхъ —
Тъмы бъдныхъ человъческихъ головъ
Кружилися, и сохли, и потъли —
Скажите мнъ что значитъ человъкъ?
Откуда онъ, куда идетъ,

И кто живеть надъ звёзднымъ сводомъ? Попрежнему шумять и ропшуть волны, И дуеть вётеръ, и гонить тучи, И звёзды свётять хладно-ясно; — Глупецъ стоить и ждеть отвёта! За нашимъ вёкомъ мы идемъ, Какъ шла Креуза за Энеемъ, Пройдемъ немного — ослабёемъ, Убавимъ шагу — отстаемъ!

XXII.

Кораблекрушеніе.

(Изъ Гейне, Nordsee.)

2.

Шадежда и любовь, все, все погибло!...
И самъ я блёдный, обнаженный трупъ,
Изверженный сердитымъ моремъ,

Лежу на берегу.

На дикомъ голомъ берегу!...
Передо мной пустыня водяная,
За мной лежитъ и горе и бёда —
А надо мной бредутъ лёниво тучи,
Уродливыя дщери неба!
Онё, въ туманные сосуды,
Морскую черпаютъ волну,
И съ ношей вдаль, усталыя, влекутся
И снова выливаютъ въ море!...
Нерадостный и безконечный трудъ!
И суетный, какъ жизнь моя!...

Волна шумить, морская птица стонеть, Минувшее повъяло мнъ въ душу — Былые сны, потухшія видънья, Мучительно-отрадные встають! —

— Живетъ на Севъръ жена!
Прелестный образъ, царственно-прекрасный,
Ея какъ пальма, стройной станъ,
Обхваченъ бълой сладострастной тканью —
Кудрей роскошныхъ тёмная волна
Какъ ночь боговъ блаженныхъ, льется
Съ увънчанной косами головы; —
И въ легкихъ кольцахъ тихо въетъ
Вкругъ блъднаго умильнаго лица,
И изъ умильно-блъднаго лица,
Отверсто-пламенное око,
Какъ чорное сіяетъ солнце!...

О чорно-пламенное солнце,
О, сколько, сколько разъ въ лучахъ твоихъ
Я пилъ восторга дикій пламень,
И пилъ, и млѣлъ, и трепеталъ, —
И съ кротостью невинно-голубиной
Твои уста улыбка освѣтила,
И гордо-милыя уста
Дышали тихими какъ лунной свѣтъ рѣчами
И сладкими, какъ запахъ розъ...

И духъ, во мнѣ, оживши воскрылялся, И къ солнцу, какъ орелъ, парилъ!...

Молчите птицы, не шумите волны, Все, все погибло, счастье и надежда, Надежда и любовь!... Я здёсь одинъ — На дикій брегъ заброшенный грозою, Лежу, простертъ — и рдёющимъ лицомъ, Сырой песокъ морской пучины рою!...

XXIII.

(Изъ Шекспира.)

Изъ одного воображенья слиты...

Тотъ зритъ бъсовъ, какихъ и въ адъ нътъ (Безумецъ то есть); сей, равно безумный, Любовникъ страстный, видитъ, очарованъ, Елены красоту, въ цыганкъ смуглой.

Поэта око, въ свътломъ изступленьи, Круговращаясь, блещетъ и скользитъ На землю съ неба, на небо съ земли, И лишь создастъ воображенье виды Существъ невъдомыхъ, поэта жезлъ Ихъ претворяетъ въ лица и даетъ Тънямъ воздушнымъ мъстность и названье!

XXIV.

Пъсня.

(Изъ Шекспира.)

Фаревёль голодный левь,
И на мёсяць волкь завыль;
День съ трудомъ преодолёвь,
Бёдный пахарь опочиль.

Угли гаснуть на кострѣ, Дико филинъ прокричалъ И больному на одрѣ Скорый саванъ провѣщалъ.

Всв кладбища, сей порой,
Изъ зіяющихъ гробовъ,
Въ сумракъ мѣсяца сырой
Высылаютъ мертвецовъ!...

XXV.

Въ Альбомъ друзьямъ.

(Изъ Байрона.)

На хладныхъ камняхъ гробовыхъ,
Такъ привлечетъ друзей моихъ
Руки знакомой начертанье!...

Чрезъ много, много лѣтъ оно
Напомнитъ имъ о прежнемъ другѣ:
«Его ужъ нѣту въ нашемъ кругѣ,
Но сердце здѣсь погребено!»...

XXVI.

Микель-Анджело.

(Четырестишіе.)

олчи, прошу, не смёй меня будить!
О, въ этотъ вёкъ преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать, удёлъ завидный, —
Отрадно спать, отраднёй камнемъ быть!
1855.

XXVII.

(Переводъ съ французскаго.)

Оредь Рима древняго сооружалось зданье —
То Неронъ воздвигалъ дворецъ свой золотой;
Подъ самою дворца гранитною пятой
Былинка съ Кесаремъ вступила въ состязанье:
«Не уступлю тебъ, знай это, Царь земной,
И ненавистное твое я сброшу — бремя.»
— Какъ, мнъ не уступить? Міръ гнется подо мной» —
«Весь міръ тебъ слугой, а мнъ слугою — время.» —

1866.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

XXV.

Въ Альбомъ друзьямъ.

(Изъ Байрона.)

На хладныхъ камняхъ гробовыхъ,
Такъ привлечетъ друзей моихъ
Руки знакомой начертанье!...

Чрезъ много, много лѣтъ оно

Напомнитъ имъ о прежнемъ другѣ:
«Его ужъ нѣту въ нашемъ кругѣ,

Но сердце здѣсь погребено!»...

XXVI.

Микель-Анджело.

(Четырестишіе.)

Молчи, прошу, не смёй меня будить!
О, въ этотъ вёкъ преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать, удёлъ завидный, —
Отрадно спать, отраднёй камнемъ быть!
1855.

-

Россія и Германія 1).

М. Г. Пріемъ оказанный вами нёсколькимъ зам'єткамъ, которыя я им'єть см'єтость адресовать къ вамъ, а равно и очень разумный и ум'єренный комментарій, которымъ вы ихъ снабдили, возбудилъ во мн'є странную мысль. Что бы вышло, если бы вы и я, мы попробовали бы достигнуть соглашенія на счетъ самой сущности вопроса? Я не им'єю чести знать васъ лично, и если пишу къ вамъ, то обращаюсь прямо къ Всеобщей Газетъ (Allgemeine Zeitung). При нын'єшнемъ положеніи Германіи Аугсбургская Всеобщая Газета въ моихъ глазахъ н'єчто бол'єе обыкновенной газеты: это первая германская политическая трибуна...

27

¹) Въ подлинникъ, написаномъ по французски въ Мюнхенъ въ 1844 году, статья эта озаглавлена «Lettre à M. le D' Gustave Kolb, rédacteur de la Gazette Universelle.» Поводомъ въ этой статьъ Ө. И. Тютчева послужили бъщеные нападки на Россію публицистовъ самой Германіи. Въ то время политика Петербургскаго Кабинета управляла политикою всъхънъмецкихъправительствъ, сдерживала Statu quo, созданное Священнымъ Союзомъ, и Государь Николай Павловичъ, когда посъщаль Германію, и появлялся въ сонмъ нъмецкихъ властителей, казался вер-

Если бы Германія им'тла счастье быть единою, ея правительство могло бы во многихъ отношеніяхъ признать это изданіе какъ законный органъ своей мысли. Воть почему я обращаюсь къ вамъ. Я Русскій, м. г., какъ я уже имъть честь вамь объяснить, Русскій сердцемь и душою, глубоко преданный своей земль, въ мирь со своимъ правительствомъ и совершенно независимый по своему положенію ¹). Стало быть мнтніе, которое я попытаюсь здтсь высказать — мивніе русское, но свободное и совершенно чуждое всякихъ расчетовъ. И не опасайтесь, чтобы, въ качествъ Русскаго, я ввязался, въ свою очередь, въ жалкую полемику, вызванную недавно однимъ жалкимъ памфлетомъ. Нътъ, м. г., это дъло не на столько серьозно. Книга г. Кюстина служить новымъ доказательствомъ того умственнаго безстыдства и духовнаго растленія (отличительной черты нашего времени, особенно во Франціи) благодаря которымъ дозволяють себъ относиться къ самымъ важнымъ и возвышеннымъ вопросамъ более нервами, чвиъ разсудкомъ; дерзають судить весь міръ менве серь-

ховнымъ надъ нимъ повелителемъ, — сомше un souverain parmi ses vassaux, по выраженію Тютчева въ его устномъ разговорѣ. Тѣмъ обиднѣе и несноснѣе было такое тяготѣніе Россіи для самого Германскаго общества; оно видѣло въ Россіи помѣху какъ своимъ либеральнымъ стремленіямъ, такъ и еще болѣе стремленіямъ къ политическому единству. Тютчевъ доказываетъ въ своей статъѣ, что самая разумная политика для Германіи — это держаться Россіи, что Германія только Россіи обязана своимъ освобожденіемъ отъ Франціи, равно и самымъ своимъ тридцатилѣтнимъ мирнымъ, національнымъ развитіемъ,» и. т. д. (Аксаковъ, Ө. И. Тютчевъ, біографическій очеркъ, Москва, 1874). Статъя эта была читана и Государемъ, который, по прочтеніи ея, сказалъ, что «тутъ выражены всѣ Его мысли и полюбопытствовалъ узнать, кто ея авторъ» (Тамъ же, стр. 40.)

¹⁾ О. И. быль тогда въ отставкъ.

озно, чёмъ бывало относились къ критическому разбору водевиля. Что-же касается до противниковъ г. Кюстина, до такъ называемыхъ защитниковъ Россіи, то они конечно искреннёе его; но они уже слишкомъ просты... Они представляются мнё людьми, которые, въ избытке усердія, въ состояніи поспёшно поднять свой зонтикъ, чтобы предохранить отъ дневнаго зноя вершину Монблана!... Нётъ, милостивый государь, мое письмо не будетъ заключать въ себе апологіи Россіи. Апологія Россіи... Боже мой! Эту задачу принялъ на себя мастеръ, который выше насъ всёхъ и который, мнё кажется, выполняль ее до сихъ поръ довольно успёшно. Истинный защитникъ Россіи — это исторія; ею въ теченіи трехъ столётій неустанно разрёшаются въ пользу Россіи всё испытанія, которымъ подвергаетъ она свою таинственную судьбу...

Обращаясь къ вамъ, я намёренъ вести рёчь о васъ самихъ, милостивый государь, о вашей собственной странв, о ея существенныхъ, самыхъ очевидныхъ интересахъ и если дёло коснется до Россіи, то лишь по непосредственнымъ ея отношеніямъ къ судьбамъ Германіи.

Я знаю, что никогда еще умы въ Германіи не были озабочены въ такой мёрё какъ теперь великою задачею Германскаго единства. И такъ, милостивый государь, очень-ли поразилъ-бы я васъ (бдительнаго и передоваго стража) если-бы скавалъ вамъ, что, среди этой всеобщей озабоченности, нёколько-внимательный взоръ могъ-бы услёдить множество стремленій, которыя, въ своемъ дальнёйшемъ, развитіи, могли-бы сильно повредить дёлу этого единства, составляющему повидимому всеобщую заботу? Въ особенности одно изъ этихъ стремленій, самое гибельное изо всёхъ... Я не скажу ничего такого, чего бы не было въ

устахъ у каждаго; а въ тоже время мнѣ нельзя прибавить ни одного слова безъ того, чтобы не коснуться жгучихъ вопросовъ; но я сохраню убѣжденіе, что въ наше время, какъ и въ средніе вѣка, когда руки чисты и намѣренія правдивы, то можно безнаказанно касаться до всего...

Вамъ извъстенъ, милостивый государь, характеръ отношеній, связывающихъ великія и малыя правительства Германіи въ теченіи 30 лътъ съ Россіею. Я не считаю нужнымъ спрашивать васъ здъсь, что думають объ этихъ отношеніяхъ такая-то партія или такое-то направленіе. Тутъ дъло идетъ о фактъ, а фактъ заключается въ томъ, что никогда эти отношенія не были болье доброжелательны, болье тъсны, что никогда не существовало болье искренно-душевнаго единомыслія между этими государствами и Россіею.

Для всякаго, кто стоить на почет дъйствительности, а не витаеть въ области фразъ, очевидно, что подобная политика истинная, законная, естественная политика Германіи и что ея правители, сохраняя въ неприкосновенности это великое преданіе эпохи вашего возрожденія, слъдовали въ этомъ случат внушеніямъ самаго просвъщеннаго патріотизма; но, повторяю еще разъ, я не имтю притязаній ни на какія чудотворныя силы; я не считаю возможнымъ внушить это митніе всему міру, въ особенности тымъ, кто считаеть его для себя смертельно-враждебнымъ. Къ тому-же здысь идеть рычь въ настоящую минуту не о какомъ нибудь митніи, а о факты, и этоть факть, мить кажется, на столько очевидень и осязателень, что едва-ли можеть многими быть отрицаемъ...

Рядомъ и одновременно съ этимъ политическимъ направлениемъ вашихъ правительствъ, нужно-ли мнѣ указывать на тѣ внушения, на тѣ стремления, которыя безустанно

стараются вселить Германскому общественному мнёнію по отношенію къ Россіи? Въ настоящую минуту я также воздержусь отъ оценки по достоинству техъ жалобъ и обвиненій всякаго рода, которыя не перестають возводить на нее съ истинно-замъчательнымъ постоянствомъ. Здъсь вопросъ заключается собственно въ достигнутыхъ результатахъ. Следуетъ сознаться, что эти результаты, если и не утвшительны, за то полны, такъ что ихъ виновники могуть похвалиться своими трудами. То государство, которое великое поколеніе 1813 г. приветствовало съ благодарнымъ восторгомъ, ту державу, върный союзъ и дъятельная, безкорыстная дружба которой въ теченіи 30-ти жьть неизменно принадлежали какъ народамъ, такъ и государямъ Германіи, удалось съ помощью припъва, постоянно повторяемаго настоящему покольнію, при его нарожденіи, почти удалось, говорю я, эту-же самую державу преобразовать въ чудовище для большинства людей нашего времени, и многіе, уже возмужалые умы не усомнились вернуться къ простодушному ребячеству перваго возраста, чтобы доставить себ' наслаждение взирать на Россію, какъ на какого-то людовда 19-то ввка. Все это положительно върно. Враги Россіи, быть можеть, возликують въ виду этихъ признаній; но прошу позволенія продолжать.

И такъ, вотъ два направленія вполнѣ противоположныхъ (разъединеніе очевидно и возрастаетъ ежедневно): съ одной стороны у васъ государи, правительство Германіи, съ ихъ строгою, обдуманною политикою, съ ихъ опредѣленнымъ направленіемъ; съ другой этотъ второй владыка нашего времени — общественное мнѣніе, которое склоняется туда, куда влекутъ его вѣтры и волны. Позвольте мнѣ, милостивый государь, обратиться къ вашему

патріотизму и къ вашимъ познаніямъ и спросить васъ, что вы думаете о подобномъ порядкі вещей? Какихъ послідствій ожидаете вы отъ него для благоденствія, для будущности вашего отечества? При этомъ поймите меня, что діло идеть въ настоящую минуту объ одной лишь Германіи. Боже мой! Если-бы у васъ могли догадаться, въ какой степени всі эти нападенія мало чувствительны для Россіи: быть можеть, даже самые ярые противники ея призадумались-бы.

Очевидно, что, покуда миръ не будетъ нарушенъ, это разномысліе не можеть привести къ какому нибудь важному и явному разстройству: эло будеть разпространяться подъ землею. Ваши правительства, разумъется, не измънять своего направленія, не пожелають возмутить весь строй внушней политики Германіи, чтобы достигнуть соглащенія съ нъсколькими фанатичными, безпорядочными умами; а послъдніе, съ своей стороны, подъ вліяніемъ противортнія будуть увлекаться настроеніемъ противоположнымъ тому, которое они осуждають, и такимъ обравомъ продолжая повторять о Германскомъ единствъ, со взорами постоянно обращенными къ Германіи, они прибливятся, такъ сказать, въ обратномъ направленіи къ роковой стезъ, къ краямъ пропасти, въ которую ваше отечечество уже неоднократно низвергалось... Я знаю, что, покуда мы сохраняемъ миръ, указываемая мною опасность будеть казаться воображаемою; но если настанеть кривисъ, предчувствуемый Европою, если наступять тв бурные дни, которые создають все въ нъсколько часовъ, которые вырывають последнее слово у всехь мненій, у всехь партій-что будеть тогда, милостивый государь?... Ужели правда, что для цёлыхъ народовъ, еще болёе чёмъ для отдъльныхъ личностей, существуеть злополучная судьба, неумолимая, незагладимая? Слёдуеть ли вёрить, что она преисполнена такихъ стремленій, которыя сильне всякой воли и всякаго благоразумія, преисполнена органическихъ недуговъ, которые никакое искусство и система управленія не могуть отразить? Ужели таковь должень быть удёль этого стремленія къ разрушенію, которое, подобно роковому фениксу, постоянно возстаеть во всв великія историческія эпохи вашего благороднаго отечества? Это стремленіе, которое возникло въ средніе въка путемъ нечестивой и антихристіанской борьбы духовенства съ имперіею, которое вызвало эту смертоносную распрю между императоромъ и государями, которое, ослабъвъ на время при всеобщемъ изнуреніи Германіи, вновь окрѣпло и разцвѣло благодаря реформаціи и, воспринявъ отъ нея окончательную форму (такъ сказать, законное посвященіе) принялось за дёло съ большимъ чёмъ когда либо рвеніемъ, укрываясь подъ всякимъ знаменемъ, хватаясь за всякій предлогъ, оставаясь темъ же подъ разными названіями, до той поры, когда, по достиженіи конечнаго удара въ тридцатильтнюю войну, оно призываеть къ себъ на помощь чужеземца — Швецію, потомъ пріобщаеть къ себъ противника — Франнію и, благодаря этому сочетанію силь, довершаеть со славою менте чтмъ въ два столттія смертоносное призваніе, на него возложенное!

По истинъ роковыя воспоминанія! Какимъ образомъ не ощущаете вы, въ виду подобныхъ воспоминаній, ужаса при мальйшемъ признакъ, возвъщающемъ возрожденіе этой ненависти въ общемъ настроеніи вашей страны? Ужели не спросите вы себя со страхомъ, не пробужденіе ли это вашего прежняго, страшнаго недуга?

Истекшія нынѣ тридцать лѣть могуть по справедливости быть причтены къ лучшимъ годамъ вашей исторіи; со временъ славнаго царствованія Салическихъ императоровъ, никогда еще лучшіе дни не оваряли Германіи, никогда еще она въ такой степени не принадлежала самой себъ, не сознавала себя столь единою, столь самостоятельною; въ теченіи многихъ стольтій она не имъла столь твердаго, столь значительнаго положенія относительно своей старинной соперницы. Она всюду ее сдерживала. Взгляните даже по ту сторону Альповъ, и тамъ ваши славнъйшіе императоры никогда не проявляли болъе дъйствительной силы, чъмъ та, которою располагаеть нынъ одно изъ Германскихъ государствъ. Жители прирейнскіе вновь Германцы и сердцемъ и душею; Бельгія, которая последнимъ Европейскимъ потрясеніемъ казалась кинутою въ объятія Франціи, остановилась на пути, и теперь очевидно, что она къвамъ возвращается; Бургундскій союзь возобновляется; Голландія рано или поздно не можеть не примкнуть къ вамъ. Таковъ конечный поединка, длившагося въ великаго исходъ продолженіи двухъ въковъ между вами и Францією; вы вполнъ восторжествовали, за вами осталось последнее слово. -Но сознайтесь однако: для всякаго, кто следиль за этою борьбою съ самаго начала, кто наблюдаль за встми ея видоизмъненіями, за всъми ея превратностями до послъдняго роковаго, решительнаго дня, подобный исходъ трудно было предвидеть. Внёшнія примёты говорили не въ ващу пользу, успъхъ склонялся не въ вашу сторону; со временъ среднихъ въковъ могущество Франціи, не взирая на временный застой, не переставало рости, сосредоточиваясь и совершенствуясь, и съ той же самой поры импе-

рія, благодаря своимъ религіознымъ распрямъ, вступила въ свой последній періодъ законнаго разложенія; даже побъды, вами одерживаемыя, оставались безплодными для васъ, потому что онв не могли остановить внутренняго распаденія и часто даже способствовали къ его ускоренію. При Людвикъ XIV, несмотря на всъ неудачи великаго короля, Франція восторжествовала, ея вліяніе вполнъ поработило Германію; наконецъ настала революція, которая, истребивь во Французской національности до корня послъдніе слъды ея Германскихъ началь и сродства и возвративъ Франціи ея исключительно Романскій характеръ, начала противъ Германіи, противъ самаго принципа ея существованія последнюю борьбу, борьбу на жизнь и смерть... И именно съ той минуты, когда вънчанный воинъ этой революціи на обломкахъ имперіи, основанной Карломъ Великимъ, разыгрывалъ пародію на имперію веинкаго Карла, вынуждая для большаго униженія народы Германіи принимать участіе въ этой пародів-съ этой именно минуты переворотъ совершился, и все измънилось!

Какимъ-же образомъ совершился этотъ знаменательный переворотъ? Къмъ быль онъ подготовленъ?... Онъ былъ подготовленъ появленіемъ третьей силы на полъ битвы Европейскаго Запада; но эта третья сила была цълый особый міръ...

Здёсь, милостивый государь, для того, чтобы мы понями другь друга, вы делжны миё дозволить краткое отступленіе. О Россіи много говорять; въ наше время она служить предметомъ пламеннаго, тревожнаго любопытства; очевидно, что она сдёлалась одною изъ главивишихъ заботъ нашего вёка; но эта загадка ни въ чемъ не схожая съ остальнымъ что его волнуетъ (нельзя не сознаться)

скорве гнететь его, чвиь возбуждаеть... И оно не могло быть иначе. Современое настроеніе, дътище Запада, чувствуеть тебя въ этомъ случат передъ стихіей, если и не враждебной, то вполнъ ему чуждой, стихіей, ему неподвластной, и оно какъ будто боится измёнить самому себё, подвергнуть сомивнію свою собственную законность, если оно признаеть вполнъ справедливымъ вопросъ ему предложенный и если оно серьезно, добросовъстно пожелало-бы понять и разъяснить его... Что такое Россія? Каковъ смыслъ ея существованія, ея историческій законь? Откуда явилась она? Куда стремится? Что выражаеть собою?... Правда, что вселенная указала ей видное мъсто; но философія исторіи еще не соблаговалила признать его за нею. Нъкоторые ръдкіе умы, два или три въ Германіи, одинъ или два во Франціи, болѣе дальновидные, чѣмъ остальная масса умственныхъ силъ, провидъли разгадку задачи, приподняли было уголокъ этой завёсы; но ихъ слова до настоящей минуты мало понимались или имъ не внимали!...

Въ теченіи весьма долгаго времени понятія Запада о Россіи напоминали въ нѣкоторомъ смыслѣ отношенія современниковъ къ Колумбу. Это было тоже заблужденіе, тотъ же оптическій обманъ. Вамъ извѣстно, что очень долго люди стараго свѣта, при всемъ ихъ восхваленіи бевсмертнаго открытія, упорно отказывались вѣрить въ существованіе новаго материка; они находили болѣе естественнымъ и основательнымъ предполагать, что вновь открытыя страны составляють лишь дополненіе, продолженіе того полушарія, которое имъ уже было извѣстно. Такова-же была судьба и тѣхъ понятій, которыя составили себѣ о томъ другомъ новомъ свѣтѣ— восточной Европы, гдѣ Россія во всѣ времена служила душою и двигательною силою и была при-

ввана придать ему свое имя, въ награду историческаго бытія, этимь свётомь оть нея уже полученнаго или ожидаемаго. Въ теченіи цёлыхъ столетій Европейскій Западъ съ полнъйшимъ простодушіемъ върилъ, что не было и не могло быть другой Европы кром'в его. Правда ему было извъстно, что за его предълами существовали еще народы и государи, называвшіе себя христіанами; во времена своего могущества, онъ касался границъ этого невъдомаго міра, отторгь даже оть него нісколько клочковь и присвоиль ихъ себъ, стараясь исказить и подавить ихъ національный характерь; но чтобы вні этихь крайнихь предёловъ существовала другая Европа, восточная Европа, законная сестра христіанскаго Запада, христіанская какъ и онъ, правда не феодальная и не іерархическая, но потому самому еще болье искренно-христіанская; чтобы существоваль тамь цёлый міра, единый по своему началу, солидарный въ своихъ частяхъ, живущій своею собственною органическою, самобытною жизнью-этого допустить было невозможно, и многіе понынъ готовы въ томъ сомнъваться... Долгое время это заблужденіе было извинительно; въ продолжени цёлыхъ вёковъ созидающая сила оставалась какъ-бы схоронена среди хаоса; ея дъйствіе было медленно, почти незамътно; густая завъса скрывала тихое совиданіе этого міра... Но, наконецъ, когда судьбы свершились, рука исполина сдернула эту завъсу, и Европа Карла Великаго очутилась лицемъ къ лицу съ Европою Петра Великаго!

Тогда, какъ скоро открытіе совершилось и все сдёлалось яснымъ, понятнымъ, не могла уясниться дёйствительная причина этихъ быстрыхъ успёховъ, этого необычайнаго расширенія Россіи, поразившихъ вселенную изумленіемъ; сдёдалось очевиднымъ, что эти мнимыя завоеванія, эти мнимыя насилія были дёломъ самымъ органическимъ, самымъ законнымъ, какое когда либо совершалось въ исторіи; что состоялось просто громадное возсоедененіе (restauration). Сдёлалось равно понятнымъ, почему погибли и исчезли отъ ея руки всё встрёченныя Россіею на своемъ пути противоестественныя стремленія, правительства и утрежденія, измёнившія великому началу, котораго она была представительницею, почему Польша должна была погибнуть; не самобытность ея Польской народности, чего Боже сохрани! но ея ложное образованіе, та ложная національность, которая была ей привита.

Съ этой-же точки зрѣнія всего лучше будеть оцѣнить истинное значеніе того, что называють восточнымь вопросомъ, который желають считать неразрѣшимымъ именно потому, что всѣ уже давно провидѣли его неизбѣжное разрѣшеніе. И подлинно, остается только узнать, что восточная Европа, уже на три четверти установившаяся, эта дѣйствительная имперія Востока, для которой первая имперія Византійскихъ кесарей, древнихъ православныхъ императоровъ служила лишь слабымъ, неполнымъ начертаніемъ, что восточная Европа получитъ свое послѣднее, самое существенное дополненіе, и получитъ-ли она его путемъ естественнаго хода событій, или будетъ вынуждена достигнуть его силою оружія, подвергая міръ величайшимъ бѣдствіямъ. Но вернемся къ нашему предмету.

Воть, милостивый государь, какова была та третья сила, появленіе которой на сценѣ дѣйствія внезапно разрышило вѣковую распрю Европейскаго Запада. Одно лишь появленіе Россіи среди васъ возстановило единство, а единство доставило вамъ побѣду.

И такъ, чтобы дать себъ ясный отчеть въ современномъ ходъ вещей, нельзя достаточно проникнуться тою истиною, что со времени этого установившагося виъшательства Востока въ дъла Запада все измънилось въ Европъ; до тъхъ поръ васъ было двое, а теперь, насъ трое, и долгія борьбы сдълались невозможными.

Изъ этого порядка вещей могуть вытекать только следующие три единственно-возможные отнынъ исхода. Германія, върная союзница Россіи, сохранить свое преобладаніе въ центръ Европы, или это преобладаніе перейдеть на сторону Франціи. И знаете-ли вы, милостивый государь, чемъ-бы выразилось для вась это превосходство Франціи? То была-бы если не внезапная гибель, то положительно изнуреніе Германіи. Остается другой исходъ, быть можеть и заманчивый въ глазахъ некоторыхъ людей, --Германія въ союзв съ Францією противъ Россіи... Увы! Эта комбинація уже была испытана въ 1812-мъ году и, какъ вамъ извъстно, имъла мало успъха; притомъ не думаю, чтобы, по истеченіи нынъ пройденныхъ тридцати тъть. Германія была расположена признать возможность существованія новаго Рейнскаго союза, такъ какъ всякое тесное сближение съ Франціею не можеть выразиться чтиъ либо инымъ для Германіи. А знаете ли вы, что именно Россія им'вла въ виду, когда она вм'вшалась въ эту борьбу, предпринятую этими двумя началами, этими двумя великими народностями, оспаривающими другь у друга Европейскій Западъ, и ръшила эту распрю въ пользу Германіи н Германскаго начала? Она котъла разъ навсегда утвердить торжество права, исторической законности надъ революціоннымъ движеніемъ. И почему она этого хотела? Потому что право, историческая законность, это ея соб-



ственное призваніе, назначеніе ся будущности, это то право котораго она требуеть для себя и для своихъ. Только одно слъпое невъжество, умышленно отводящее свои взоры отъ свъта, можетъ нынъ отвергать эту великую истину; потому что не во имя-ли этого права, этой исторической законности, Россія возстановила цълую народность, цълый міръ, готовый пасть? Не она ли призвала его къ жизни самобытной, не она ли вернула ему его самостоятельность и организовала его? И во имя того-же права, она всегда сумъетъ воспрепятствовать тому, чтобы виновники политическихъ опытовъ не успъвали отторгнуть или совратить цълыя народности отъ центра ихъ установившагося единства и затымъ перекроить ихъ по волы ихъ безчисленныхъ фантазій какъ предметы неодушевленные; словомъ, чтобы они не могли отдълить живые члены отъ туловища, которому они принадлежать, подъ предлогомъ сообщить имъ болъе свободы въ движеніяхъ!...

Безсмертною заслугою Монарха, находящагося нынѣ на престолѣ Россіи, служить то, что онъ полнѣе, энергичнѣе всѣхъ свомхъ предшественниковъ, проявилъ себя просвѣщеннымъ и неумолимымъ представителемъ этого права, этой исторической законности. Разъ, что выборъ былъ имъ сдѣланъ, Европѣ извѣстно, оставалась ли Россія ему вѣрна въ теченіи тридцати лѣтъ? Повволительно утверждать съ исторіею въ рукахъ, что въ политическихъ лѣтописяхъ вселенной трудно было бы указать на другой примѣръ союза столь глубоко-нравственнаго какъ тотъ, который связуетъ въ продолженіи тридцати лѣтъ государей Германіи съ Россіею и, благодаря именно этому великому началу нравственности, онъ былъ въ силахъ продолжаться, разрѣшилъ многія затрудненія, преодолѣлъ

немало препятствій. И нынѣ, испытавъ и радостныя и горькія случайности, этотъ союзъ восторжествоваль надъ послѣднимъ, самымъ значительнымъ испытаніемъ, и призваніе, служившее ему основою, перешло всецѣло и не-измѣнно отъ первыхъ его основателей къ ихъ преемникамъ.

Прошу васъ, милостивый государь, спросите ваши правительства, ослабъвала ли на одно мгновеніе въ эти тридцать леть заботливость Россіи о великихъ политическихъ интересахъ Германіи? Спросите людей, стоявшихъ у кормила правленія, не превосходила ли эта заботливость неоднократно и по многимъ вопросамъ ваши собственныя патріотическія стремленія? Воть уже нісколько літь, что вы сильно озабочены въ Германіи великимъ вопросомъ Германскаго единства; но вы очень хорошо знаете, что это не всегда такъ было; и мнъ, давно уже проживающему среди васъ, возможно было бы въ крайнемъ случав опредълить тоть именно моменть, когда этоть вопрось началь волновать умы. Очевидно, что мало было рёчи объ этомъ единствъ, по крайней мъръ въ печати, въ ту эпоху, когда всякое либеральное изданіе считало себя по совъсти обяваннымъ пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы обратить къ Австріи и ея правительству тіже оскорбленія, которыя расточають нынъ Россіи. Это безпорно весьма похвальная и законная забота, но возникшая съ недавняго времени. Правда, что Россія никогда не пров'єдывала единства Германіи; но въ продолженіи тридцати лъть она не перествала при всякомъ случав и на всв лады внушать Германіи согласіе, единодушіе, взаимное довъріе, добровольное подчинение частныхъ интересовъ великому, вопросу всеобщаго блага, и эти совъты, эти убъжденія, она неустанно повторяла и умножала энергическою откровенностью того усердія, которое совнаеть свое полнъйшее безкорыстіе.

Книга, которая нъсколько лътъ тому назадъ пользовалась большою извъстностью въ Германіи и которой ошибочно приписывали оффиціальное происхожденіе, по виднмому утвердила между вами убъжденіе, что Россія одно время приняла за правило привлекать къ себъ исключивторостепенныя Германскія правительства ущербъ законному вліянію двухъ великихъ государствъ союза; но подобное предположение было вполнъ напрасное и даже совершенно несогласное съ дъйствительностью. Переговорите объ этомъ съ людьми сведущими, и они скажутъ вамъ, въ чемъ дъло; быть можетъ даже они сообщатъ вамъ, что Русская политика, въ ея постоянной заботливости объ упроченіи главнымъ образомъ политической самостоятельности Германіи, рисковала подчасъ раздраженіемъ нікоторой извинительной щекотливости, совітуя съ излишнею настойчивостью мелкимъ дворамъ Германіи безусловно подчиняться систем' двухъ великихъ державъ. Едва ли не будеть умъстно оцънить здъсь по достоинству другое обвиненіе, тысячу разъ возводимое на Россію и не болъе справедливое: чего не было только говорено, чтобы разпространить убъжденіе, будто ея вліяніе главнъйше воспрепятствовало развитію въ Германіи конституціоннаго начала? Въ общемъ смыслъ болъе чъмъ безрасудно стараться превращать Россію въ систематическаго противника той или другой правительственной системы. И какимъ образомъ, великій Боже, стало бы она темъ, что она есть, и могла бы проявлять то вліяніе надъ вселенной, которое ей принадлежить, при подобной узкости понятій? Наконецъ, переходя въ частности къ данному случаю, следуетъ

по справедливости заметить, что Россія постоянно энергически отстаивала искреннее сохранение существовавшихъ учрежденій, религіозное уваженіе къ принятымъ на себя обявательствамъ; затъмъ легко возможно, что, по мнънію ея, было бы неосторожно, по отношенію къ самому существенному интересу Германіи, ся единству, дозволять нарламентскимъ преимуществамъ въ конституціонныхъ государствахъ союза расширяться до той степени, какой они достигли напримъръ въ Англіи или во Франціи; что если даже и теперь не всегда оказывалось удобнымъ установить между правительствами то согласіе, то полнъйшее взаимное пониманіе, которое требуется при совм'єстной д'ятельности, то задача эта сдълалась бы вполнъ не ръшимою въ Германіи порабощенной, т. е. раздробленной полдюжиною трибунъ. Подобная господствующихъ парламентскихъ истина уже сознана нынъ всъми лучшими умами Германіи, и вина Россіи могла состоять лишь въ томъ, что она уравумъла ее десятью годами прежде.

Если мы теперь перейдемъ отъ внутреннихъ вопросовъ къ внёшнему положенію, говорить-ли мнё вамъ, милостивый государь, объ Іюльской революціи, о тёхъ возможныхъ послёдствіяхъ, которыя она могла-бы имёть, но не имёла, для вашего отечества? Слёдуеть-ли вамъ указывать, что основаніемъ къ этому взрыву, душою этого движенія служню главнымъ образомъ стремленіе овладёть снова тёмъ преобладаніемъ на Западё, которымъ такъ долго пользовалась Франція и которое она къ великой досадё сознавала перешедшимъ въ продолженіи 30-ти лётъ въ ваши руки? Конечно я отдаю полную справедливость королю Французовъ, удивляюсь его ловкости, желаю долгихъ двей и ему и его системѣ... Но что случилось-бы, если-бы всякій

разъ когда Французское правительство, начиная съ 1835 года, пыталось переносить свои взоры за предёлы Германіи, оно не встрѣчало-бы на престолѣ Россіи тотъ-же твердый и рѣшительный образъ, ту же осторожность, ту же холодность и главное тоже постоянство относительно утвердившихся союзовъ и принятыхъ на себя обязательствъ? Если-бы оно могло уловить одно мгновеніе сомнѣнія, колебанія, не думаете-ли вы, что и самъ Наполеонъ мира не могъ-бы постоянно сдерживать эту содрогавшуюся подъ его рукою Францію и что онъ не далъ-бы ей воли?... А что-бы еще было, если-бы онъ могъ разсчитывать на сочувствіе?...

Я находился въ Германіи, милостивый государь, въ ту минуту, когда г. Тьеръ, следуя, такъ сказать, инстинктивному влеченію, готовь быль совершить то, что ему казалось такъ просто и такъ естественно, а именно: возместить на Германіи свою неудачу на Востокъ. Я быль свидътелемъ этого взрыва, этого истинно-національнаго негодованія, возбужденнаго среди васъ этою наивною дерзостью, и я радуюсь, что присутствоваль при этомъ: съ тъхъ поръ я всегда съ большимъ удовольствіемъ слышалъ пъніе «Rheinslied». Но можеть-ли быть, чтобы ваша политическая журналистка, которая знаеть все, которой напримъръ, извъстно, сколько именно кулачныхъ ударовъ нанесли взаимно другъ другу на границъ Пруссіи Русская таможенная стража и Прусскіе контрабандисты; какимъ обравомъ, говорю я, она могла не знать того, что произошло въто время между Германскими правительствами и Россіею? Какъ могла она не знать или не сообщить вамъ, что при первомъ враждебномъ проявленіи со стороны Франціи, 80 т. Русскаго войска должны были выступить на помощь

вашей самостоятельности подвергавшейся опасности, и что 200 т. человъкъ должны были слъдовать за ними черезъ несть недъль? И это обстоятельство не осталось неизвъстнымъ для Парижа, милостивый государь, и быть можеть вы согласитесь со мною, какъ-бы я высоко ни цънилъ «Rheinslied», что оно немало способствовало къ тому, что-бы убъдить старинную «Мерсельезу» въ необходимости быстраго отступленія передъ своею юною соперницею.

Я коснулся вашей печати; но прошу васъ, милостивый государь, не думать, что я систематически предубъжденъ противь Немецкой печати или что я сохраняю къ ней дурное чувство за ея невыразимое нерасположение по отношенію къ намъ. Нисколько, могу васъ увърить. Я очень расположенъ воздать ей должную хвалу за ея добрыя свойства и желаль-бы приписать отчасти ея заблужденія и увлеченія той исключительной систем'в, при которой она дъйствуетъ. Конечно въ вашей періодической печати нъть недостатка ни въ талантъ, ни въ идеяхъ, ни даже въ патріотизм'в; во многихъ отношеніяхъ она -- законное дътище вашей возвышенной великой литературы, той литературы, которая возстановила среди васъ сознаніе вашего національнаго тождества. Въ чемъ ваша печать нуждается въ высшей степени — это въ политическомъ тактъ, въ живомъ и върномъ пониманіи дъйствительнаго положенія своего, въ той средь, въ которой ей приходится действовать въ данную минуту; а потому, въ ея выраженіи и въ ея направленіи, проглядываеть нъ что непрозорливое, необдуманное, однимъ словомъ, нъчто нравственно-безотвътственное, быть можеть какъ послъдствіе той опеки, которой ее подвергають.

И точно, чъмъ другимъ, если не подобнымъ сознаніемъ

своей нравственной безотвътствености, можно объяснить себъ это пламенное, слъпое, неистовое, враждебное настроеніе, которое она въ продолженіи столькихъ льть выражаеть противь Россіи? Зачівнь? Сь какою цілью, вы пользу чего? Останавливалась-ли она когда нибудь съ должнымъ вниманіемъ съ точки зрвнія политическихъ интересовъ Германіи на возможныхъ, даже въроятныхъ послъдствіяхъ того, что она дълаеть? Приходило-ли ей когда нибудь на мысль спросить себя серьозно, когда она напрягаеть всё свои силы въ теченіи многихь лёть съ такимъ нев роятнымъ упорствомъ кътому, чтобы раздражить, отравить и безвозвратно разстроить взаимныя отношенія двухъ государствъ, -- не содъйствуетъ-ли она къ разрушенію въ самомъ его основаніи того начала союза, на которомъ виждется и покоится относительное значение Германіи въ глазахъ Европы? Не стремится ли она замѣнить встми отъ нея зависящими силами счастливтищую политическую комбинацію, которую исторія когда либо могла создать для вашего отечества, наиболе пагубною для васъ системою? Эта неудержимая неосмотрительность не напоминаетъ-ли вамъ, милостивый государь (конечно въ менъе привлекательномъ видъ) одну шалость изъ дътства вашего великаго Гёте, столь мило расказанную въ его Запискахъ; вспоминаете-ли вы тотъ день, когда маленькій Вольфгангъ, оставшись одинъ въ отцовскомъ домъ, не нашель лучшаго способа воспользоваться досугомь, предоставленнымъ ему родителями, какъ бросать въ окно одну за другою всё хозяйственныя принадлежности своей матери, попадавшіяся ему подъ руку, очень забавляясь и потешаясь темъ трескомъ, который оне производили, падая и разбиваясь на мостовой? Правда, что черезъ улицу

находился въ дом' коварный состав, который ободрялъ ребенка продолжать это остроумное занятіе; но вы, мимостивый государь, не им' даже въ извиненіе ваше и подобнаго вызывающаго вліянія.

Если-бы еще можно было среди этого взрыва враждебныхъ воплей указать на какой нибудь благоразумный сознательный поводъ къ подобному разглагольствованію! Я знаю, что въ крайнемъ случат я найду безумцевъ, которые готовы мив возразить: «мы обязаны вась ненавидъть, ваше основное начало, самое начало вашей цивилизаціи внушають намъ Нѣмцамъ, западникамъ отвращеніе; у васъ не было ни феодализма, ни папской іерархіи; вы не испытывали ни борьбы религозной, ни войнъ имперіи, ни даже инквизиціи; вы не принимали участія въ крестовыхъ походахъ, вы не знавали рыцарства; вы четыре столетія тому назадъ достигли того единства, къ которому им еще теперь стремимся; ваше основное начало не удълисть достаточнаго простора личной свободъ, оно не допускаеть возможности разъединенія и раздробленія». Все это такъ, но по справедливости, воспрепятствовало-ли все это намъ искренно и мужественно пособлять вамъ при случав, когда требовалось отстоять, возстановить вашу политическую самостоятельность, вашу національность? И теперь вамъ не остается ничего другаго, какъ признать наніу собственную. Будемте говорить серьозно, потому что предметь этого заслуживаеть. Россія вполнъ готова уважать историческую законность вашихъ правъ, историческую законность народовь Запада; тридцать лёть тому назадъ, она съ вами вмъстъ заботилась о ея возстановленіи, о ея водвореніи на прежнихъ основахъ; следовательно она дъйствительно расположена уважать ее не только въ

принципъ, но даже со всъми ея крайними послъдствіами, даже съ ея увлеченіями и слабостями; но и вы съ своей стороны должны учиться уважать насъ въ нашемъ единеніи и нашей силъ!

Но мит скажуть, что несовершенства нашего общественнаго строя, недостатки нашей администраціи, положеніе низшихъ слоевъ нашей народности и пр., что все это въ совокупности раздражаеть общее мивніе противь Россіи. Неужели? Возможно-ли, чтобы мнъ, готовому жаловаться на избытокъ недоброжелательства, пришлось бы тогда протестовать противъ излишняго сочувствія? Потому что въ концъ концовъ мы не одни на бъломъ свътъ, и если уже вы обладаете такимъ чрезмърнымъ запасомъ сочувствія къ человъчеству, если вы не находите ему помъщенія у себя и въ свою пользу, то не сочли-ли бы вы болъе справедливымъ раздълить его между всвии народами земли? Всв они заслуживають сожальнія. Взгляните, напримъръ, на Англію! Что вы объ ней скажите? Взгляните на ея фабричное населеніе, на Ирландію; и если бы вамъ удалось вполнъ сознательно подвести итоги въ этихъ двухъ странахъ, если бы вы могли взвесить на правдивыхъ векахъ злополучныя последствія Русскаго варварства и Англійскаго просв'єщенія — быть можеть, вы признали бы болье своеобразности, чъмъ преувеличенія въ заявленіи того человъка, который, будучи одинаково чуждъ объимъ странамъ и равно ихъ изучившій, утверждаль съ полнъйшимъ убъжденіемъ, что въ соединенномъ королевствъ существуеть по крайней муру милліонь людей, которые много бы выиграли, если бы ихъ сослали въ Сибирь!...

Увы, милостивый государь, почему вы, Нѣмцы, которые пользуетесь во многихъ отношеніяхъ такимъ безспорнымъ

превосходствомъ надъ вашими сосъдями по ту сторону Рейна, почему не можете вы позаимствовать у нихъ нъкоторой доли практического благоразумія, того живаго, върнаго сознанія своихъ интересовъ, которое ихъ отличаеть? У нихъ также существуетъ печать, журналы, которые насъ оскорбляють, раздирають на клочки въ запуски, безъ устали, безъ мъры и стыда. Взгляните на это стоглавое чудовище Парижской прессы, извергающей пламя и вопли противъ насъ. Какое ожесточение! Какие громы! Какой трескъ!... И что же! Приди сегодня же Парижъ къ убъжденію, что столь пламенно желаемое сближеніе можеть состояться, что столь часто дёлаемыя въ этомъ смыслъ намъ предложенія приняты, и съ завтрашняго дня вы увидите, что этоть вопль ненависти умолкнеть, весь этоть блестящій фейерверкь оскорбленій угаснеть и изъ этихъ угасшихъ кратеровъ, изъ этихъ умиротворенныхъ усть, съ последнимъ клубомъ дыма начнутъ исходить звуки настроенные на разные лады, но всъ одинаково благозвучные, восхваляющіе другь передь другомъ наше счастливое примиреніе!

Но это письмо слишкомъ длинно, пора кончить. Поввольте мнѣ, милостивый государь, въ заключеніе, выразить мою мысль въ нѣсколькихъ словахъ.

Я обратился къ вамъ, не имѣя въ виду другой цѣли, кромѣ того, что внушаетъ мнѣ мое свободное и личное убѣжденіе. Я не состою ни въ чьемъ распоряженіи; я не служу ничьимъ органамъ; моя мысль зависитъ лишь отъ себя самой; но я конечно вполнѣ убѣжденъ, что общественное мнѣніе не затруднилось бы признать содержаніе этого письма, если бы оно было извѣстно въ Россіи. До сихъ поръ Русское мнѣніе слабо возмущалось этими



возгласами Германской печати, не потому чтобы оно относилось равнодушно къмненіямъ и чувствамъ Германіи, конечно нъть; но ему не хотвлось придавать серьозное вначение всему этому треску, встмъ этимъ словоизверженіямъ, всей этой пальбъ на воздухъ противъ Россіи; оно принимало все это развъ только за какую-то не вполив приличную потвху. Русское общественное мивніе положительне отказывается допустить, чтобы степенная, серьозная, честная, вполнъ правдивая нація, какою наконецъ извъстна міру Германія во всъ эпохи своей исторіи, чтобы эта нація, говорю я, могла отрешиться отъ своей природы и усвоить себъ другую, созданную по образцу несколькихъ мечтательныхъ или нестройныхъ умовъ, нъсколькихъ странныхъ или недобросовъстныхъ крикуновъ; чтобы Германія, отказываясь отъ своего прошлаго, не сознавая настоящаго и искажая будущее, согласилась признать и питать дурное чувство, недостойное ея, единственно изъ удовольствія совершить великій политическій промахъ. Нёть, это невозможно!

Я обратился къ вамъ, милостивый государь, потому что, по митнію моему, Всеобщая Газета болье, чти періодическое изданіе для Германіи; это сила и сила, которая (я весьма охотно это сознаю) соединяеть въ высокой степени національное чувство и политическое пониманіе. И потому я старался отнестись къ вамъ во имя этого двойнаго значенія.

Расположение умовъ, которое создано и которое стараются распространить въ Германіи по отношенію къ Россіи, еще не составияетъ прямой опасности, но оно весьма легко можетъ сдёлаться таковою. Это расположеніе умовъ не измёнитъ ни въ чемъ (я въ этомъ убёжденъ)

отношеній, нынъ существующихъ между Германскими государствами и Россіею; но оно ведеть къ тому, чтобы все болъе и болъе искажать политическое сознание по одному изъ важнейшихъ для каждаго народа вопросовъ, по вопросу о его союзахъ. Представляя въ самомъ лживомъ свътъ самую національную политику, которую Германія когда либо соблюдала, оно ведеть къ тому, чтобы произвести равъединение умовъ, чтобы направить всёхъ пламенныхъ и безразсудныхъ на стезю, исполненную опасностей, стезю, гдъ судьбы Германіи уже не разъ подвергались крушенію. А что если возникнеть новое потрясение въ Европъ или въковая распря, ръшенная 30 лътъ тому назадъ въ вашу пользу, вновь возгорится? Россія конечно не отступится оть вашихъ государей, точно также, какъ они не отстануть оть Россіи; но тогда-то придется віроятно пожинать плоды того, что нынъ посъяно: разъеденение умовъ принесеть плоды и они могли бы показаться весьма горькими для Германіи; наступили бы новыя отпаденія и новыя смуты. И тогда вамъ пришлось бы слишкомъ тяжелымъ путемъ искупать вашу минутную несправедливость по отношенію къ намъ.

Воть, милостивый государь, что мнё было желательно вамь высказать. Вы можете сдёлать изъ моей рёчи то употребленіе, которое сочтете наиболёе приличнымъ.

1844.



II.

Россія и революція 1).

Для того, чтобы уяснить себѣ сущность того роковаго переворота, въ который вступила нынѣ Европа, воть что слѣдовало бы сказать себѣ. Давно уже въ Европѣ существуетъ только двѣ дѣйствительныя силы — Революція и Россія. Эти двѣ силы теперь противопоставлены одна другой, и быть можетъ завтра онѣ вступятъ въ борьбу. Между ними никакіе переговоры, никакіе трактаты невозможны; существованіе одной изъ нихъ равносильно смерти другой! Отъ исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо міръ былъ свидѣтелемъ, зависитъ на многіе вѣка вся политическая и религіозная будущность человѣчества.

Фактъ этого соперничества обнаруживается нынѣ всюду и, не взирая на то, таково пониманіе нашего вѣка, притупленнаго мудрованіемъ, что настоящее поколѣніе, въ



¹) Эта статья есть записка поданная Ө. И. Тютчевымъ Императору Николаю Павловичу о положеніи Европы послі февральной революціи; она была написана тоже по французски въ Апрілі 1848 г., и напечатана въ Парижі въ 1849 году.

виду подобнаго громаднаго факта, далеко на сознало вполнъ его истиннаго значенія и не оцънило его дъйствительныхъ причинъ.

До сихъ поръ искали его разъясненія въ сферѣ чисто политической; старались истолковать его различіемъ въ понятіяхъ о порядкѣ исключительно человѣческомъ. По-истинѣ, распря, существующая между Революціею и Россіею, зависить отъ причинъ, болѣе глубокихъ. Онѣ могутъ быть опредѣлены въ двухъ словахъ.

Россія прежде всего христіанская имперія; Русскій народъ — христіанинъ не только въ силу православія своихъ убъжденій, но еще благодаря чему-то болье задушевному, чъмъ убъжденія. Онъ — христіанинъ въ силу той способности къ самоотверженію и самопожертвованію, которая составляеть какъ бы основу его нравственной природы. Революція — прежде всего врагъ христіанства! Анти-христіанское настроеніе есть душа Революціи; это ея особенный, отличительный характеръ. Тъ видоизмъненія, которымъ она последовательно подвергалась, те лозунги, которые она поперемънно усвоивала, все, даже ея насилія и преступленія, были второстепенны и случайны: но одно, что въ ней не таково, это именно анти-христіанское настроеніе, ее вдохновляющее, и оно-то (нельзя въ томъ не сознаться) доставило ей это грозное господство надъ вселенною. Тотъ, кто этого не понимаетъ, не болъе какъ слещь, присутствующій при зредище, которое мірь ему представляетъ.

Человъческое я, желая зависъть лишь отъ самого себя, не признавая и не принимая другаго закона, кромъ собственнаго изволенія, словомъ, человъческое я, замъняя собою Бога, конечно не составляеть еще чего либо новаго

среди людей; но таковымъ сдёлалось самовластіе человёческаго я, возведенное въ политическое и общественное право и стремящееся, въ силу этого права, овладёть обществомъ. Вотъ это-то новое явленіе и получило въ 1789 году названіе Французской революціи.

Съ той поры, не взирая на всъ свои превращенія, Революція осталась вірна своей природі и, быть можеть, никогда еще въ продолжении всего своего развития не сознавала она себя столь цёльною, столь искренно антихристіанскою, какъ въ настоящую минуту, когда она присвоила себъ знамя христіанства: «братство». Во имя этого можно даже предполагать, что она достигла своего апогея. И подлинно, если прислушаться къ темъ наивнобогохульнымъ разглагольствованіямъ, которыя сдёлались, такъ сказать, оффиціальнымъ языкомъ нынёшней эпохи, не подумаеть ли всякій, что новая Французская республика была пріобщена ко вселенной лишь для того, чтобы выполнить евангельскій законъ? Именно это призваніе и было приписано себъ тъми силами, которыя ею созданы, за исключениемъ впрочемъ такого измънения, какое Революція сочла нужнымъ произвести, а именно — чувство смиренія и самоотверженія, составляющее основу христіанства, она намърена замънить духомъ гордости и превозношенія; благотворительность свободную и добровольную, благотворительностью вынужденною; и взамёнь братства, проповъдуемаго и принимаемаго во имя Бога, она намърена утвердить братство, налагаемое страхомъ къ народувладыкъ. За исключеніемъ этихъ различій, ея господство дъйствительно объщаеть обратиться въ царство Христово!

И это презрительное благоволеніе, которое новыя силы оказывали до сихъ поръ католической церкви и ея слу-

жителямъ, не должно никого вводить въ заблужденіе. Оно едва ли не самый важный признакъ дъйствительнаго настроенія и самое върное доказательство того всемогущества, котораго достигла Революція. И подлинно, почему Революція явила бы себя вреждебною относительно духовенства и христіанскихъ священниковъ, которые не только покоряются ей, но принимають и признають ее, которые, чтобы ее умилостивить, прославляють вст ея ужасы и, сами того не подозртвая, приобщаются ко встыть ея неправдамъ? Если бы даже подобное поведеніе основывалось на одномъ разсчеть, то этоть расчеть быль бы отступничество; но если къ этому присоединяется убъжденіе. то туть еще болье отступничества.

Однако можно предвидёть, что не будеть недостатка и въ преслёдованіяхь. Въ тоть день, когда уступки дойдуть до крайняго предёла, когда католическая церковь сочтеть нужнымь обнаружить сопротивленіе, окажется, что она можеть явить его лишь идя назадь до мученичества. Можно вполнё положиться на Революцію: она во всемь останется вёрна себё и послёдовательна до конца!

Февральскій взрывъ тёмъ уже оказаль міру великую услугу, что онъ ниспровергъ ходульныя подмостки заблужденій, скрывавшихъ дёйствительность. Наименёе проницательные умы вёроятно поняли нынё, что исторія Европы въ теченіи послёднихъ тридцати трехъ лётъ, была не что иное, какъ продолжительная мистификація. И точно, какимъ неумолимымъ свётомъ озарилось внезапно все это прошлое, столь недавнее и уже столь отъ насъ отдаленное? Кто, напримёръ, не сознаетъ нынё, какое смёшное притязаніе выражалось въ той премудрости нашего вёка, которая наивно вообразила себё, что ей удалось подавить

Революцію констуціонными заклинаніями, обуздать ея страшную энергію посредствомъ формулы законности? Послів всего того, что произошло, кто можеть еще сомнівнаться, что съ той минуты, когда революціонное начало проникло въ общественную кровь, всё эти уступки, всё эти примиряющія формулы суть не что иное, какъ наркотическія средства, которыя могуть, пожалуй, на время усыпить больнаго, но не въ состояніи воспрепятствовать дальнівйшему развитію самой болівни.

И воть почему, поглотивь въ себъ «Реставрацію» лично ей ненавистную, какъ послъдній обломокъ законнаго правленія во Франціи, — Революція не стерпъла также и другой власти, отъ нея самой исходившей, которую она, правда, признала въ 1830 году, чтобы имъть сообщника въ борьбъ съ Европою, но которую она сокрушила въ тоть день, когда эта власть, вмъсто того чтобы служить ей, дерзнула считать себя ея владыкою.

При этомъ случав да будеть мнв позволено сдвлать замвчаніе: какимъ образомъ могло случиться, что среди всвхъ государей Европы, а равно и политическихъ двятелей, руководившихъ ею въ последнее время, оказался лишь одинъ, который съ перваго начала призналъ и провозгласилъ великое заблужденіе 1830 года, и который съ техъ поръ одинъ въ Европе, быть можеть одинъ среди всехъ его окружающихъ, постоянно отказывался ему подчиниться? На этотъ разъ, къ счастію, на Россійскомъ престоле находился Государь, въ которомъ воплотилась «Русская мысль», и въ настоящемъ положеніи вселенной «Русская мысль» одна была на столько отдалена отъ революціонной среды, что могла здраво оцёнить факты, въ ней проявляющієся.

То что Императоръ предвидълъ съ 1830 года, Революція не преминула осуществить до послъдней черты. Всъ уступки, всъ жертвы своихъ убъжденій, приносимыя монархическою Европою для упроченія Іюльскихъ событій въ видъ мнимаго status quo, Революція всъмъ этимъ завладъла въ пользу замышляемаго ею переворота и, покуда законныя правительства вступали въ болье или менье искусныя дипломатическія сношенія съ такъ называемымъ законнымъ началомъ, а государственные люди и дипломаты всей Европы присутствовали, въ видъ любопытныхъ и доброжелательныхъ любителей, при парламентскихъ ристалищахъ въ Парижъ, — революціонная партія, почти не скрывая своихъ дъйствій, изощрялась подрывать самую почву подъ ихъ ногами.

Можно сказать, что главною задачею для этой партіи, въ теченіи посл'єднихъ восемнадцати л'єть, служило полн'єйшее возмущеніе Германіи, и нын'є можно судить, хорошо ли эта задача была выполнена.

Германія безспорно та страна, на счеть которой всего болье составляли себь самыя странныя заблужденія. Ее считали страною порядка, потому что она была спокойна, и не хотьли видьть того страннаго безначалія, которое овладьло въ ней умами и господствовало надъ ними.

Шестьдесять лёть разрушительной философіи совершенно сокрушили въ ней всё христіанскія вёрованія и развили въ этомъ отрицаніи всякой вёры первёйшее революціонное чувство: «высокомёріе ума», развили его такъ успёшно, что въ настоящую минуту эта язва нашего вёка, быть можеть, нигдё такъ не глубока и не заражена ядомъ, какъ въ Германіи. Въ силу неизбёжной послёдовательности, Германія, по мёрё того, что она предавалась Революціи, чувствовала возрастаніе своей ненависти къ Россіи. И подлинно, обремененная благодъяніями ей оказанными, революціонная Германія не могла не питать къ Россіи непримиримой непріязни. Въ настоящую минуту этотъ припадокъ ненависти, повидимому, дошель до крайнихъ предъловъ; онъ взялъ верхъ, я не говорю уже надъ разсудкомъ, но даже надъ чувствомъ самосохраненія.

Если бы столь грустная ненависть могла внушить иное чувство, кром' сожальнія, то конечно Россія могла бы почитать себя достаточно отмщенною при видь того врыйща, которое явила міру Германія вслыдствіе Февральской революціи; потому что едва ли не безпримый факть вы исторіи видыть цылый народь, обратившійся вы подражателя другаго народа вы то самое время, когда сей послыдній предается самымы неистовымы крайностямы.

И въ видахъ извиненія всёхъ этихъ столь очевидно искусственныхъ волненій, которыя низвергли весь политическій строй Германіи и нарушили существованіе самаго общественнаго порядка, отнюдь нельзя признать чтобы они были внушены искреннимъ, всёми сознаннымъ чувствомъ необходимости Германскаго единенія. Положимъ, что это чувство искренно; согласенъ, что это есть желаніе положительнаго большинства; но что же это доказываеть? Къ числу самыхъ безумныхъ заблужденій нашего времени принадлежить и мечта, будто достаточно, чтобы большинство искренно и пламенно пожелало чего нибудь, чтобы это желаемое уже сдёлалось осуществимо. Притомъ слёдуеть сознаться, что въ наше время въ обществъ нёть ни одного желанія, ни одной потребности (какъ бы искренна и законна она ни была) которую Ре-

волюція, овладёвь ею, не исказила бы и не обратила въ ложь. И тоже самое именно случилось съ вопросомъ о Германскомъ единствъ — потому что для всякаго, не утратившаго способность наблюденія, отнынъ должно быть ясно, что на пути, на который ступила теперь Германія въ видахъ разръшенія этой задачи, она достигнеть не единства, а страшнъйшаго разъединенія, какой нибудь окончательной, неисправимой катастрофы.

Положительно, вскорѣ придуть къ убѣжденію, что одно только единство было возможно не для той Германіи, какою изображають ее газеты, а для истинной Германіи, какою создала исторія; что единственная возможность серіознаго и практическаго единенія для этой страны была неразрывно связана и политическою системою, нынѣ ею разрушенною.

Если въ теченіи последнихъ тридцати трехъ леть (едва-ли не счастливъйшихъ во всей ея исторіи) Германія составляла политическое цёлое, утвержденное на іерархическихъ началахъ и правильно развивающееся, то на -какихъ условіяхъ подобный результать могъ быть достигнутъ и упроченъ? Очевидно при условіи искренняго соглашенія между двумя ея великими державами, представительницами техъ двухъ принциповъ, которые въ продолженіи трехъ слишкомъ стольтій борятся между собою въ Германіи. Но самое это соглашеніе, достигнутов съ такими усиліями и съ такимъ трудомъ сохраняемое, не думають-ли, что оно могло-бы быть возможно и продолжалось-бы такъ долго, если-бы Австрія и Пруссія, по окончаніи великихъ походовъ противъ Франціи, не примкнули бы тесно къ Россіи и не опирались бы на нее?-Воть та политическая комбинація, которая, осуществляя

для Германіи единственную примѣнимую къ ней систему единства, доставила ей этотъ тридцатитрехлѣтній роздыхъ, ею нынѣ нарушенный.

Никакая ненависть или ложь не въ состояніи отстранить этотъ фактъ. Въ припадкъ безумія, Германія конечно могла разорвать союзъ, который, не налагая на нее никакихъ жертвъ, обезпечиваль и охраняль ея національную независимость; но тъмъ самымъ она лишила себя навсегда всякаго твердаго и прочнаго основанія.

Въ подтвержденіе этой истины взгляните лучше на это отраженіе событій въ ту страшную минуту, когда событія подвигаются почти съ тою же быстротою, какъ и мысль человъческая. Прошло не болье двухъ мъсяцевъ съ той поры, какъ Революція въ Германіи принялась за дъло, и уже (слъдуетъ воздать ей должную справедливость) дъло разрушенія въ этой странъ зашло гораздо далье, чъмъ подъ гнетомъ Наполеона песлъ десятильтнихъ ужасающихъ его походовъ.

Взгляните на Австрію, болье обезславленную, убитую и разгромленную чьмь въ 1809 году; взгляните на Пруссію, обреченную на самоубійство, благодаря ея роковому и вынужденному соглашенію съ Польскою партією; взгляните на берега Рейна, гдв, вопреки пъсень и фразъ, Прирейнская конфедерація усиливается возникнуть вновь! Анархія всюду, порядка нигдв, и все это подъ мечемъ Франціи, гдв кишить общественная революція, которая готова слиться съ политической революціей, обуревающею Германію.

Нынъ для каждаго здравомыслящаго человъка вопросъ о Германскомъ единствъ — вопросъ уже ръшенный. Нужно обладать тою силою нелъпости, которая свойственна Гер-

манскимъ идеологамъ, чтобы недоумъвать, имъетъ-ли это скопище журналистовъ, адвокатовъ и профессоровъ, собранное во Франкфуртъ и присвоившее себъ призваніе возобновить времена Карла Великаго, какіе-либо задатки на положительный успъхъ въ дълъ ими предпринятомъ; обладаетъ-ли оно достаточно мощною, искусною рукою, чтобы на этой колеблющейся почвъ возстановить низвергнутую пирамиду, поставивъ ее острымъ конусомъ внизъ? Вопросъ уже не въ томъ, чтобы знать, сольется-ли Германія во едино, но удастся-ли ей спасти какую нибудь частищу своего національнаго существованія, среди этихъ внутреннихъ раздоровъ, въроятно еще имъющихъ усугубиться внъщнею войною.

Партіи, готовящіяся раздирать эту страну, уже начинають выясняться. Уже во многихъ мъстахъ въ Германіи республика утвердилась, и можно разсчитывать, что она не удалится безъ боя, потому что она имветъ за себя логику, а за собою Францію. Въ глазахъ этой партіи вопросъ о національности не им'веть ни смысла, ни значенія. Въ интересахъ своей задачи, она ни на минуту не поколеблется принести въ жертву независимость своей страны, и она завербовала-бы скорбе сегодня чемъ завтра всю Германію подъ знамя Франціи, хотя-бы даже и подъ красное знамя. — Она всюду имбеть пособниковь; она находить содействіе и поддержку между людьми и всякими предметами, въ анархическихъ инстинктахъ толпы столько-же, сколько въ анархическихъ учрежденіяхъ, нынъ такъ щедро разсвянныхъ по всей Германіи. Но ея надежнъйшіе и сильнъйшіе помощники суть именно тъ люди, которые со дня на день могуть быть призваны къ ея обузданію: до того эти люди связаны съ нею солидарностью принциповъ. Теперь весь вопросъ заключается въ томъ, чтобы опредълить, возникнетъ-ли борьба прежде, чъмъ мнимые консерваторы успъютъ своими раздорами и своимъ безуміемъ уронить значеніе всёхъ элементовъ силы и противодъйствія, еще сохранившихся въ распоряженіи Германіи. Однимъ словомъ, при нападеніи на нихъ республиканской партіи, ръшатся-ли они видъть въ ней, то, что она есть въ дъйствительности, т. е. передовой отрядъ Французскаго нашествія, и сознаютъ-ли они въ себъ достаточно энергіи, чтобы, въ виду опасности, угрожающей національной независимости, вступить въ борьбу съ республикой до послъдней крайности; — или-же, во избъжаніе этой борьбы, они предпочтутъ признать какую нибудь мнимую мировую сдёлку, которая въ сущности была-бы съ ихъ стороны ни что иное, какъ скрытая капитуляція.

Въ томъ случав, если-бы осуществилось последнее предположеніе, пришлось-бы сознаться, что возможность крестоваго похода противъ Россіи, этого похода, который быль всегда завётною мечтою Революціи, а теперь обратился въ ея военный кличъ, — эта возможность превратилась-бы въ несомнённую увёренность: насталь-бы почти день рёшительной борьбы, и полемъ сраженія послужила-бы Польша. По крайней мёрё на эту именно возможность возлагають свои надежды революціонеры всёхъ странъ; но они недостаточно принимають въ расчеть одну сторону этого вопроса, и этотъ промахъ можеть, пожалуй, значительно разстроить всё ихъ соображенія.

Революціонная партія (въ Германіи въ особенности), кажется, пришла къ убъжденію, что, коль скоро она сама такъ легко относилась къ національному элементу, то и во всъхъ странахъ, подчиненныхъ ея вліянію, должно

оказаться то же самое и что всюду и всегда вопросъ о принципъ будетъ преобладать надъ вопросомъ о національности. Уже событія, совершившіяся въ Ломбардіи, должны были внушить странныя мысли Вънскимъ студентамъреформаторамъ, которые вообразили себъ, что достаточно было изгнать князя Меттерниха и провозгласить свободу печати, чтобы разръшить всъ грозныя затрудненія, тяготьющія надъ Австрійскою монархіею; Итальянцы же продолжають упорствовать въ своемъ взглядъ на нихъ, какъ на «Tedeschi» и «Barbari», какъ будто-бы они и не возрождались, пройдя черезъ очистительныя воды мятежа. Но Германія революціонная въ скоромъ времени получить въ этомъ отношении урокъ еще болъе строгій и знаменательный, потому что онъ будетъ данъ отъ близкаго сосъда. И подлинно, никто не подумалъ, что, сокрушая и ослабляя всъ прежнія правительства, потрясая въ самыхъ основаніяхъ весь политическій строй этой страны, въ то же время успъли возбудить въ ней страшнъйшее изъ всъхъ затрудненій, вопросъ жизни и смерти для ея будущностивопросъ племенной. Было всёми забыто, что въ самомъ центръ той Германіи, единство которой составляеть общую мечту, въ Богемской долинъ и въ Славянскихъ земляхъ, существують шесть или семь милліоновь людей, для кого изъ рода въ родъ, въ теченіи многихъ въковъ, Нъмецъ не переставаль ни на одно мгновеніе казаться чёмь-то несравненно худшимъ, нежели иностранецъ; для кого Германецъ всегда ни что иное, какъ «Нъмецъ»... Понятно, что здёсь идеть рёчь не о литературномъ патріотизмё нъкоторыхъ Пражскихъ ученыхъ, какъ-бы онъ почтененъ ни быль. Эти люди уже оказали и еще окажуть великія услуги своей странъ; но истинная жизненная сила Богеміи

чти справедливостью, подкладкою для Польской эмиграпіи, чтобы возстановлять противъ насъ общественное мнтніе цтлой Европы. Всякій Русскій, постившій Прагу, въ теченіи последнихъ годовъ, можеть удостовтрить, что единственный упрекъ, слышанный имъ тамъ противъ насъ, относился къ той осторожности и равнодушію, съ которыми національныя симпатіи Богеміи принимались между нами. Высокія и великодушныя соображенія внушали намъ въ то время подобный образъ дтйствій; теперь-же это было-бы положительнымъ безсмысліемъ: тт жертвы, которыя мы тогда приносили дтлу порядка, намъ пришлось-бы нынт совершать въ пользу Революціи.

Но если можно по справедливости сказать, что Россія въ настоящихъ обстоятельствахъ менте, чтмъ когда либо имъетъ право отвращать отъ себя тъ симпатіи, которыя она внушаеть, то нельзя съ другой стороны по истинъ не признать извъстнаго историческаго закона, по волъ Провидънія управляющаго понынъ ся судьбами, а именно, что ея самые заклятые враги всего болбе содбиствовали развитію ея величія. Этоть благотворный законь доставиль ей нынъ одного врага, который безъ сомнънія будеть играть важную роль въ судьбахъ ея будущности и который въ значительной долъ будеть содъйствовать къ скоръйшему ихъ осуществленію. Этоть врагъ — Венгрія (я разумью Мадъярскую Венгрію). Изо вськь враговь Россіи, она едвали не питаетъ къ ней самой озлобленной ненависти. Мадъярскій народъ, въ коемъ революціонный пыль самымь страннымь образомь сочетался съ грубостью Азіятской орды и о коемъ можно было бы сказать съ не меньшею справедливостью, какъ и о Туркахъ, что онъ находится какъ-бы на временной стоянкъ въ Европъ —

окруженъ Славянскими племенами, въ одинаковой степени ему ненавистными. Личный врагъ этой расы, судьбу которой онъ такъ долго искажалъ, онъ видитъ себя, послъ цълыхъ въковъ волненія и тревогъ, все еще въ заперти среди нея. Всъ эти окружающія его народности: Сербы, Кроаты, Словаки, Трансильванцы и даже Карпатскіе Малороссы составляють звенья цёпи, которую онъ считаль навсегда разсторгнутою. А теперь онъ чувствуетъ надъ собою руку, которая въ состояніи, когда ей только вздумается, соединить эти звенья и стянуть цёпь, сколько пожелаеть. На этомъ основана его инстинктивная ненависть къ Россіи. Съ другой стороны, нынёшніе руководители партіи въ своемъ довіріи къ журналистик серіозно убъдились, что Мадъярскому народу предстоитъ выполнить великое призваніе на православномъ Востокъ однимъ словомъ, что ему предназначено держать въ равновъсіи судьбы Россіи... До сихъ поръ умъряющее вліяніе Австріи кое-какъ сдерживало эту тревогу и это безразсудство; но теперь, эта последняя связь порвана, и старый, бъдный отець, впавшій въ дътство, взять въ опеку. Следуеть предвидеть, что мадъяризмъ, совершенно освобожденный, предоставить полную свободу встыс своимъ крайностямъ и будеть подвергать себя самымъ безумнымъ случайностямъ. Уже была ръчь объ окончательномъ пріобщеніи Трансильваніи. Толкують о томъ, чтобы возстановить старинныя права на Дунайскія княжества и Сербію. Во всёхъ этихъ странахъ начнутъ усиливать пропаганду съ цълью возстановить ихъ противъ Россіи и когда всюду распространится неурядица, то разсчитывають въ одинъ прекрасный день появиться съ вооруженною силою, чтобы, во имя нарушенныхъ правъ Запада, требовать возврата

устьевь Дуная и повелительнымъ тономъ объявить Россіи: «ты не пойдешь далье!» Воть въ чемъ заключаются безспорно некоторыя статьи программы, выработываемой нынъ въ Пресбургъ. Въ прошломъ году все это были еще только однъ газетныя фразы; теперь же со дня на день онъ могуть отразиться въ весьма серіозныхъ и опасныхъ попыткахъ. Впрочемъ всего неизбъжнъе представляется намъ теперь распря между Венгріею и двумя зависящими отъ нея Славянскими королевствами. И точно, Кроація и Славонія, предвидя, что ослабленіе законной власти въ Вънъ предастъ ихъ неизбъжно производу мадъяризма, повидимому исторгли у Австрійскаго правительства объщаніе отдёльнаго у себя управленія, съ присоединеніемъ къ нимъ Далмаціи и Военной Границы. Это положеніе, которое сгрупированныя такимъ образомъ страны стараются принять по отношенію къ Венгріи, не замедлить разжечь всъ прежнія несогласія и произвести открытое внутреннее возстаніе; а такъ какъ значеніе Австрійскаго правительства въроятно окажется слишкомъ ничтожнымъ, чтобы съ успъхомъ принять на себя посредничество между воюющими сторонами, то Венгерскіе Славяне, какъ слабъйшіе, въроятно изнемогли бы въ борьбъ, если бы не встръобстоятельство, которое рано или поздно одно ТИЛОСЬ должно придти къ нимъ на помощь, а именно, что непріятель, съ которымъ имъ суждено бороться, прежде всего врагъ Россіи и что къ тому-же на всей этой Военной Границъ, состоящей на двъ трети изъ православныхъ Сербовъ, даже по словамъ самихъ Австрійцевъ, нътъ ни одной избы крестьянской, гдв рядомъ съ портретомъ Австрійскаго Императора не было бы портрета другаго Императора, котораго эти върныя племена продолжають съ упорствомъ считать за единственнаго законнаго. При этомъ не следуетъ скрывать отъ себя, что мало вероятія, чтобы всъ эти удары землетрясенія, раздающіеся на Западъ, остановились у порога странъ восточныхъ, и какимъ образомъ могло бы случиться, что въ этой роковой войнъ, въ этомъ ополченіи безбожія, предпринимаемомъ противъ Россіи Революціею, охватившею уже три четверти Западной Европы, Востокъ Христіанскій, Востокъ Славяноправосдавный, существование котораго неразрывно связано съ нашимъ собственнымъ, не очутился бы вслъдъ за нами увлеченнымъ въ эту борьбу. И быть можетъ, съ него-то именно и начнется война, потому что можно предполагать, что всъ эти раздирающія его пропаганды (пропаганда католическая, пропаганда революціонная и пр. и пр.) другъ другу противоположныя, но вст соединенныя въ одномъ общемъ чувствъ ненависти къ Россіи, примутся за дёло съ большимъ рвеніемъ, чёмъ когда либо. Можно быть убъжденнымъ, что онъ ни отъ чего не отступять, чтобы достигнуть своей цёли.... И, Боже милостивый! какова была бы участь этихъ племенъ (христіанскихъ какъ и мы), если бы, въ борьбъ уже отнынъ со встми этими ненавистными силами, они были бы покинуты въ подобную минуту единственною властью, къ которой они взывають въ своихъ молитвахъ? Однимъ словомъ, каково было бы смятеніе, которому предались бы эти страны Востока въ борьбъ съ Революціею, если бы законный Монархъ, православный Императоръ Востока, еще надолго замедлилъ своимъ появленіемъ?

Нѣтъ — это невозможно.... Тысячелѣтнія предчувствія не могутъ обманывать. Россія, страна вѣрующая, не ощутить недостатка вѣры въ рѣшительную минуту. Она не

устрашится величія своего призванія и не отступить передъ своимъ назначеніемъ.

И когда-же это призваніе могло быть болье яснымь и очевиднымь? Можно сказать, что Господь начерталь его огненными буквами на этомъ небь, омраченномь бурями.— Западь исчезаеть, все рушится, все гибнеть въ этомъ общемъ воспламененіи. Европа Карла Великаго и Европа трактатовъ 1815 г., Римское папство и всь западныя королевства, католицизмъ и протестантизмъ, въра уже давно утраченная и разумъ доведенный до безсмыслія, порядокъ отнынь немыслимый, свобода отнынь невозможная, и надъ всьми этими развалинами ею же созданными цивилизація, убивающая себя собственными руками....

И когда, надъ этимъ громаднымъ крушеніемъ, мы видимъ всплывающею святымъ ковчегомъ эту Имперію еще болѣе громадную, то кто дерзнетъ сомнѣваться въ ея призваніи, и намъ-ли, сынамъ ея, являть себя невѣрующими и малодушными?

12 Апрыя 1848 г.

III.

Папство и Римскій вопросъ.

Съ Русской точки зрѣнія 1).

Если есть какой изъ вопросовъ дня или вёрнёе вёка, въ которомъ, словно въ фокусё сводятся, сосредоточиваются всё аномаліи, всё противорёчія, всё непреодолимыя затрудненія, съ которыми бьется Западная Европа, — то это безъ сомнёнія вопросъ Римскій. Да и не могло быть

¹) Статья эта «La papauté et la question romaine», появляющаяся здёсь въ первый разъ (цёликомъ) въ Русскомъ переводё, была напечатана въ 1850 г. въ «Revue des Deux-Mondes». Событія, послужившія къ ней поводомъ были слёдующія: Въ 1847 году, съ восществіемъ на папскій престолъ Пія ІХ, введены имъ были въ Римѣ разныя либеральныя преобразованія. Вспыхнувшая затёмъ въ Парижѣ Февральская революція, перекинула свое революціонное пламя и въ Римъ; папа бѣжалъ, но чрезъ нёсколько мёсяцевъ войска Французской республики, по повеленію президента Людовика Наполеона, осадили вёчный городъ, чуть-чуть не разрушили его бомбами, наконецъ, после долгой осады, овладёли имъ, раздавили новосозданную Римскую республику и водворили папу снова въ Ватиканъ. Часть статьи, или вёрнёе тема о соотношеніи католицизма или романтизма съ протестантизмомъ, послужила впоследствіи поводомъ и темою для извёстныхъ Французскихъ брошюръ Хомякова.

иначе: таково неизбъжное слъдствіе той неумолимой логики, которая, какъ скрытое правосудіе, вложена Богомъ въ событія міра. Глубокій и непримиримый разрывъ, въками донимающій Западъ, долженъ былъ, наконецъ, дойти до высшаго своего выраженія, долженъ былъ проникнуть до самаго корня дерева. А почетнаго права на такое значеніе никто, конечно, не станетъ оспаривать у Рима: онъ и теперь, какъ былъ имъ всегда, — корень Западнаго міра. Однакоже, какъ ни сильно озабочены умы этимъ вопросомъ, позволительно усумниться, чтобы вся полнота его содержанія была въ точности и отчетливо раскрыта сознанію.

Что въроятно болъе всего способствуеть къ нъкоторому заблужденію мысли относительно свойства и предъловъ вопроса въ той его постановкъ, въ какой онъ теперь является предъ нами, — это вопервыхъ, мнимое сходство между тъмъ, что на нашихъ глазахъ совершилось въ Римъ, и нъкоторыми изъ прежнихъ, революціонныхъ эпизодовъ его исторіи; вовторыхъ — весьма дъйствительная связь, которою современное Римское движеніе примыкаетъ къ общему движенію революціи Европейской. Всъ эти побочныя обстоятельства, на первый взглядъ повидимому объясняющія Римскій вопросъ, въ сущности только заслоняють отъ насъ его глубину. Нътъ, не таковъ этотъ вопросъ, какъ другіє: не только ко всему, что есть на Западъ, прикосновененъ онъ, но можно сказать, онъ даже переступаетъ его предълы.

Едва ли кто рѣшится обозвать клеветою или парадоксомъ такое утвержденіе, что въ настоящее время все, что еще осталось на Западѣ отъ положительнаго христіанства, связано скрытымъ или же болѣе или менѣе признаннымъ сродствомъ съ Римскимъ католицизмомъ, для котораго папство, какъ оно въками сложилось, то-же, что камень, замыкающій сводь, — необходимое условіе бытія. Протестантство съ его многочисленными развътвленіями, котораго едва хватило на три въка, умираетъ отъ истощенія во всёхъ странахъ, гдё оно до сихъ поръ господствовало, за исключеніемъ одной развів Англіи; да и тамъ, если оно и проявляеть еще нъкоторые задатки жизни. задатки эти стремятся къ возсоединенію съ Римомъ. Что касается разныхъ религіозныхъ доктринъ, возникающихъ вив всякаго общенія съ темъ или другимъ изъ этихъ двухъ исповъданій, то онъ очевидно не болье какъ личныя мнънія. Однимъ словомъ, папство — вотъ столпъ, который еще кое-какъ поддерживаетъ на Западъ весь тотъ край христіанскаго зданія, что уцъльль посль великаго погрома XVI въка и послъдовательныхъ обваловъ, совершившихся съ той поры.

И вотъ на этотъ-то столиъ и собираются теперь посягнуть, направляя удары въ самую его основу. Намъ очень хорошо извъстны всъ тъ общія мъста, которыми какъ повседневная печать, такъ и оффиціальныя завъренія нъкоторыхъ правительствъ стараются, по обыкновенію, прикрыть правду дъйствительности: до папства-де, какъ до религіознаго учрежденія, и не думають прикасаться; передъ нимъ преклоняются, благоговъють; его сохранятъ во что бы ни стало; даже свътской власти у папства не оспаривають; хотятъ только видоизмънить ея примъненіе. Отъ него потребують лишь уступокъ, признанныхъ необходимыми; его заставять принять преобразованія лишь совершенно законныя. Во всемъ этомъ порядочная доля недобросовъстности, а въ преизобиліи — самообольщеніе. Ужъ конечно недобросовъстно, даже со стороны людей самыхъ благодушныхъ, прикидываться върующими, будто реформы серьезныя и честно выполненныя въ настоящемъ образъ управленія папскою областью, могутъ не привести, въ продолженіе извъстнаго времени, къ полной ея секуляризаціи 1). Но вопросъ-то собственно и не въ этомъ: дъйствительный вопросъ заключается въ томъ, въ чью пользу совершится эта секуляризація, то есть каковы будутъ свойства, духъ и стремленія того новаго правительства, которому вы передадите свътскую власть, отнявъ ее у папства; и подъ опекою котораго, — это скрыть вы отъ себя не можете, — папство осуждено будеть впредь жить. И вотъ тутъ-то и преизобилуетъ самообольщеніе.

Намъ извъстно идолопоклонство людей Запада передъ всъмъ, что есть форма, формула и политическій механизмъ. Идолопоклонство это сдълалось какъ бы послъднею религіей Запада. Но если только не совсъмъ сомкнуть глаза предъ всякимъ опытомъ, предъ всякой очевидной истиной, то какимъ же еще образомъ, послъ всего случившагося, можно еще съумъть увърить себя, будто при современномъ положеніи Европы, Италіи, Рима, навязанные вами папъ либеральные или полулиберальные уставы такъ таки и останутся надолго въ зависимости отъ убъжденій среднихъ, умъренныхъ, мягкихъ, — такихъ, какими вамъ пріятно воображать ихъ себъ, въ интересахъ доказываемаго вами тезиса; будто не захватитъ ихъ быстро въ руки свои революція и не превратить ихъ вслъдъ за

¹⁾ Секуляризація — отнятіе у учрежденія характера церковнаго и присвоеніе ему характера и свойствъ учрежденія только мірскаго, государственнаго; на Русскомъ языкѣ нѣтъ соотвѣтствующаго термина. Примъч. переводчика.

темъ въ стенобитныя орудія, для сокрушенія не только светской власти папы, но и самаго церковнаго учрежденія? Ибо, сколько бы вы ни наказывали революціонному принципу, какъ Господь Сатант, мучить одно лишь тело втрнаго Іова, не касаясь его души, — будьте увтрены, что революція, менте совтстливая, чтмъ духъ тьмы, не обратить никакого вниманія на ваши внушенія.

Ни обманываться, ни самообольщаться въ этомъ отношеніи не можетъ уже тотъ, кто вполнѣ уразумѣлъ, что составляетъ основаніе спора на Западѣ, что, въ продолженіе вѣковъ, сдѣлалось его жизнью — жизнью не нормальной, конечно, однакожь дѣйствительной, — болѣзнью, зародившеюся не со вчерашняго дня и все еще разливающеюся. И если такъ мало встрѣчается людей чувствующихъ это положеніе Запада, то этимъ доказывается только, что болѣзнь зашла уже очень далеко.

Не подлежить и сомнѣнію, — по отношенію къ вопросу Римскому, — что большинство интересовъ, требующихъ преобразованій и уступокъ со стороны папы, интересы законные, справедливые, чуждые затаенной или такъ-называемой задней мысли; что удовлетворить ихъ слѣдуетъ и что въ удовлетвореніи этомъ даже нельзя далѣе имъ отказывать.

Но таковъ, до невъроятности, роковой удълъ настоящаго положенія, что эти интересы, сами по себъ совершенно мъстные и сравнительно незначительные, оказывають ръшающее воздъйствіе на вопросъ исполинской важности. Они подобны тъмъ скромнымъ жилищамъ частныхъ людей, расположеннымъ на такомъ мъстъ, которое господствуетъ надъ кръпостью, а на бъду врагъ у воротъ. Ибо повторяемъ: секуляризація — вотъ конечный, неиз-

бѣжный исходъ всякой реформы серьезно и добросовѣстно проведенной въ Римской области; а секуляризація, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, ничто болѣе, какъ сложеніе оружія передъ непріятелемъ, капитуляція.

Итакъ, что же изъ этого слъдуетъ? То ли, что Римскій вопрось въ этой его постановкъ, просто лабиринтъ безъ выхода; что папство, съ постепеннымъ развитіемъ скрытаго въ немъ порока, пришло, послѣ многихъ вѣковъ бытія, къ такому періоду существованія, въ которомъ жизнь, какъ было къмъ-то сказано, даеть себя чувствовать лишь трудностью жить? То ли, что Римъ, создавшій Западъ по образу своему и подобію, столкнулся, какъ и онъ, лицомъ къ лицу съ невозможностью? Мы не беремся отвъчать отрицательно — и, вотъ здъсь-то и выступаетъ, словно солнце, та логика Промысла, которая, какъ внутренній законъ, управляеть событіями міра. Скоро исполнится восемь въковъ съ того дня, какъ Римъ разорвалъ последнее звено, связывавшее его съ православнымъ преданіемъ Вселенской Церкви. Создавая себъ въ тотъ день свою отдёльную судьбу, онъ на многіе вёка рёшиль судьбу Запада.

Догматическія различія, отдёляющія Римъ отъ православной церкви, извёстны всёмъ. Съ точки зрёнія человёческаго разума различія эти, вполнё обусловливая раздёленіе, не объясняють въ достаточной мёрё той пропасти, которая образовалась — не между двумя церквами, ибо церковь одна — а между двумя мірами, такъ сказать, между двумя человёчествами, которыя послёдовали ва этими двумя разными знаменами. Различія эти не объясняють въ достаточной мёрё, почему то, что тогда совратилось съ пути, должно было необходимо дойти до той точки, которой оно достигаетъ на нашихъ глазахъ.

Спаситель сказаль: «Царство Мое не оть міра сего». И вотъ нужно понять, какимъ образомъ Римъ, отдёлившись отъ единства, счелъ, что онъ имтетъ право въ интересъ, который онъ отождествилъ съ интересомъ самаго христіанства, устроить это Царство Христово какъ царство міра сего. Мы знаемъ, какъ трудно, въ кругу понятій Запада, придать этому слову его законное значение: его всегда будуть склонны толковать не въ православномъ, а въ протестантскомъ смыслъ; а между этими двумя смыразстояніе, которое отдёляеть божественное CHAMH TO оть человъческаго. Но надо признать, что, будучи отдъдено этимъ неизмъримымъразстояніемъ отъ протестантства, православное ученіе нисколько не ближе стоить и къ ученію Рима и воть почему Римь, конечно, поступиль не такъ, какъ протестантство: онъ не упразднилъ христіанскаго средоточія, которое есть церковь, въ пользу человъческаго, личнаго я; но за то онъ поглотиль его въ Римскомъ я. Онъ не отвергъ преданія, а удовольствовался темъ, что конфисковалъ его въ свою пользу. А развъ присвоивать себъ божественное не значить то-же, что отрицать его? Воть чёмъ устанавливается та страшная, но безпорная связь, которою, черезъ долгій промежутокъ времени, начало протестанства примыкаеть къ захватамъ Рима: ибо захвать представляеть ту особенность, что онъ не только родить возстаніе, но еще создаеть въ свою пользу призракъ права.

Новъйшая революціонная школа въ этомъ не ошиблась. Революція, которая есть не что иное, какъ апоесоза того же самаго человъческаго я, достигшаго до своего пол-

нъйшаго разцвъта, не замедлила признать своими и привътствовать, какъ двухъ своихъ славныхъ предковъ — и Григорія VII-го, и Лютера. Родственная кровь заговорила въ ней, а она приняла одного, не смотря на его христіанскія върованія, и почти обоготворила другаго, хоть онъ и папа.

Но если очевидное сходство, соединяющее три члена этого ряда, составляеть основу исторической жизни Запада, то исходною точкою этой связи необходимо признать именно то глубокое искаженіе, которому христіанское начало подверглось отъ навязаннаго ему Римомъ устройства. Въ теченіи вѣковъ Западная церковь, подъ сѣнію Рима, почти совершенно утратила обликъ, указанный ея исходнымъ началомъ. Она перестала быть, среди великаго человѣческаго общества, обществомъ вѣрующихъ, свободно соединенныхъ въ духѣ и истинѣ подъ Христовымъ закономъ: она сдѣлалась политическимъ учрежденіемъ, политическою силою, государствомъ въ государствѣ. По правдѣ сказать, во все продолженіе среднихъ вѣковъ, церковь на Западѣ была ничѣмъ инымъ, какъ Римскою колоніей, водворенной въ завоеванной странѣ.

Это-то усройство, привязавъ церковь къ праху земныхъ интересовъ, и создало ей, такъ сказать, смертную судьбу: воплотивъ божественное начало въ немощномъ и преходящемъ тълъ, оно привило къ нему всъ немощи и похоти плоти. Изъ этого устройства роковымъ образомъ вытекла для Римской церкви необходимость войны, войны вещественной — необходимость, которая для такого учрежденія, какъ церковь, равносильна была безусловному осужденію. Изъ этого устройства родилась та борьба притязаній и то соперничество интересовъ, которые необхо-

димо должны были привести къ ожесточенной схваткъ между первосвященникомъ и имперіей, къ этому по истинъ безбожному и святотатственному поединку, который, продолжаясь во всв средніе въка, нанесь на Западъ смертельный ударь самому началу власти. Отсюда всё эти излишества и насилія, нагромождаемыя впродолженіе въковъ, чтобы подпереть ту вещественную власть, безъ которой, по мненію Рима, нельзя ему было обойтись для охраненія единства церкви и которая однакоже, въ концъ концовъ, какъ и слъдовало ожидать, разбила въ дребезги это воображаемое единство: ибо нельзя отрицать, что взрывъ реформы въ XVI въкъ въ основании своемъ былъ лишь реакціей христіанскаго чувства, слишкомъ долго накипавшаго противъ власти церкви, которая уже во многихъ отношеніяхъ была таковою лишь по имени. Но такъ какъ издавна Римъ заботливо заслонялъ собою Вселенскую Церковь отъ Запада, то вожди реформы, вмъсто того чтобы нести свои обиды предъ судилище высшей и законной власти, предпочли апеллировать къ суду личной совъсти, то-есть сотворили себя судьями въ своемъ собственномъ дёлё: вотъ тотъ камень преткновенія, о который разбилась реформа XVI въка. Такова — не въ обиду будь сказано мудрымъ учителямъ Запада — истинная и единственная причина, въ силу которой движение реформы, христіанское въ своемъ началь, сбилось съ пути, и наконець, пришло къ отрицанію авторитета Церкви, а слъдовательно и самаго начала всякаго авторитета. Черезъ этоть проломъ, который протестантство пробило, такъ сказать само того не въдая, ворвалось впоследстви въ западное общество противухристіанское начало.

Исходъ этотъ былъ неизбъженъ, ибо человъческое я,



предоставленное самому себъ, противно Христіанству по существу. Возмущеніе этого я и его захваты возникли конечно не въ три послъдніе въка; но туть именно, въ первый разъ въ исторіи человъчества, это возмущеніе, этотъ захвать возведены были на степень принципа и стали дъйствовать подъ видомъ права, присущаго человъческой личности. Поэтому за три послъдніе въка историческая жизнь Запада необходимо была непрерывною войною, постояннымъ приступомъ, направленнымъ противъ всъхъ христіанскихъ элементовъ, входившихъ въ составъ стараго западнаго общества. Эта разрушительная работа длилась долго, такъ какъ для того, чтобы имъть возможность напасть на учрежденія, надо было прежде уничтожить ихъ связующую силу, то-есть върованія.

Первая Французская революція тёмъ именно и памятна во всемірной исторіи, что ей, такъ сказать, принадлежить починъ въ дълъ достиженія противухристіанскою идеею правительственной власти надъ политическимъ обществомъ. Эта идея выражаеть собою истинную сущность, такъ сказать, душу революціи. Чтобы уб'єдиться въ этомъ, достаточно уяснить себъ, въ чемъ состоить ея основное ученіе — то новое ученіе, которое, революція внесла въ міръ. Это, очевидно, ученіе о верховной власти народа. А что такое верховная власть народа, какъ не верховенство человъческаго я, помноженнаго на огромное число, то есть опирающагося на силу? Все, что не есть это начало, не есть уже революція и можеть имъть лишь чистоотносительную и случайную цёну. Воть почему, замётимъ мимоходомъ, нътъ ничего безсмысленнъе или коварнъекакъ придавать нную цёну созданнымъ революціею политическимъ учрежденіямъ. Это осадныя орудія, превосходно



приспособленныя къ тому употребленію, для котораго они построены; но помимо этого назначенія, они въ правильномъ обществъ никогда не найдутъ подходящаго приложенія.

Впрочемъ, революція сама позаботилась о томъ, чтобы не оставить въ насъ ни малъйшаго сомнънія относительно ея истинной природы. Отношение свое къ Христіанству она формулировала такъ: «Государство, какъ таковое, не имъетъ религіи», ибо таковъ символъ въры новъйшаго государства. Воть, собственно говоря, та великая новость, которую революція внесла въ міръ; воть ея неотъемлемое, существенное дело — фактъ, не имеющій себе подобнаго въ предшествовавшей исторіи человъческихъ обществъ. Въ первой разъ политическое общество отдавалось подъ власть государства, совершенно чуждаго всякаго высшаго освященія, государства, объявлявшаго, что у него нътъ души; а если и есть, то развъ душа безвърная: ибо кто не знаетъ, что даже въ языческой древности, во всемъ этомъ мірѣ по ту сторону креста, который жилъ подъ свнію общаго вселенскаго преданія (искаженнаго, но не прерваннаго явычествомъ) городъ, государство были прежде всего учрежденіемъ религіознымъ? Это быль какъ бы обломовъ общаго преданія, который, воплощаясь въ отдёльномъ обществъ, образовывался какъ независимый центръ; это была, такъ сказать, ограниченная мъстностью и овеществленная религія.

Нейтралитеть, котораго революція желаеть держаться въ вопросахь вёры, очевидно не есть съ ея стороны что нибудь серьезное. Ей слишкомъ хорошо вёдомы свойства ея противника, чтобы не знать, что по отношенію къ нему никакой нейтралитеть невозможень: «Кто не со

· Мною, тотъ противъ Меня». Въ самомъ дълъ, чтобы предложить Христіанству нейтралитеть, нужно напередъ перестать быть христіаниномъ. Софизмъ новаго ученія падаеть здёсь передъ всесильною природою вещей. Для того чтобы нейтралитеть этоть имѣль смысль и не быль ложью и западнею, необходимо, чтобы новъйшее государство согласилось отказаться отъ всякаго притязанія на нравственный авторитеть, чтобы оно низвело себя на степень простаго полицейскаго учрежденія, простаго вещественнаго факта, неспособнаго по существу выражать какую бы-то ни было нравственную идею. Неужели можно серьезно утверждать, что революція для созданія ею и воплощающаго ее государства приметъ такое не только унизительное, но невозможное условіе? На самомъ дѣлѣ, она и не думаеть его принимать; напротивь, какъ извъстно, ненекомпетентность современнаго законодательства въ дълахъ въры для нея вытекаетъ лишь изъ убъжденія, что такъ называемая религіозная мораль, то есть мораль, неимъющая никакого сверхъестественнаго утвержденія, достаточна для человъческаго общества. Върно ли это положеніе, или нътъ — но оно несомнънно представляеть цълое ученіе, которое для всякаго добросовъстнаго человъка равносильно безусловному отрицанію христіанской истины.

И въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, что, несмотря на эту глаголемую некомпетентность и конституціонный нейтралитеть новѣйшаго государства въ дѣлахъ вѣры, — вездѣ, гдѣ это государство водворилось, оно не замедлило потребовать для себя и проявить на дѣлѣ по отношенію къ церкви ту-же власть и тѣ-же права, какія принадлежали прежнимъ правительствамъ. Для примѣра укажемъ на Францію, на эту страну логики по преимуществу. Конечно.

законь заявляеть тамъ, что государство, какъ таковое, не имътъ религіи; однакоже само государство, въ своихъ отношеніяхъ къ католической церкви, настойчиво продолжаеть считать себя совершенно законнымъ наслъдникомъ христіаннъйшаго короля.

Возстановимъ же истину: новъйшее государство потому лишь изгоняетъ государственныя религіи, что у него есть своя; а эта его религія есть революція.

Возвращаясь теперь къ Римскому вопросу, легко понять невозможность того положенія, въ которое хотять поставить папство, заставивь его принять для своей свътской власти условія новъйшаго государства. Природа начала, лежащаго въ основаніи этого послъдняго, хорошо извъстна папству: оно инстинктивно чуеть ее, и въ случав нужды христіанская совъсть священника предостережеть папу. Между папствомъ и этимъ началомъ невозможно соглашеніе; ибо здъсь соглашеніе было бы не простою уступкою власти, а отступничествомъ.

Но почему же бы папѣ не принять учрежденій безъ ихъ основнаго начала? скажуть намь. Воть еще одно изъ пустыхь мечтаній этого, такъ навываемаго, умѣреннаго направленія, которое мнить себя необыкновенно разсудительнымь, а въ сущности лишено здраваго смысла. Да развѣ учрежденія могуть быть отдѣлены оть начала, которое ихъ создало и живить? Развѣ снарядъ учрежденій, лишенный души, не есть мертвый и безполезный хламь? Притомъ учрежденія въ дѣйствительности всегда имѣютъ значеніе, приписываемое имъ не тѣми, кто далъ ихъ, а тѣми, кто ихъ получилъ, тѣмъ болѣе когда введеніе учрежденій есть дѣло этихъ послѣднихъ.

Если бы папа быль только епископомъ, то есть если

бы папство осталось върнымъ своему происхожденію, то у революціи не было бы оружія для нападенія на него; ибо гоненіе не есть такое оружіе. Но то чуждое начало, которое папство отождествило съ собою, начало смертное и преходящее, — оно-то и дълаетъ его теперь доступнымъ для ударовъ революціи. Вотъ тотъ задатокъ, который за много въковъ впередъ Римское папство дало революціи. Здъсь, какъ мы уже сказали, ярко проявилась властная логика дъйствій Промысла. Изъ всёхъ учрежденій, порожденныхъ папствомъ со времени его отдъленія отъ Православной Церкви, безъ сомнънія ни одно такъ глубоко не отмътило этого отдъленія, ни одно такъ его не усилило и не утвердило, какъ свътская власть папы. И вотъ именно на этомъ-то учрежденіи теперь и спотыкается папство!

Давно уже, конечно, міръ не видаль ничего подобнаго тому зрѣлищу, которое представляла несчастная Италія въ послѣднее время передъ ея новыми бѣдствіями. Давно ни одно положеніе вещей, ни одинъ историческій фактъ не имѣли такого страннаго облика. Случается иногда, что человѣкомъ, наканунѣ какого нибудь большаго несчастія, безъ всякаго видимаго повода овладѣетъ припадокъ безумной радости, неистоваго веселья: вдѣсь цѣлый народъ былъ вдругъ охваченъ такого рода припадкомъ. И эта лихорадка, это безуміе поддерживалось и распространялось впродолженіе цѣлыхъ мѣсяцевъ. Была минута, когда оно, подобно электрическому току, пробѣжало по всѣмъ общественнымъ слоямъ, — и лозунгомъ такого всеобщаго и напряженнаго безумія было имя папы!

Сколько разъ в вроятно б в дный христіанскій священникъ содрагался въ глубин в своего уб в жища при звукахъ этой оргіи, д в лавшей его своимъ кумиромъ! Сколько

разъ эти клики любви, эти судороги восторга должны были возбуждать уныніе и сомнѣніе въ душѣ этого христіанина, преданнаго въ добычу такой ужасающей популярности! Ему, папѣ, становилось особенно жутко потому, что въ основаніи этой великой популярности, за всѣмъ этимъ изступленіемъ массъ, какъ бы неистово оно ни было, онъ не могъ не видѣть разсчета и задней мысли.

Впервые захотели воздавать поклонение папъ, отделяя его отъ папства. Мало того: самый человъкъ потому лишь и быль предметомъ всего этого поклоненія, всёхъ этихъ горячихъ изъявленій преданности, что въ немъ надъялись найти сообщника противъ учрежденія; словомъ, хотъли задать праздникъ папъ, сжигая папство въ потъшномъ огнъ. Такое положение было тъмъ грознъе, что тотъ разсчетъ, та задняя мысль, о которой мы упомянули, слышались не только въ намфреніяхъ партій, а проявлялись и въ безсознательномъ чувствъ массъ. И ничъмъ не обличалась такъ ярко вся ложь и лицемъріе такого женія, какъ совпаденіемъ аповеозы, въ которую возводился глава католической церкви, съ началомъ самаго ожесточеннаго гоненія на ісзуитовъ. Орденъ ісзуитовъ будеть всегда загадкою для Запада: это одна изъ тъхъ загадокъ, ключъ къ которымъ находится за его предълами. Можно не безъ основанія сказать, что іезуитскій вопросъ слишкомъ близко затрогиваеть религіозную совъсть Запада, чтобы Западъ могъ когда-нибудь разръшить его вполнъ удовлетворительнымъ образомъ.

Чтобы говорить о іезуитахъ, чтобы подвергнуть ихъ справедливой оцёнкѣ, нужно прежде всего устранить всѣхъ тѣхъ людей (а имъ имя легіонъ), для которыхъ слово «іезуитъ» есть уже только лозунгъ, военный кличъ.



Конечно, самое красноръчивое, самое убъдительное изъ всвхъ оправданій, какія выставлялись въ пользу этого знаменитато ордена, заключается въ той ожесточенной и непримиримой ненависти, которую питають къ нему всъ враги христіанской въры; но, признавая это, нельзя также скрыть отъ себя, что многіе католики — и притомъ наиболъе искренніе, наиболье преданные своей церкви, отъ Паскаля и до нашихъ дней — не переставали, изъ покольнія въ поколъніе, чувствовать открытое, непреодолимое отвращеніе къ этому учрежденію. Такое расположеніе духа значительной части католического міра создаеть, быть можеть, одно изъ самыхъ потрясающихъ и трагическихъ положеній, въ какія только можеть быть поставлена человіческая душа. Въ самомъ дълъ, невозможно вообразить себъ болъе глубокой трагедіи, чёмъ та борьба, которая должна происходить въ сердце человека, когда, поставленный между чувствомъ религіознаго благоговінія (чувствомъ, превосходящимъ сыновнюю любовь) съ одной стороны, и отвратительной очевидностью съ другой, онъ усиливается замять, заглушить свидетельство собственной совести, лишь не признаться самому себъ, что между предметомъ поклоненія и предметомъ отвращенія, существуєть тёсная и безспорная связь. Между тъмъ таково именно положеніе всёхь тёхь вёрныхь католиковь, которые, ослёпленные своею враждою къ іезуитамъ, стараются скрыть отъ себя то, что ясно до очевидности — именно глубокое, тъсное сродство, связывающее этотъ орденъ, его стремленія, его ученіе, его судьбы со стремленіями, ученіемъ и судьбами Римской церкви, отъ которой его невозможно отдълить, не причинивъ тъмъ существеннаго поврежденія и увъчья. Ибо, если отръшиться отъ всякихъ предубъж-

деній партіи, в роиспов вданія и даже народности; если проникнуться самымъ полнымъ безпристрастіемъ и христіанскимъ милосердіемъ и передъ лицомъ исторіи и дъйствительности, допросивъ ихъ объихъ, задать себъ по совъсти вопросъ, что такое језунты? — то вотъ, думаемъ мы, каковъ будетъ отвътъ: Іезуиты — это люди, исполненные пламенной, неутомимой, неръдко геройской ревности къ дълу Христіанства и которые однако повинны въ великомъ преступленіи передъ тёмъ же Христіанствомъ. Именно, одержимые человъческимъ я — не какъ отдъльныя личности, а какъ цёлый орденъ, — они сочли дело Христіанства настолько связаннымъ съ ихъ собственнымъ дъломъ и, въ пылу преслъдованія, въ разгаръ битвы, такъ всецъло забыли слово Учителя: «не якоже Авъ хощу, но якоже Ты», что наконецъ стали добиваться побъды Божіей ціною всего, только не ціною своего личнаго удовлетворенія. Это заблужденіе, котораго корень лежить въ первородной испорченности человъка и котораго послъдствія для христіанства неисчислимы, не есть однакоже исключительная принадлежность общества Іисуса. Это заблуждение, это стремление настолько обще ему съ самой Римской церковью, что въ немъ-то и должно видъть ту существенную связь, которая какъ бы кровными узами соединяеть ихъ другъ съ другомъ. Благодаря именно этой общности, этому тождеству стремленій, іезуитскій орденъ и является сосредоточеннымъ, но буквально върнымъ выражениемъ Римскаго католичества. Проще сказать, онъ есть само католичество, но только въ состояніи дъйствія, въ положеніи воинствующемъ. Вотъ почему этоть ордень, подвергаясь изъ въка въ въкъ, такъ сказать, постоянной баллотировкъ, переходя отъ торжества міру въ образѣ Римской республики. Что такое эта партія—теперь достаточно извѣстно: ее всѣ видѣли на дѣлѣ. Это истинная, законная представительница революціи въ Италіи. Партія эта считаєтъ папство своимъ личнымъ врагомъ, такъ какъ находитъ въ немъ присутствіе христіанскаго начала; поэтому она не терпить его ни подъ какимъ видомъ — ни даже подъ условіемъ употреблять его для своихъ цѣлей. Ей бы просто хотѣлось упразднить его изъ того же самаго побужденія, изъ котораго она хочетъ упразднить все прошлое Италіи, всѣ историческій условія ея бытія, якобы запятнанныя и зараженныя католицизмомъ, предоставляя себѣ, чистымъ революціоннымъ отвлеченіемъ, привязать замышляемое ею государственное устройство къ республиканскимъ преданіямъ древняго Рима.

Въ этой безсмысленной утопіи любопытно то, что, не смотря на ея совершенно противуисторическій характеръ, у нея также есть свое встмъ извъстное преданіе въ исторіи Итальянской цивилизаціи. Она въ сущности есть ничто иное, какъ классическое воспоминаніе древняго языческаго міра, языческой цивилизаціи — преданіе, которое играло великую роль въ исторіи Италіи на всемъ ея протяженіи, которое имъло своихъ представителей, героевъ и даже мучениковъ, и которое, не довольствуясь почти исключительнымъ господствомъ своимъ въ искусствахъ и литературъ страны, много разъ пыталось сложиться въ силу политическую, чтобы овладъть всъмъ обществомъ въ цъломъ. И замъчательно, что всякій разъ какъ это преданіе, это стремленіе хотьло возродиться, оно являлось, подобно привиденію, неизменно привязаннымъ къ одному и тому же мъсту, именно къ Риму.

Когда оно достигло до нашихъ дней, революціонное начало естественно должно было принять его и усвоить себѣ, ради заключавшейся въ немъ противухристіанской мысли. Недавно партія эта была побѣждена, и власть папы повидимому возстановлена; но нужно согласиться, что если что нибудь могло еще усложнить то роковое стеченіе обстоятельствь, которое заключаеть въ себѣ Римскій вопросъ, то это именно Французское вмѣшательство, которымъ достигнуть этотъ двойной результать.

Ходячее мнтніе, ставшее общимъ мтстомъ, видить въ этомъ вмешательстве либо отчаянную выходку, либо промахъ французскаго правительства. Дъйствительно, можно сказать, что если Французское правительство, впутываясь въ этотъ самъ по себъ неразръшимый вопросъ, скрывало отъ себя, что для него онъ еще болте неразртшимъ, чтмъ для кого другого, — то это лишь показываеть съ его стороны полное непонимание какъ своего собственнаго положенія, такъ и положенія Франціи... что впрочемъ, признаемся, очень возможно. Вообще въ Европъ за послъднее время слишкомъ привыкли сводить оцънку дъйствій или върнъе поползновеній Французской политики къ фразъ, обратившейся въ пословицу: «Франція сама не знаеть, чего хочеть». Это можеть быть и правда; но, чтобы быть совершенно справедливымъ, слъдовало бы прибавить: «Франція и не можеть знать, чего она хочеть». Въдь чтобы быть въ состояніи знать это, нужно прежде всего имъть единую волю; а Франція уже шестьдесять льть какъ осуждена имъть ∂sn воли. Мы говоримъ не о той разладиць, не о томъ раздъленіи мньній, политическихъ или иныхъ, которое присуще всякой странъ, гдъ общество силою обстоятельствъ предано владычеству партій: мы говоримь о факть несравненно большей важности — о той постоянной, существенной и на въки непримиримой враждъ, которая впродолжение шестидесяти лътъ составляеть, такъ сказать, самую суть народной совъсти во Франціи. Самая душа Франціи раздвоена.

Хотя революція, съ техъ поръ какъ она завладела этою страною, и успъла перевернуть ее вверхъ дномъ. измънить, исказить, но ей не удалось и никогда не удастся, усвоить ее себъ вполнъ. Чтобы она ни дълала, въ духовной жизни Франціи есть такіе задатки и начала, которые всегда будуть оказывать ей сопротивление — по крайней мъръ до тъхъ поръ, пока будетъ на свътъ Франція; таковы католическая церковь съ ея върованіями и обученіемъ, христіанскій бракъ и семья, и даже собственность. Съ другой стороны, такъ какъ можно предвидъть, что революція, вошедшая не только въ кровь, но даже въ душу этого общества, никогда не согласится доброводьно уступить добычу, и такъ какъ мы не знаемъ въ исторіи міра ни одной формулы заклинанія, приложимой къ цёлому народу, — то надо думать, что состояніе такой непрерывной внутренней борьбы, постояннаго и такъ сказать органическаго раздвоенія стало надолго естественнымъ состояніемъ новаго Французскаго общества. И вотъ уже шестьдесять лъть въ этой странъ осуществляется такого рода сочетаніе, что государство, революціонное по принципу, тянетъ за собою на буксиръ общество, которое лишь взбунтовано, между тъмъ какъ правительство, власть, которая необходимо сродни имъ обоимъ, не будучи въ состояніи ихъ примирить, силою обстоятельствъ осуждено на ложное и жалкое положеніе, окружено опасностями и поражено безсиліемъ. Поэтому всъ

смѣнившіяся съ тѣхъ поръ Французскія правительства, кромѣ одного—правительства конвента во время террора—при всемъ различіи ихъ происхожденія, ихъ ученія и стремленій, сходились въ одномъ: всѣ они (не исключая даже и того, которое явилось вслѣдъ за Февральскимъ переворотомъ) гораздо болѣе подпадали революціи, чѣмъ представляли ее сами. Да оно и понятно: вѣдъ они и жить-то могли лишь подъ условіемъ бороться съ нею, въ тоже самое время претерпѣвая ее. Нужно прибавить, что по крайней мѣрѣ до сихъ поръ они всѣ погибли надъ выполненіемъ этой задачи.

Неужели же такая власть — столь неопредъленная, столь мало увъренная въ своемъ правъ — могла разсчитывать на успъхъ, вмъшиваясь въ такой вопросъ, какъ Римскій? Становясь въ качествъ посредницы или судьи между революціей и папой, она никакъ не могла надъяться примирить то, что непримиримо по самой своей природъ; съ другой стороны, она не могла дать побъду одной изъ борющихся сторонъ, не поранивъ самое себя, не отрекшись, такъ сказать, отъ половины своего существа. Этимъ обоюдуюстрымъ вмъшательствомъ — какъ бы ни было притуплено леявее — она могла лишь еще болъе запутать то, что уже и безъ того было неразръшимо, и, раздражая рану, лишь растравить ее. И въ этомъ она успъла вполнъ.

Каково въ дъйствительности нынъшнее положение папы по отношению къ его подданнымъ? Какова въроятная судьба новыхъ учреждений, которыя онъ имъ далъ? Тутъ, къ сожальню, возможны лишь самыя печальныя предположения, а сомнъние невозможно.

Каково это положение? Да, это старый порядокъ ве-

щей — порядокъ, предшествовавшій нынѣшнему царствованію, падавшій уже тогда подъ бременемъ своей невозможности, но еще чрезмѣрно отягченный всѣмъ, что случилось съ тѣхъ поръ: въ мірѣ нравственномъ — страшными разочарованіями и предательствомъ, въ мірѣ вещественномъ — цѣлымъ рядомъ крушеній.

Таковъ этотъ заколдованный кругъ, въ которомъ сорокъ лътъ вертълось и билось столько народовъ и правительствъ. Управляемые принимали уступки власти какъ ничтожныя выдачи въ счетъ, дълаемыя противъ воли недобросовъстнымъ должникомъ, а правительства видъли въ предъявляемыхъ имъ требованіяхъ козни лицемфрнаго врага. Такое положеніе вещей, такое взаимное недовъріе, отвратительное и развращающее всегда и вездъ, здъсь еще зловреднъе вслъдствіе особенно священнаго характера власти и вслъдствіе совершенно исключительныхъ свойствъ ея отношеній къ подданнымъ: ибо, повторяемъ еще разъ, вь этомъ положеніи, когда не только дъйствіемъ человъческихъ страстей, но самою силою обстоятельствъ дъло, такъ сказать, движется по наклонной плоскости, - всякая уступка, всякое преобразованіе, если оно искренне и серьезно, неизбъжно толкаетъ Римское государство къ полной секуляризаціи. Никто не сомнъвается, что секуляризація — последнее слово этого положенія дель. Но папа, который и въ обыкновенное время не въ правъ допустить ее, потому что свътская власть — достояніе не его лично, а Римской перкви. — еще менъе можетъ согласиться на нее теперь, когда онъ убъжденъ, что эта секуляризація, если даже она будеть дарована въ удовлетворение дъйствительныхъ нуждъ, должна решительно обратиться къ выгодъ заклятыхъ враговъ не только его власти, но и самой

церкви. Согласиться на нее — значило бы сдёлаться виновнымъ въ отступничестве и предательстве. Таково положение власти. Что касается до подданныхъ, то ясно, что та вкоренившаяся ненависть къ господству духовенства, которая составляеть основную черту Римскаго населенія, не могла быть ослаблена последними событіями; и если съ одной стороны уже одного подобнаго расположенія народнаго духа достаточно, чтобы самыя человеколюбивыя и благонамеренныя преобразованія оказались мертворожденными, то съ другой стороны неудача этихъ преобразованій можеть лишь страшно усилить общее раздраженіе, утвердить общественное мнёніе въ его ненависти къ возстановленной власти и — привлечь новыхъ бойцовь подъ вражеское знамя.

Положение по истинъ страшное, и на которомъ какъ бы лежить печать кары свыше.... Ибо, что можеть быть ужаснъе для служителя Христова, какъ быть обреченнымъ на власть, отправлять которую ему нельзя иначе, какъ на погибель душъ, на разорение церкви?... Нътъ, такое ужасное, такое противуестественное положение продпиться не можеть. Наказаніе или испытаніе, — мыслимо ин, чтобъ Господь въ своемъ Милосердіи, оставиль еще на долго Римскую церковь охваченную этимъ огненнымъ кругомъ и не открыль пути, не указаль исхода, -- исхода дивнаго, свътозарнаго, нечаемаго, — или лучше сказать чаемаго уже многіе въка.... Можеть быть еще много превратностей и несчастій отдёляють оть этого мгновенія наиство и подвластную ему церковь. Можеть быть, они еще только при самомъ началъ этихъ бъдственныхъ временъ, — ибо не малое будетъ то пламя, не краткосрочный то будеть пожарь, который, пожирая, обращая въ пепель событій. Къ счастью, этотъ жестокій урокъ не пропаль даромъ. Здравый смысль и благодушная природа царствующаго Императора уразумъли, что наступила пора ослабить чрезвычайную суровость предшествующей системы и вновь даровать умамъ недостававшій имъ просторъ. И такъ (я это говорю съ полнъйшимъ убъжденіемъ), для всякаго, кто съ той минуты слъдиль въ общихъ чертахъ за умственною дъятельностью въ томъ видъ, какъ она выразилась въ литературномъ движеніи страны, оказывается невозможнымъ не радоваться счастливымъ послъдствіямъ этой новой системы. Не болъе другихъ и я нисколько не желаю скрывать слабыя стороны и подчасъ даже уклоненія современной литературы; но нельзя по справедливости отказать ей въ одномъ достоинствъ, весьма существенномъ, а именно: что съ той минуты, когда ей была дарована нъкоторая свобода слова, она постоянно стремилась сколь возможно лучше и върнъе выражать мнъніе страны. Къ живому сознанію современной дъйствительности и часто къ весьма замъчательному таланту въ ея изображеніи, она присоединяла не менъе искреннюю заботливость о всёхъ положительныхъ нуждахъ, о всёхъ интересахъ, о встхъ язвахъ Русскаго общества. Въ смыслт предстоящихъ улучшеній она, какъ и сама страна, озабочивалась только теми, которыя были возможны, практичны и ясно указаны, не дозволяя себъ увлекаться утопіей — этимъ недугомъ, столь присущимъ литературъ. Если въ борьбъ, ею предпринятой противъ злоупотребленій, она иногда доходила до очевидныхъ преувеличеній, то следуеть отнести къ ея чести, что въ пылу преследованія ихъ она въ своихъ мысляхъ никогда не отдёляла интересовъ Верховной Власти отъ интересовъ страны,

еликаго возсоединенія эта церковь возвратить ей непорежденнымъ этоть священный залогъ.

Я позволю себъ, въ заключеніе, припомнить одну поробность посъщенія Русскимъ Императоромъ Рима въ 846 году. Тамъ, въроятно еще памятно то всеобщее дученое волненіе, съ какимъ было встръчено его появленіе вхрамъ св. Петра — появленіе православнаго Императора, возвратившагося въ Римъ послъ столькихъ въковъ ксутствія; памятенъ электрическій трепетъ, пробъжавшій ю толпъ, когда онъ подошелъ помолиться у гроба апотоловъ. Это волненіе было законно. Кольнопреклоненный царь былъ не одинъ: вся Россія была тамъ, склоня коты съ нимъ вмъстъ. Будемъ надъяться, что не напрасно вознеслась ея молитва передъ святыми останками!...

С.-Петербургь, 1—13 Октябрь 1849.

О цензуръ въ Россіи.

ПИСЬМО Ө. И. ТЮТЧЕВА

къ одному изъ членовъ государственнаго совъта 1).

Пользуюсь дозволеніемъ, которое вамъ угодно было мнѣ дать, чтобы повергнуть на ваше благоусмотрѣніе нѣсколько замѣчаній, находящихся въ связи съ предметомъ нашей послѣдней бесѣлы. Считаю излишнимъ еще разъ выражать мое сердечное сочувствіе къ той мысли, которую вы соблаговолили мнѣ высказать и (въ случаѣ, если будетъ сдѣлана попытка осуществить ее) увѣрять васъ въ моей твердой готовности содѣйствовать ей, по мѣрѣ моихъ силъ. Но именно въ видахъ удобнѣйшаго достиженія этой цѣли, я считаю себя обязаннымъ прежде всего откровенно объясниться передъ вами относительно моего взгляда на этотъ предметъ. Весьма понятно, что здѣсь вопросъ не въ изложеніи моихъ политическихъ убѣжденій: это было бы ребячествомъ. Въ наше время всѣ здравомыслящіе люди

^{&#}x27;) Кн. М. Д. Горчакову. Писано по французски.

одинаковаго мнѣнія на счетъ политическихъ взглядовъ: одни отъ другихъ разнятся въ мнѣніяхъ только вслѣдствіе большей или меньшей проницательности при сознаніи того, что есть и при оцѣнкѣ того, чему-бы слѣдовало быть. Надлежитъ прежде всего прійти къ соглашенію на счетъ большей или меньшей доли истины, заключающейся въ этой оцѣнкѣ. И если дъйствительно (какъ вамъ угодно было выразиться) практическій умъ можетъ желать въ извѣстномъ случаѣ только того, что осуществимо по отношенію къ личностямъ: то не менѣе достовѣрно и то, что было-бы недостойно истинно практическаго ума желать чего нибудь, выступающаго изъ предѣловъ естественныхъ условій существованія. Но приступимъ къ дѣлу.

Если, среди многихъ другихъ, существуетъ истина. которая опирается на полнъйшей очевидности и на тяжеломъ опытъ послъднихъ годовъ, то эта истина есть несомнънно слъдующая: намъ было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишкомъ продолжительное стъснение и гнетъ, безъ существеннаго вреда для всего общественнаго организма. Видно, всякое ослабленіе и замътное умаленіе умственной жизни въ обществъ неизбъжно влечетъ за собою усиленіе матеріальныхъ наклонностей и гнусно-эгоистическихъ инстинктовъ. Даже сама власть съ теченіемъ времени не можетъ уклониться отъ неудобствъ подобной системы. Вокругъ той сферы, гдъ она присутствуетъ, образуется пустыня и громадная умственная пустота, и правительственная мысль, не встръчая извив ни контроля, ни указанія, ни мальйшей точки опоры, кончаетъ тъмъ, что приходитъ въ смущение и изнемогаеть подъ собственнымъ бременемъ еще прежде, чъмъ бы ей суждено пасть подъ ударами злополучныхъ событій. Къ счастью, этотъ жестокій урокъ не пропаль даромъ. Здравый смыслъ и благодушная природа царствующаго Императора уразумъли, что наступила пора ослабить чрезвычайную суровость предшествующей системы и вновь даровать умамъ недостававшій имъ просторъ. И такъ (я это говорю съ полнъйшимъ убъжденіемъ), для всякаго, кто съ той минуты слъдиль въ общихъ чертахъ за умственною дъятельностью въ томъ видъ, какъ она выразилась въ литературномъ движеніи страны, оказывается невозможнымъ не радоваться счастливымъ послъдствіямъ этой новой системы. Не болье другихъ и я нисколько не желаю скрывать слабыя стороны и подчасъ даже уклоненія современной литературы; но нельзя по справедливости отказать ей въ одномъ достоинствъ, весьма существенномъ, а именно: что съ той минуты, когда ей была дарована нъкоторая свобода слова, она постоянно стремилась сколь возможно лучше и върнъе выражать мнъніе страны. Къ живому сознанію современной дъйствительности и часто къ весьма замъчательному таланту въ ея изображеніи, она присоединяла не менте искреннюю заботливость о всёхъ положительныхъ нуждахъ, о всёхъ интересахъ, о всъхъ язвахъ Русскаго общества. Въ смыслъ предстоящихъ улучшеній она, какъ и сама страна, озабочивалась только тъми, которыя были возможны, практичны и ясно указаны, не дозволяя себъ увлекаться утопіей — этимъ недугомъ, столь присущимъ литературъ. Если въ борьбъ, ею предпринятой противъ злоупотребленій, она иногда доходила до очевидныхъ преувеличеній, то слъдуеть отнести къ ея чести, что въ пылу преслъдованія ихъ она въ своихъ мысляхъ никогда не отдёляла интересовъ Верховной Власти отъ интересовъ страны.

проникнутая твердымъ и честнымъ убъжденіемъ, что вести войну противъ злоупотребленій значило вести ее въ тоже время противъ личныхъ враговъ Государя. Мнѣ хорошо извъстно, что въ наше время весьма часто подобная внѣшняя личина усердія прикрываетъ весьма дурныя чувства и служитъ къ сокрытію стремленій далеко нечестныхъ; но благодаря той опытности, которую люди нашихъ лѣтъ не могутъ не имѣть, ничего нѣтъ легче какъ разпознать съ перваго взгляда эти грубыя уловки, и въ этомъ смыслѣ коварство никого не обманетъ.

Можно положительно утверждать, что въ настоящую минуту въ Россіи преобладають два господствующія чувства, всегда почти тёсно связанныя другь съ другомъ, а именно: раздраженіе и отвращеніе при видё закоснёлости злоупотребленій и священное довёріе къ чистымъ, благороднымъ и доброжелательнымъ намёреніямъ Монарха.

Всё вообще убъждены, что никто сильнёе Его не страдаеть отъ этихъ язвъ Россіи и никто живъе Его не желаетъ ихъ исцъленія; но нигдъ, быть можетъ, это убъжденіе не существуетъ такъ живо, такъ цъльно, какъ именно среди сословія писателей, и обязанность всякаго благороднаго человъка состоитъ въ томъ, чтобы громко провозглашать, что въ настоящую минуту едва-ли въ обществъ можно найти другой разрядъ людей, болъе благоговъйно преданныхъ Особъ Государя!

Не скрываю отъ себя, что подобная оцёнка вёроятно можеть встрётить недовёріе со стороны многихь лиць въ нёкоторыхъ слояхъ нашего оффиціальнаго міра. Во всё времена существовало въ этихъ слояхъ какое-то предвзятое чувство сомнёнія и нерасположенія, и это весьма легко объясняется спеціальностью ихъ точки зрёнія. Есть люди,



которые знають литературу на столько, на сколько полиція въ большихъ городахъ знаетъ народъ ею охраняемый, т. е. лишь тъ несообразности и тъ безпорядки, которымъ иногда предается нашъ добрый народъ.

Нътъ, что бы не говорили, но правительству не приходилось до сихъ поръ раскаяваться въ томъ, что оно смягчило въ пользу печати тотъ гнетъ, который тяготълъ надъ нею. Но въ этомъ вопросъ о печати достаточно-ли того, что сдълано; и, въ виду болъе свободнаго умственнаго труда и по мъръ того какъ успъхи литературы возростали, — не ощущается-ли все сильнъе ежедневная польза и необходимость высшаго руководства или направленія? Одна цензура, какъ-бы она ни дъйствовала, далеко не удовлетворяетъ требованіямъ этого новаго порядка вещей. Цензура служить предъломъ, но не руководствомъ. А у насъ въ литературъ, какъ и во всемъ остальномъ, вопросъ не столько въ томъ, чтобы подавлять, сколько въ томъ, чтобы направлять. Направленіе, мощное, разумное, себъ увъренное направление — вотъ чего требуетъ страна, вотъ въ чемъ заключается лозунгъ всего настоящаго положенія нашего.

Часто жалуются на тотъ духъ непокорности и неповиновенія, который отличаеть людей нынёшняго поколёнія. Въ этомъ обвиненіи заключается значительная доля недоразумёнія. Можно съ достовёрностью сказать, что ни въ какую другую эпоху не было столько дёятельныхъ умственныхъ силъ «не у дюл» и тяготящихся бездёйствіемъ, на которое онё обречены. Но эти-же самыя силы, среди которыхъ возникаютъ противники власти, весьма часто были-бы готовы ей содёйствовать, если-бы она выразила расположеніе пріобщить ихъ къ своей дёятельности и рё-

шительно двинуться впередъ во главѣ ихъ. Именно эта истина, опытомъ дознанная, во многихъ государствахъ Европы способствовала, со времени послѣднихъ революціонныхъ переворотовъ, къ тому, чтобы измѣнить значительно отношенія правительства къ печати. И здѣсь я позволяю себѣ, въ подкрѣпленіе моей теоріи, сдѣлать ссылку на свидѣтельство вашихъ собственныхъ воспоминаній.

Германія до 1848 года была столь-же знакома вамъ, какъ и мнѣ, и вы не можете не помнить, каково было положеніе тогдашней печати относительно Германскихъ правительствъ, какою горечью, какою непріязнью отличались ея отношенія къ нимъ, сколько тревоги и заботъ она имъ причиняла. И чтоже! Почему это враждебное расположеніе нынѣ большею частью исчезло и замѣнилось настроеніемъ совершенно инымъ? Потому, что тѣ-же правительства, смотрѣвшія на печать, какъ на неизбѣжное зло, которому они ненавидя покорялись, стали искать въ ней вспомогательную силу и употреблять ее какъ орудіе, приспособленное къ ихъ требованіямъ.

Я привожу этотъ примъръ лишь для того, чтобы доказать, что въ странахъ уже сильно зараженныхъ революціоннымъ духомъ, просвъщенное и энергическое направленіе всегда найдетъ умы, готовые признать его и слъдовать за нимъ, хотя вообще я не менъе всякаго другого ненавижу, въ примъненіи къ нашимъ интересамъ, всъ эти мнимыя сближенія съ тъмъ, что совершается за границею: почти всегда понятыя лишь на половину, они причинили намъ слишкомъ много вреда, чтобы внушить мнъ желаніе ссылаться на ихъ авторитетъ.

У насъ, благодаря Бога, пришлось-бы удовлетворять

единодушнаго содъйствія при разръшеніи общей задачи, — правительство, предоставленное собственнымъ своимъ силамъ, не можетъ совершить ничего, столько-же извнъ, какъ и внутри, столько-же для своего блага, какъ и для нашего.

Однимъ словомъ, слёдовало-бы всёмъ, какъ обществу, такъ и правительству, постоянно говорить и повторять себё, что судьба Россіи уподобляется кораблю, сёвшему на мель, который никакими усиліями экипажа не можетъ быть сдвинутъ съ мёста, и лишь только одна приливающая волна народной жизни въ состояніи поднять его и пустить въ ходъ.

Вотъ, по моему мнѣнію, во имя какого принципа и какого чувства правительство могло-бы овладѣть умами и сердцами и, такъ сказать, принять ихъ въ свои руки и вести куда ему угодно. За этимъ знаменемъ они послѣдовали бы всюду.

Считаю излишнимъ, говорить, что я вовсе не желаю для этого обратить правительство въ проповъдника, возводить его на канедру и заставлять его произносить поученія передъ безмолвною толною. Ему слъдовало-бы сообщить свой духъ, а не свое слово, той прямодушной пропагандъ, которая творилась-бы подъ его сънью. И такъ какъ, если желаешь убъдить людей, первымъ условіемъ успъха служитъ умънье возбудить ихъ вниманіе къ вашимъ словамъ, то весьма понятно, что эта спасительная пропаганда, для своего успъха, должна не только не стъснять свободу преній, но напротивъ стремиться къ тому, чтобы свобода эта была на столько искрення и серіозна, на сколько состояніе страны можетъ это дозволить. Притомъ нужно ли въ сотый разъ повторять

слъдующее столь очевидное положение: что въ наше время вездъ, гдъ свобода преній не существуетъ въ довольно обширныхъ размърахъ, ничто не возможно, ръшительно ничто въ нравственномъ и умственномъ смыслъ? Я знаю, въ какой степени въ вопросахъ подобнаго рода трудно (чтобы не сказать невозможно) придать своей мысли требуемую степень опредъленности. Такъ напримъръ, какимъ образомъ опредълить, что слъдуетъ разумъть подъ достаточною мърою свободы относительно преній? Эта мъра, безусловно колеблющаяся и произвольная, весьма часто можеть опредълиться лишь тъмъ, что составляеть самую сокровенную, индивидуальную долю нашихъ убъжденій, и надлежало-бы, такъ сказать, узнать сперва всего человъка, чтобы опредълить истинное значение придаваемое имъ словамъ при обсужденіи этихъ предметовъ. Что до меня касается, то я, подобно многимъ, слъдилъ, въ продолженіи болье чымь тридцати лыть, за этимь неразрышимымь вопросомъ о печати, за встми превратностями его судьбы, и вы конечно согласитесь, что послъ столь долгаго изученія и наблюденія, этотъ вопросъ не можетъ быть для меня ничъмъ инымъ, какъ предметомъ самой холодной и самой безпристрастной оцънки. И потому я не ощущаю ни предубъжденія, ни непріязни ко всему до него относящемуся; я даже не питаю особенно враждебнаго чувства къ цензуръ, хотя она въ эти последние годы тяготела надъ Россиею, какъ истинное общественное бъдствіе. Признавая ея своевременность и относительную пользу, я главнымъ образомъ обвиняю ее въ томъ, что она, по моему мнѣнію, вполнъ неудовлетворительна для настоящей минуты, въ смыслъ нашихъ дъйствительныхъ нуждъ и дъйствительныхъ интересовъ. Впрочемъ вопросъ не въ томъ; онъ не



заключается въ мертвой буквъ регламентацій и инструкцій. которыя могутъ имъть значеніе только для мысли. ихъ оживляющей. Весь вопросъ зиждется на томъ, какимъ образомъ само правительство въ собственномъ сознаніи смотритъ на свои отношенія къ печати? Чтобы выразиться точнъе, онъ состоитъ въ той большей или меньшей долъ законности, признаваемой за каждою индивидуальною мыслью.

А теперь, чтобы выйти наконець изъ общихъ положеній и коснуться поближе настоящаго порядка вещей, позвольте мнѣ сказать вамъ со всею откровенностью письма вполнѣ конфиденціальнаго, что до тѣхъ поръ, покуда, правительство у насъ не измѣнитъ совершенно, во всемъ складѣ своихъ мыслей, своего взгляда на отношенія къ нему печати, покуда оно, такъ сказать, не отрѣшится отъ этого окончательно, до тѣхъ поръ ничто по истинѣ дѣйствительное не можетъ быть предпринято съ нѣкоторыми основаніями успѣха; и надежда пріобрѣсти вліяніе на умы съ помощью печати, такимъ образомъ направляемой, оставалась-бы постояннымъ заблужденіемъ.

А между тъмъ слъдовало-бы принять на себя ръшимость взглянуть на вопросъ, каковъ онъ есть, какимъ сдълали его обстоятельства. Нельзя предполагать, чтобы правительство не озабочивалось весьма искренно явленіемъ, возникшимъ нъсколько лътъ тому назадъ и стремящимся къ такому развитію, котораго значеніе и послъдствія никто въ настоящую минуту предвидъть не можеть. Вы понимаете, что я разумъю подъ этимъ основаніе Русской печати за границею, внъ всякаго контроля нашего правительства. Это явленіе безспорно важное, и даже весьма важное, заслуживающее самаго глубокаго вниманія. Былобы безполезно скрывать уже осуществившіеся успъхи этой литературной пропаганды. Намъ извъстно, что въ настоящую минуту Россія наводнена этими изданіями, что они переходять изъ рукъ въ руки съ величайшею быстротою въ обращении, что ихъ съ жадностью домогаются и что они уже проникли если и не въ народныя массы, которыя не читають, то по крайней мъръ въ весьма низкіе слои общества. Съ другой стороны нельзя не сознаться, что за исключеніемъ мъръ положительностъснительныхъ и тиранническихъ, было-бы весьма трудно существеннымъ образомъ воспрепятствовать какъ привозу и распространенію этихъ изданій, такъ равно и высылкъ за границу рукописей, предназначаемыхъ къ ихъ поддержкъ. И такъ, ръшимся признать истинные размъры, истинное назначение этого явления: это просто отмъна цензуры, но отмъна ея во имя вреднаго и враждебнаго вліянія и, чтобы лучше быть въ состояніи бороться съ нимъ, постараемся уяснить себъ, въ чемъ заключается его сила и чему оно обязано своими успъхами. До сихъ поръ, по поводу ръчи о заграничной Русской печати, разумъются только изданія Герцена. Какое значеніе имъетъ Герценъ для Россіи? Кто его читаетъ? Ужели его соціальныя утопіи и его революціонныя происки привлекаютъ къ нему ея вниманіе? Но среди читающихъ его людей съ нъкоторымъ умственнымъ развитіемъ найдутсяли двое на сто, которые-бы относились серіозно къ его ученію и не считали оное болье или менье невольною мономаніею, имъ овладъвшею? На дняхъ меня даже увъряли, что нъкоторыя личности, заинтересованныя въ его успъхъ, очень искренно убъждали его откинуть подальше эту революціонную оболочку, чтобы не ослабить вліянія,



которое они желали-бы упрочить за его изданіемъ. Не доказываеть-ли это, что газета Герцена служить для совершенно иного, чъмъ Россіи выраженіемъ чего-то исповъдуемыя ея издателемъ доктрины? Для чего-же отъ себя, ему даетъ значеніе и до-OTP скрывать ставляетъ вліяніе именно то, что онъ служитъ для насъ представителемъ свободы сужденія, правда на предосудительныхъ основаніяхъ, исполненныхъ непріязни и пристрастія, но тъмъ не менте на столько свободныхъ, (отчего въ томъ не сознаться?) чтобы вызывать на состязаніе и другія мивнія, болве разсудительныя, болве умвренныя и нъкоторыя изъ нихъ даже положительно разумныя. И теперь, какъ скоро мы убъдились, въ чемъ заключается тайна его силы и вліянія, намъ не трудно опредълить, какого свойства должно быть оружіе, которое мы должны употребить для противодъйствія ему. Очевидно, что газета, готовая принять на себя подобную задачу, могла-бы расчитывать на извёстную долю успёха лишь при условіяхъ своего существованія, нъсколько подходящихъ къ условіямъ своего противника. Вашему доброжелательному благоразумію предстоить решить, возможны-ли подобныя условія въ данномъ положеніи, вамъ лучше меня извъстномъ, и въ какой именно мъръ они осуществимы.

Безъ мальйшаго сомньнія издатели не имъли-бы недостатка ни въ талантахъ, ни въ усердіи, ни въ искреннихъ убъжденіяхъ; но стекаясь на призывъ, къ нимъ обращенный, они пожелали-бы прежде всего быть убъжденными, что они призываются не къ полицейскому труду, а къ дълу, основанному на довъріи, и потому они сочлибы себя въ правъ требовать для себя той доли свободы, которую предполагаеть и вынуждаеть всякое дъйствительно-серіозное и существенное преніе.

Благоволите взвёсить, въ какой мёрё тё вліятельныя лица, которыя приняли-бы на себя основаніе подобнаго изданія и покровительство его успёхамъ, согласились-бы вакрёпить за нимъ извёстную долю свободы ему необходимую; и не пришли-бы они быть можеть къ убёжденію, что изъ благодарности за оказанную поддержку и изъ особеннаго чувства уваженія къ своему привиллегированному положенію, это изданіе, на которое они отчасти смотрёли-бы какъ на свое собственное, было-бы обязано соблюдать еще большую сдержанность и умёренность, чёмъ всё другія изданія въ государствё.

Но это письмо слишкомъ длинно, и я спѣшу его окончить. Позвольте мнѣ только присовокупить въ заключеніе нѣсколько словъ, выражающихъ вкратцѣ всю мою мысль: приведеніе въ дѣйствіе того проэкта, который вамъ угодно было сообщить мнѣ, казалось-бы хотя и не легкимъ, но возможнымъ, если-бы всѣ мнѣнія, всѣ честныя и просвѣщенныя убѣжденія имѣли право образовать изъ себя, открыто и свободно, умственную и преданную дружину, на служеніе личнымъ вдохновеніямъ Государя? Примите и проч.

Ноябрь 1857 года.





приложение.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

въ подлинникъ.



Lettre à M. le Docteur Gustave Kolb, rédacteur de la "Gazette Universelle".

Monsieur le Rédacteur,

L'accueil que vous avez fait dernièrement à quelques observations que j'ai pris la liberté de vous adresser, ainsi que le commentaire modéré et raisonnable dont vous les avez accompagnées, m'ont suggéré une singulière idée. Que serait-ce, monsieur, si nous essayions de nous entendre sur le fond même de la question? Je n'ai pas l'honneur de vous connaître personnellement. En vous écrivant c'est donc à la «Gazette Universelle d'Augsbourg» que je m'adresse. Or, dans l'état actuel de l'Allemagne, la «Gazette d'Augsbourg» est quelque chose de plus, à mes yeux, qu'un journal. C'est la première de ses tribunes politiques... Si l'Allemagne avait le bonheur d'être une, son gouvernement pourrait à plusieurs égards adopter ce journal pour l'organe légitime de sa pensée. Voilà pourquoi je m'adresse à vous. Je suis Russe, ainsi que

j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, Russe de cœur et d'âme, profondément dévoué à mon pays, en paix avec mon gouvernement et, de plus, tout à fait indépendant par ma position. C'est donc une opinion russe, mais libre et parfaitement désintéressée, que j'essayerai d'exprimer ici... Cette lettre, comprenez-moi bien, s'adresse plus encore à vous, monsieur, qu'au public. Toutefois vous pouvez en faire tel usage qu'il vous plaira. La publicité m'est indifférente. Je n'ai pas plus de raisons de l'éviter que de la rechercher.... Et ne craignez pas, monsieur, qu'en ma qualité de Russe, je m'engage à mon tour dans la pitoyable polémique qu'a soulevée dernièrement un pitoyable pamphlet. Non, monsieur, cela n'est pas assez sérieux.

...Le livre de M. de Custine est un témoignage de plus de ce dévergondage de l'esprit, de cette démoralisation intellectuelle, trait caractéristique de notre époque, en France surtout, qui fait qu'on se laisse aller à traiter les questions les plus graves et les plus hautes, bien meins avec la raison qu'avec les nerfs, qu'on se permet de juger un monde avec moins de sérieux qu'on n'en mettait autrefois à faire l'analyse d'un vaudeville. Quant aux adversaires de M. de Custine, aux soi-disant défenseurs de la Russie, ils sont certainement plus sincères, mais ils sont bien niais. Ils me font l'effet de gens qui, par un excès de zèle, ouvriraient précipitamment leur parasol pour protéger contre l'ardeur du jour la cime du Mont-Blanc... Non, monsieur, ce n'est pas de l'apologie de la Russie qu'il sera question dans cette lettre. L'apologie de la Russie!... Eh, mon Dieu, c'est un plus grand maître que nous tous qui s'est chargé de cette tâche et qui, ce me semble, s'en est jusqu'à présent assez glorieusement acquitté. Le véritable apologiste de la Russie c'est l'Histoire, qui depuis trois siècles ne se lasse pas de lui faire gagner tous les procès dans lesquels elle a successivement engagé ses mystérieuses destinées... En m'adressant à vous, monsieur, c'est de vous-même, de votre propre pays, que je prétends vous entretenir, de ses intérêts les plus essentiels, les plus évidents, et s'il est question de la Russie ce ne sera que dans ses rapports immédiats avec les destinées de l'Allemagne.

A aucune époque, je le sais, les esprits en Allemagne n'ont été aussi préoccupés qu'ils le sont de nos jours du grand problème de l'unité germanique. Eh bien, monsieur, vous surprendrai-je beaucoup, vous, sentinelle vigilante et avancée, si je vous disais qu'au beau milieu de cette préoccupation générale, un œil un peu attentif pourrait signaler bien des tendances qui, si elles venaient à grandir, compromettraient terriblement cette œuvre de l'unité à laquelle tout le monde a l'air de travailler. Il y en a une surtout fatale entre toutes... Je ne dirai rien qui ne soit dans la pensée de tout le monde, et cependant je ne pourrais pas dire un mot de plus, sans toucher à des questions brûlantes; mais j'ai la croyance que de nos jours, comme au moyenàge, quand on a les mains pures et les intentions droites, on peut impunément toucher à tout....

Vous savez, monsieur, quelle est la nature des rapports qui unissent depuis trente ans les gouvernements de l'Allemagne, grands et petits, à la Russie. Ici je ne vous demande pas ce que pensent de ces rapports telle ou telle opinion, tel ou tel parti; il s'agit d'un fait. Or le fait est que jamais ces rapports n'ont été plus bienveillants, plus intimes, que jamais entente plus sincèrement cordiale n'a existé entre ces différents gouvernements et la Russie. Monsieur, pour

avant dans la direction la plus opposée à celle qu'ils réprouvent, et c'est ainsi que, tout en continuant à parler de l'unité de l'Allemagne, ils s'approcheront, les yeux toujours tournés vers l'Allemagne, ils s'approcheront pour ainsi dire à reculons vers la pente fatale, vers la pente de l'abîme, où votre patrie a déjà glissé plus d'une fois. Je sais bien, monsieur, que tant que nous conserverons la paix, le péril que je signale ne sera qu'imaginaire; mais vienne la crise, cette crise dont le pressentiment pèse sur l'Europe, viennent ces jours d'orage. qui mûrissent tout en quelques heures, qui poussent toutes les tendances à leurs conséquences les plus extrêmes, qui arrachent leur dernier mot à toutes les opinions, à tous les partis... monsieur, qu'arrivera-t-il alors? Serait-il donc vrai qu'il y ait pour les nations plus encore que pour les individus une fatalité inexorable, inexpiable? Faut-il croire qu'il y ait en elles des tendances plus fortes que toute leur volonté, que toute leur raison, des maladies organiques que nul art. nul régime ne peuvent conjurer?... En serait-il ainsi de cette terrible tendance au déchirement que l'on voit, comme un phénix de malheur, renaître à toutes les grandes époques de l'histoire de votre noble patrie? Cette tendance, qui a éclaté au moyen-âge par le duel impie et anti-chrétien du sacerdoce et de l'Empire, qui a déterminé cette lutte parricide entre l'empereur et les princes, puis, un moment affaiblie par l'épuisement de l'Allemagne, est venue se retremper et se rajeunir dans la Réformation, et, après avoir accepté d'elle une forme définitive et comme une conjuration légale, s'est remise à l'œuvre avec plus de zèle que jamais, adoptant tous les drapeaux, épousant toutes les causes, toujours la même sous des noms différents jusqu'au moment où, parvenue à la crise décisive de la guerre de Trente Ans, elle appelle à son secours l'étranger, d'abord la Suède, puis s'associe définitivement l'ennemi, la France, et, grâce à cette association de forces, achève glorieusement en moins de deux siècles la mission de mort dont elle était chargée.

Ce sont là de funestes souvenirs! Comment se fait-il qu'en présence de souvenirs pareils vous ne vous sentiez pas plus alarmé par tout symptôme qui annonce un antagonisme naissant dans les dispositions de votre pays? Comment ne vous demandez-vous pas avec effroi si ce n'est pas là le réveil de votre ancienne, de votre terrible maladie?

Les trente années qui viennent de s'écouler peuvent assurément être comptées parmi les plus belles de votre histoire; depuis les grands règnes de ses empereurs saliques jamais de plus beaux jours n'avaient lui sur l'Allemagne; depuis bien des siècles l'Allemagne ne s'était aussi complètement appartenu, ne s'était sentie aussi une, aussi elle-même; depuis bien des siècles elle n'avait eu vis-à-vis de son éternelle rivale une attitude plus forte, plus imposante. Elle l'a tenue en échec sur tous les points. Voyez vous-même: au delà des Alpes vos plus glorieux empereurs n'ont jamais exercé une autorité plus réelle que celle qu'y exerce maintenant une puissance allemande. Le Rhin est redevenu allemand de cœur et d'âme; la Belgique, que la dernière secousse européenne semblait devoir précipiter dans les bras de la France, s'est arrêtée sur la pente, et maintenant il est évident qu'elle remonte vers vous; le cercle de Bourgogne se reforme, la Hollande tôt ou tard ne saurait manquer de vous revenir. Telle a donc été l'issue définitive du grand duel engagé il y a plus de deux siècles entre la France et vous; vous avez pleinement triomphé, vous avez eu le dernier mot. Et cependant, convenez-en: pour qui avait assisté à cette lutte depuis



son origine, pour qui l'avait suivie à travers toutes ses phases, à travers toutes ses vicissitudes, jusqu'à la veille du jour suprême et décisif, il eût été difficile de prévoir une pareille issue; les apparences n'étaient pas pour vous, les chances n'étaient pas en votre faveur. Depuis la fin du moyenâge, malgré quelque temps d'arrêt, la puissance de la France n'avait cessé de grandir, en se concentrant et en se disciplinant, et c'est à partir de cette époque que l'Empire, grâce à sa scission religieuse, est entré dans son dernier période, dans le période de sa désorganisation légale; les victoires même que vous remportiez étaient stériles pour vous, car ces victoires n'arrêtaient pas la désorganisation intérieure, où souvent même elles ne faisaient que la précipiter. Sous Louis XIV, bien que le grand roi eût échoué, la France triompha, son influence domina souverainement l'Allemagne; enfin vint la Révolution, qui, après avoir extirpé de la nationalité française jusqu'aux derniers vestiges de ses origines, de ses affinités germaniques, après avoir rendu à la France son caractère exclusivement romain, engagea contre l'Allemagne, contre le principe même de son existence, une dernière lutte, une lutte à mort; et c'est au moment où le soldat couronné de cette Révolution faisait représenter sa parodie de l'empire de Charlemagne sur les débris mêmes de l'empire fondé par Charlemagne, obligeant pour dernière humiliation les peuples de l'Allemagne d'y jouer aussi leur rôle, c'est dès ce moment suprême que la péripétie eut lieu, et que tout fut changé.

Comment s'était-elle faite, cette prodigieuse péripétie? Par qui? Par quoi avait-elle été amenée?... Elle a été amenée par l'arrivée d'un tiers sur le champ de bataille de l'Occident européen; mais ce tiers, c'était tout un monde...

Ici, monsieur, pour nous entendre, il faut que vous me permettiez une courte digression. On parle beaucoup de la Russie; de nos jours elle est l'objet d'une ardente, d'une inquiète curiosité. Il est clair qu'elle est devenue une des grandes préoccupations du siècle; mais, bien différent des autres problèmes qui le passionnent, celui-ci, il faut l'avouer, pèse sur la pensée contemporaine, plus encore qu'il ne l'excite... Et il ne pouvait en être autrement: la pensée contemporaine, fille de l'Occident, se sent là en présence d'un élément sinon hostile, du moins décidément étranger, d'un élément qui ne relève pas d'elle, et l'on dirait qu'elle a peur de se manquer à elle-même, de mettre en cause sa propre légitimité, si elle acceptait comme pleinement légitime la question qui lui est posée, si elle s'appliquait sérieusement, consciencieusement à la comprendre et à la résoudre... Qu'est-ce que la Russie? Quelle est sa raison d'être, sa loi historique? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Que représente-t-elle? Le monde, il est vrai, lui a fait une place au soleil; mais la philosophie de l'histoire n'a pas encore daigné lui en assigner une. Quelques rares intelligences, deux ou trois en Allemagne, une ou deux en France, plus libres, plus avancées que le gros de l'armée, ont bien entrevu le problème, ont bien soulevé un coin du voile, mais leurs paroles jusqu'à présent ont été peu comprises, ou peu écoutées.

Pendant longtemps la manière dont on a compris la Russie dans l'Occident a ressemblé, à quelques égards, aux premières impressions des contemporains de Colomb. C'était la même erreur, la même illusion d'optique. Vous savez que pendant longtemps les hommes de l'ancien continent, tout en applaudissant à l'immortelle découverte, s'étaient obstiné-

ment refusés à admettre l'existence d'un continent nouveau; ils trouvaient plus simple et plus rationnel de supposer que les terres qui venaient de leur être révélées n'étaient que l'appendice, le prolongement du continent qu'ils connaissaient déjà. Ainsi en a-t-il été des idées qu'on s'est longtemps faites de cet autre nouveau monde, l'Europe orientale, dont la Russie a de tout temps été l'âme, le principe moteur et auquel elle était appelée à imposer son glorieux nom, pour prix de l'existence historique que ce monde a déjà reçue d'elle, ou qu'il en attend. Pendant des siècles, l'Occident européen avait cru avec une bonne foi parfaite qu'il n'y avait point, qu'il ne pouvait pas y avoir d'autre Europe que lui. Il savait, à la vérité, qu'au delà de ses frontières il y avait encore des peuples, des souverainetés, qui se disaient chrétiens; aux temps de sa puissance il avait même entamé les bords de ce monde sans nom, il en avait arraché quelques lambeaux qu'il s'était incorporés tant bien que mal, en les dénaturant, en les dénationalisant; mais que, par delà cette limite extrême, il y eût une autre Europe, une Europe orientale, sœur bien légitime de l'Occident chrétien, chrétienne comme lui, point féodale, point hiérarchique, il est vrai, mais par là même plus intimement chrétienne; qu'il y eût là tout un monde, un dans son principe, solidaire de ses parties, vivant de sa vie propre, organique, originale: voilà ce qu'il était impossible d'admettre, voilà ce que bien des gens aimeraient à révoquer en doute, même de nos jours... Longtemps l'erreur avait été excusable; pendant des siècles le principe moteur était resté comme enseveli sous le chaos: son action avait été lente et presque imperceptible; un épais nuage enveloppait cette lente élaboration d'un monde. Mais enfin, quand les temps furent accomplis, la main d'un géant

abattit le nuage, et l'Europe de Charlemagne se trouva face à face avec l'Europe de Pierre le Grand.

Ceci une fois reconnu, tout devient clair, tout s'explique: on comprend maintenant la véritable raison de ces rapides progrès, de ces prodigieux accroissements de la Russie, qui ont étonné le monde. On comprend que ces prétendues conquêtes, ces prétendues violences ont été l'œuvre la plus organique et la plus légitime que jamais l'histoire ait réalisée, c'était tout bonnement une immense restauration qui s'accomplissait. On comprendra aussi pourquoi on a vu successivement périr et s'effacer sous sa main tout ce que la Russie a rencontré sur sa route de tendances anormales, de pouvoirs et d'institutions infidèles au grand principe qu'elle représentait, pourquoi la Pologne a dû périr, non pas l'originalité de sa race polonaise, à Dieu ne plaise, mais la fausse civilisation, la fausse nationalité, qui lui avaient été imputées. C'est aussi de ce point de vue que l'on appréciera le mieux la véritable signification de ce qu'on appelle la question d'Orient, de cette question que l'on affecte de proclamer insoluble, précisément parce que tout le monde en a depuis longtemps prévu l'inévitable solution. Il s'agit en effet de savoir si l'Europe orientale, déjà aux trois quarts constituée, si ce véritable empire de l'Orient, dont le premier, celui des césars de Byzance, des anciens empereurs orthodoxes, n'avait été qu'une faible et imparfaite ébauche, si l'Europe orientale recevra ou non son dernier, son plus indispensable complément, si elle l'obtiendra par le progrès naturel des choses, ou si elle se verra forcée de le demander à la fortune par les armes, au risque des plus grandes calamités pour le monde. Mais revenons à notre sujet.

Voilà, monsieur, quel était le tiers dont l'arrivée sur le théâ-



tre des événements a brusquement décidé le duel séculaire de l'Occident européen; la seule apparition de la Russie dans vos rangs y a ramené l'unité, et l'unité vous a donné la victoire.

Et maintenant, pour se rendre un compte vrai de la situation actuelle des choses, on ne saurait assez se pénétrer d'une vérité, c'est que depuis cette intervention de l'Orient constituée dans les affaires de l'Occident, tout est changé en Europe: jusque-là vous y étiez à deux, maintenant nous y sommes à trois. Les longues luttes y sont devenues impossibles.

De l'état actuel des choses peuvent sortir les trois combinaisons suivantes, les seules possibles désormais. L'Allemagne, alliée fidèle de la Russie, gardera sa prépondérance au centre de l'Europe; ou bien cette prépondérance passerait aux mains de la France. Or, savez-vous, monsieur, ce que serait pour vous la prépondérance aux mains de la France? Ce serait, sinon la mort subite, au moins le dépérissement certain de l'Allemagne. Reste la troisième combinaison, celle qui sourirait peut-être le plus à certaines gens: l'Allemagne alliée à la France contre la Russie... Hélas, monsieur, cette combinaison a déjà été essayée en 1812 et, comme vous savez, elle a eu peu de succès. D'ailleurs je ne pense pas qu'après l'issue des trente années qui viennent de s'écouler, l'Allemagne fût d'humeur à accepter les conditions d'existence d'une nouvelle confédération du Rhin: car toute alliance intime avec la France ne peut jamais être que cela pour l'Allemagne, et savez-vous, monsieur, ce que la Russie a entendu faire, lorsque, intervenant dans cette lutte engagée entre les deux principes, les deux grandes nationalités qui depuis des siècles se disputaient l'Occident européen, elle l'a décidée

au profit de l'Allemagne, du principe germanique? Elle a voulu donner gain de cause une fois pour toutes au droit, à la légitimité historique, sur le procédé révolutionaire. Et pourquoi a-t-elle voulu cela? Parce que le droit, la légitimité historique, c'est sa cause à elle, sa cause propre, la cause de son avenir, c'est là le droit qu'elle réclame pour elle-même et pour les siens. Il n'y a que la plus aveugle ignorance, celle qui ferme volontairement les yeux à la lumière, qui puisse encore méconnaître cette grande vérité, car enfin n'est-ce pas au nom de ce droit, de cette légitimité historique, que la Russie a relevé toute une race, tout un monde de sa déchéance, qu'elle l'a appelé à vivre de sa vie propre, qu'elle lui a rendu son autonomie, qu'elle l'a constituée? Et c'est aussi au nom de ce même droit qu'elle saura bien empêcher que les faiseurs d'expériences politiques ne viennent arracher ou escamoter des populations entières à leur centre d'unité vivante, pour pouvoir ensuite plus aisément les tailler et les façonner comme des choses mortes, au gré de leurs mille fantaisies, qu'ils ne viennent en un mot détacher des membres vivants du corps auquel ils appartiennent, sous prétexte de leur assurer par là une plus grande liberté de mouvement...

L'immortel honneur du Souverain qui est maintenant sur le trône de Russie, c'est de s'être fait plus pleinement, plus énergiquement qu'aucun de ses devanciers le représentant intelligent et inflexible de ce droit, de cette légitimité historique. Une fois que son choix a été fait, l'Europe sait si depuis trente ans la Russie y est restée fidèle. On peut affirmer, l'histoire à la main, qu'il serait bien difficile de trouver dans les annales politiques du monde un second exemple d'une alliance aussi profondément morale que celle

qui unit depuis trente ans les souverains de l'Allemagne à la Russie, et c'est ce grand caractère de moralité qui l'a fait durer, qui l'a aidée à résoudre bien des difficultés, à surmonter bien des obstacles, et maintenant, après l'épreuve des bons et des mauvais jours, cette alliance a triomphé d'une dernière épreuve, la plus significative de toutes: l'inspiration qui l'avait fondée s'est transmise, sans choc et sans altération, des premiers fondateurs à leurs héritiers.

Eh bien, monsieur, demandez à vos gouvernements si depuis ces trente années la sollicitude de la Russie pour les grands intérêts politiques de l'Allemagne s'est démentie un seul instant? Demandez aux hommes qui ont été dans les affaires si mainte fois et sur bien des questions cette sollicitude n'a pas devancé vos propres inspirations patriotiques? Vous voilà depuis quelques années vivement préoccupés en Allemagne de la grande question de l'unité germanique. Il n'en a pas toujours été ainsi, vous le savez. Moi qui depuis longtemps demeure parmi vous, je pourrais au besoin me rappeler l'époque précise où cette question a commencé à passionner les esprits; assurément il était peu question de cette unité, au moins dans la presse, à l'époque où il n'y avait pas de feuille libérale qui ne se crût obligée en conscience de saisir chaque occasion d'adresser à l'Autriche et à son gouvernement les mêmes injures que l'on prodigue maintenant à la Russie... C'est donc là une préoccupation très louable, très légitime à coup sûr, mais d'une date assez récente. La Russie, il est vrai, n'a jamais prêché l'unité de l'Allemagne; mais depuis trente ans elle n'a cessé dans toutes les occasions et sur tous les tons de recommander à l'Allemagne l'union, la concorde, la confiance réciproque, la subordination volontaire des intérêts particuliers à la grande

cause de l'intérêt général, et ces conseils, ces exhortations, elle ne s'est pas lassée de les reproduire, de les multiplier, avec toute cette énergique franchise d'un zèle qui se sait parfaitement désintéressé.

Un livre qui a eu, il y a quelques années, un grand retentissement en Allemagne et auquel on a bien faussement attribué une origine officielle, a semblé accréditer parmi vous l'opinion que la Russie, à une certaine époque, aurait eu pour système de s'attacher plus particulièrement les Etats allemands de second ordre au préjudice de l'influence légitime des deux grands Etats de la Confédération. Jamais supposition n'a été plus gratuite, et même, il faut le dire, plus contraire de tout point à la réalité. Consultez là-dessus les hommes compétents, ils vous diront ce qui en est; peut-être vous diront-ils que dans sa constante préoccupation d'assurer avant tout l'indépendance politique de l'Allemagne, la diplomatie russe s'est exposée quelquefois à froisser d'excusables susceptibilités, en recommandant avec trop d'insistance aux petites cours d'Allemagne une adhésion à toute épreuve au système des deux grandes puissances. Ce serait peut-être ici le lieu d'apprécier à sa juste valeur une autre accusation mille fois reproduite contre la Russie et qui n'en est pas plus vraie. Que n'a-t-on pas dit pour faire croire que c'est son influence avant tout qui a contrarié en Allemagne le développement du régime constitutionnel? En thèse générale il est souverainement déraisonnable de chercher à transformer la Russie en adversaire systématique de telle ou telle forme de gouvernement; et comment, grand Dieu, serait-elle devenue ce qu'elle est, comment exerceraitelle sur le monde l'influence qui lui appartient, avec une pareille étroitesse de ses idées? Ensuite, dans le cas spécial

dont il s'agit, il est rigoureusement vrai de dire que la Russie s'est toujours énergiquement prononcée pour le maintien loyal des institutions établies, pour le respect religieux des engagements contractés; après cela il est très possible qu'elle ait pensé qu'il ne serait pas prudent, dans l'intérêt le plus vital de l'Allemagne (celui de son unité) de donner dans les Etats constitutionnels de la Confédération à la prérogative parlementaire la même extension qu'elle a, par exemple, en Angleterre, en France; que si, même à présent, il n'était pas toujours facile d'établir entre les Etats cet accord, cette intelligence parfaite, que nécessite une action collective, le problème deviendrait tout bonnement insoluble dans une Allemagne dominée, c'est-à-dire divisée par une demi-douzaine de tribunes parlementaires souveraines. C'est là une de ces vérités acceptées à l'heure qu'il est par tous les bons esprits en Allemagne. Le tort de la Russie serait de l'avoir comprise une dizaine d'années plus tôt.

Maintenant, si de ces questions de l'intérieur nous passions à la situation du dehors, vous parlerai-je, monsieur, de la révolution de Juillet et des conséquences probables qu'elle devait avoir pour votre patrie et qu'elle n'a pas eues? Ai-je besoin de vous dire que le principe de cette explosion, que l'âme même de ce mouvement c'était avant tout le besoin d'une revanche éclatante contre l'Europe, et principalement contre vous, c'était l'irrésistible besoin de ressaisir cette prépondérance de l'Occident, dont la France avait si longtemps joui et qu'elle voyait avec dépit fixée depuis trente ans dans vos mains? Je rends assurément toute justice au roi des Français, j'admire son habileté, je souhaite une longue vie à lui et à son système... Mais que serait-il arrivé, monsieur, si, chaque fois que le gouvernement français a essayé depuis

1835 de porter ses regards par-dessus l'horizon de l'Allemagne, il n'avait pas constamment rencontré sur le trône de Russie la même attitude ferme et décidée, la même réserve, la même froideur, et surtout la même fidélité à toute épreuve aux alliances établies, aux engagements contractés? S'il avait pu surprendre un seul instant de doute, d'hésitation, ne pensez-vous pas que le Napoléon de la paix lui-même se serait finalement lassé de retenir toujours cette France, frémissante sous sa main, et qu'il l'aurait laissée aller?... Et que serait-ce, s'il avait pu compter sur de la connivence?...

Monsieur, je me trouvais en Allemagne à l'époque où M. Thiers, cédant à une impulsion pour ainsi dire instinctive, se disposait à faire ce qui lui paraissait la chose du monde la plus simple et la plus naturelle, c'est-à-dire à se venger sur l'Allemagne des échecs de sa diplomatie en Orient; j'ai été témoin de cette explosion, de la colère vraiment nationale que cette naïve insolence avait provoquée parmi vous, et je me félicite de l'avoir vue; depuis j'ai toujours entendu avec beaucoup de plaisir chanter le Rheinlied. Mais, monsieur, comment se fait-il que votre presse politique qui sait tout, qui sait par exemple le chiffre exact de tous les coups de poing qui s'échangent sur la frontière de Prusse entre les douaniers russes et les contrebandiers prussiens, comment, dis-je, n'a-t-elle pas su ce qui s'est passé à cette époque entre les cours d'Allemagne et la Russie? Comment n'a-t-elle pas su, ou ne vous a-t-elle pas informé qu'à la première démonstration d'hostilité de la part de la France, 80,000 hommes de troupes russes devaient marcher au sede votre indépendance menacée, et que 200,000 cours hommes les auraient suivis dans les six semaines? Eh bien, monsieur, cette circonstance n'est pas restée ignorée à Paris,

peut-être penserez-vous comme moi, quel que soit d'ailleurs de cas que je fasse du Rheinlied, qu'elle n'a pas peu contribué à décider la vieille Marseillaise à battre si promptement en retraite devant sa jeune rivale.

J'ai nommé la presse. Ne croyez pas, monsieur, que j'aie des préventions systématiques contre la presse allemande. ou que je lui garde rancune de son inexprimable malveillance à notre égard. Il n'en est rien, je vous assure; je suis très disposé à lui faire honneur des bonnes qualités qu'elle a, et j'aimerais bien pouvoir attribuer en partie au moins ses torts et ses aberrations au régime exceptionnel sous lequel elle vit. Ce n'est certes ni le talent, ni les idées, ni même le patriotisme qui manquent à votre presse périodique; à beaucoup d'égards elle est la fille légitime de votre noble et grande littérature, de cette littérature qui a restauré parmi vous le sentiment de votre identité nationale. Ce qui manque à votre presse, et cela à un degré compromettant, c'est le tact politique, l'intelligence vive et sûre de la situation donnée, du milieu réel dans lequel elle vit. Aussi remarque-t-on, dans ses manifestations comme dans ses tendances, je ne sais quoi d'imprévoyant, d'inconsidéré, en un mot de moralement irresponsable qui provient peut-être de cet état de minorité prolongée où on la retient.

Comment s'expliquer en effet, si ce n'est par cette conscience de son irresponsabilité morale, cette hostilité ardente, aveugle, forcenée, à laquelle elle se livre depuis des années à l'égard de la Russie? Pourquoi? Dans quel but? Au profit de quoi? A-t-elle l'air d'avoir une seule fois sérieusement examiné, au point de vue de l'intérêt politique de l'Allemagne, les conséquences possibles, probables, de ce qu'elle faisait? S'est-elle une seule fois sérieusement demandé si, en



s'appliquant comme elle le fait depuis des années, avec cet incrovable acharnement, à aigrir, à envenimer, à compromettre sans retour les dispositions réciproques des deux pays, elle ne travaillait pas à ruiner par sa base le système d'alliance sur lequel repose la puissance relative de l'Allemagne vis-à-vis de l'Europe? Si, à la combinaison politique la plus favorable que l'histoire eût réalisée jusqu'à présent pour votre patrie, elle ne cherchait par tous les moyens en son pouvoir de substituer la combinaison la plus décidément funeste? Cette pétulante imprévoyance ne vous rappelle-t-elle pas, monsieur, à la gentillesse près toutefois, une espièglerie de l'enfance de votre grand Gœthe, si gracieusement racontée dans ses mémoires? Vous vous souvenez de ce jour où le petit Wolfgang, resté seul dans la maison paternelle, n'a pas cru pouvoir mieux utiliser le loisir que l'absence de ses parents lui avait fait, qu'en faisant passer successivement par la fenêtre tous les ustensiles du ménage de sa mère qui lui tombaient sous la main, s'amusant et se réjouissant beaucoup du bruit qu'ils faisaient en tombant et en se brisant sur le pavé? Il est vrai qu'il y avait dans la maison vis-à-vis un méchant voisin qui par ses encouragements provoquait l'enfant à continuer l'ingénieux passe-temps; mais vous, monsieur, vous n'avez pas même l'excuse d'une provocation semblable....

Encore si dans tout ce débordement de déclamation haineuse contre la Russie on pouvait découvrir un motif sensé, un motif avouable pour justifier tant de haine! Je sais que je trouverai au besoin des fous qui viendront me dire le plus sérieusement possible: « Nous devons vous haïr; votre prin« cipe, le principe même de votre civilisation, nous est anti« pathique à nous autres Allemands, à nous autres Occiden-

« taux; vous n'avez eu ni Féodalité, ni Hiérarchie Pontificale; vous n'avez passé ni par les guerres du Sacerdoce et de « l'Empire, ni par les guerres de Religion, ni même par « l'Inquisition; vous n'avez pas pris part aux Croisades, vous « n'avez pas connu la Chevalerie, vous êtes arrivé il y a « quatre siècles à l'unité que nous cherchons encore, votre « principe ne fait pas une part assez large à la liberté de « l'individu, il n'autorise pas assez la division, le morcelle-« ment ». Tout cela est vrai; mais tout cela, soyez juste, nous a-t-il empêché de vous aider bravement et loyalement dans l'occasion, lorsqu'il s'est agi de revendiquer, de reconquérir votre indépendance politique, votre nationalité, et maintenant n'est-ce pas le moins que vous puissiez faire, que de nous pardonner la nôtre? Parlons sérieusement, car la chose en vaut la peine. La Russie ne demande pas mieux que de respecter votre légitimité historique, la légitimité historique des peuples de l'Occident; elle s'est dévouée avec vous, il y a trente ans à peine, à la relever de sa chute, à la replacer sur sa base; elle est donc très disposée à la respecter non-seulement dans son principe, mais même dans ses conséquences les plus extrêmes, même dans ses écarts, même dans ses défaillances; mais vous aussi, apprenez à votre tour à nous respecter dans notre unité et dans notre force.

Viendrait-on me dire que ce sont les imperfections de notre régime social, les vices de notre administration, la condition de nos classes inférieures, etc., etc., que c'est tout cela qui irrite l'opinion contre la Russie? Eh quoi, serait-ce vrai? Et moi qui croyais tout à l'heure avoir à me plaindre d'un excès de malveillance, me verrai-je obligé maintenant de protester contre une exagération de sympathie? Car enfin,

nous ne sommes pas seuls au monde, et si vous avez en effet un fonds aussi surabondant de sympathie humaine, et que vous ne trouviez pas à le placer chez vous et au profit des vôtres, ne serait-il pas juste au moins que vous le répartissiez d'une manière plus équitable entre les différents peuples de la terre? Tous, hélas, ont besoin qu'on les plaigne; voyez l'Angleterre par exemple, qu'en dites-vous? Voyez sa population manufacturière; voyez l'Irlande, et si vous étiez à même d'établir en parfaite connaissance le bilan respectif des deux pays, si vous pouviez peser dans des balances équitables les misères qu'entraînent à leur suite la barbarie russe et civilisation anglaise, peut-être trouveriez-vous plus de singularité que d'exagération dans l'assertion de cet homme qui, également étranger aux deux pays, mais les connaissant tous deux à fond, affirmait avec une conviction entière « qu'il y avait dans le Royaume-Uni un million d'hommes, au moins, qui gagneraient beaucoup à être envoyés en Sibérie ...

Ah, monsieur, pourquoi faut-il que vous autres Allemands, qui avez sur vos voisins d'outre-Rhin une supériorité morale incontestable à tant d'égards, pourquoi faut-il que vous ne puissiez pas leur emprunter un peu de ce bon sens pratique, de cette intelligence vive et sûre de leurs intérêts, qui les distinguent? Eux aussi ils ont une presse, des journaux, qui nous invectivent, qui nous déchirent à qui mieux mieux, sans relâche, sans mesure, sans pudeur. Voyez par exemple cette hydre aux cent têtes de la presse parisienne, toutes lançant feu et flamme contre nous. Quelles fureurs! Quels éclats! Quel tapage!... Eh bien, qu'on acquière anjourd'hui même la certitude, à Paris, que ce rapprochement si ardemment convoité est en train de se faire, que les avances si souvent reproduites ont enfin été accueillies, et dès demain

vous verrez tout ce bruit de haine tomber, toute cette brillante pyrotechnie d'injures s'évanouir, et de ces cratères éteints, de ces bouches pacifiées vont sortir, avec le dernier flocon de fumée, des voix diversement modulées, mais toutes également mélodieuses, célébrant, à l'envi l'une de l'autre, notre heureuse réconciliation.

Mais cette lettre est trop longue, il est temps de finir. Permettez-moi, monsieur, en finissant de résumer en peu de mots ma pensée.

Je me suis adressé à vous, sans autre mission que celle que je tiens de ma conviction libre et personnelle. Je ne suis aux ordres de personne, je ne suis l'organe de personne; ma pensée ne relève que d'elle-même. Mais j'ai certainement tout lieu de croire que si le contenu de cette lettre était connu en Russie, l'opinion publique n'hésiterait pas à l'avouer. — L'opinion russe jusqu'à présent ne s'est que médiocrement émue de toutes ces clameurs de la presse allemande, non pas que l'opinion, non pas que les sentiments de l'Allemagne lui parussent une chose indifférente, bien certainement non... mais toutes ces violences de la parole, tous ces coups de fusil tirés en l'air, à l'intention de la Russie, il lui répugnait de prendre tout ce bruit au sérieux; elle n'y a vu tout au plus qu'un divertissement de mauvais goût... L'opinion russe se refuse décidément à admettre qu'une nation grave, sérieuse, loyale, profondément équitable, telle enfin que le monde a connu l'Allemagne à toutes les époques de son histoire, que cette nation, dis-je, ira dépouiller sa nature, pour en révéler une autre faite à l'image de quelques esprits fantasques ou brouillons, de quelques déclamateurs passionnés ou de mauvaise foi; que, reniant le passé, méconnaissant le présent et compromettant l'avenir, l'Allemagne consentira à accueillir, à nourrir un mauvais sentiment, un sentiment indigne d'elle, simplement pour avoir le plaisir de faire une grande bévue politique. Non, c'est impossible!

Je me suis adresse à vous, monsieur, parce que, ainsi que je l'ai reconnu, la «Gazette Universelle» est plus qu'un journal pour l'Allemagne; c'est un pouvoir, et un pouvoir qui, je le déclare bien volontiers, réunit à un haut degré le sentiment national et l'intelligence politique: c'est au nom de cette double autorité que j'ai essayé de vous parler.

La disposition d'esprit que l'on a créée, que l'on cherche à propager en Allemagne à l'égard de la Russie, n'est pas encore un danger; mais elle est bien près de le devenir.... Cette disposition d'esprit ne changera rien, j'en ai la conviction, aux rapports actuellement existants entre les gouvernements allemands et la Russie; mais elle tend à fausser de plus en plus la conscience publique sur une des questions les plus graves qu'il y ait pour une nation, sur la question de ses alliances... Elle tend, en présentant sous les couleurs les plus mensongères la politique la plus nationale que l'Allemagne ait jamais suivie, à jeter la division dans les esprits, à pousser les plus ardents, les plus inconsidérés dans des voies pleines de péril, dans des voies où la fortune de l'Allemagne s'est déjà fourvoyée plus d'une fois... Qu'une crise éclate en Europe, que la querelle séculaire, décidée il y a trente ans en votre faveur, vienne à se rallumer, la Russie certainement ne manquera pas à vos souverains, pas plus que ceux-ci ne manqueront à la Russie; mais c'est alors aussi qu'on aura probablement à récolter ce que l'on sème aujourd'hui: la division des esprits aura porté ses fruits, et ces fruits pourraient être amers pour l'Allemagne; ce seraient, je le crains bien, de nouvelles défections et des déchirements nouveaux. Et alors, monsieur, vous auriez trop cruellement expié le tort d'avoir été un moment injuste envers nous.

Voilà, monsieur, ce que j'avais à vous dire. Vous ferez de ma parole l'usage qui vous paraîtra le plus convenable. Agréez, etc.

1844.

La Russie et la Révolution.

Pour comprendre de quoi il s'agit dans la crise suprême où l'Europe vient d'entrer, voici ce qu'il faudrait se dire. Depuis longtemps il n'y a plus en Europe que deux puissances réelles: « la Révolution et la Russie ». — Ces deux puissances sont maintenant en présence, et demain peut-être elles seront aux prises. Entre l'une et l'autre il n'y a ni traité, ni transaction possibles. La vie de l'une est la mort de l'autre. De l'issue de la lutte engagée entre elles, la plus grande des luttes dont le monde ait été témoin, dépend pour des siècles tout l'avenir politique et religieux de l'humanité.

Le fait de cet antagonisme éclate maintenant à tous les yeux, et cependant, telle est l'inintelligence d'un siècle hébété par le raisonnement, que tout en vivant en présence de ce fait immense, la génération actuelle est bien loin d'en avoir saisi le véritable caractère et apprécié les raisons.

Jusqu'à présent c'est dans une sphère d'idées purement politiques qu'on en a cherché l'explication; c'est par des différences de principes d'ordre purement humain qu'on avait essayé de s'en rendre compte. Non, certes, la querelle qui divise la Révolution et la Russie tient à des raisons bien autrement profondes; elles peuvent se résumer en deux mots.

La Russie est avant tout l'empire chrétien; le peuple chrétien non-seulement par l'orthodoxie de ses russe est croyances, mais encore par quelque chose de plus intime encore que la croyance. Il l'est par cette faculté de renoncement et de sacrifice qui fait comme le fond de sa nature morale. La Révolution est avant tout anti-chrétienne. L'esprit anti-chrétien est l'âme de la Révolution; c'est là son caractère propre, essentiel. Les formes qu'elle a successivement revêtues, les mots d'ordre qu'elle a tour à tour adoptés, tout, jusqu'à ses violences et ses crimes, n'a été qu'accessoire ou accidentel; mais ce qui ne l'est pas, c'est le principe antichrétien qui l'anime, et c'est lui aussi (il faut bien le dire) qui lui a valu sa terrible puissance sur le monde. Quiconque ne comprend pas cela, assiste en aveugle depuis soixante ans au spectacle que le monde lui offre.

Le moi humain, ne voulant relever que de lui-même, ne reconnaissant, n'acceptant d'autre loi que celle de son bon plaisir, le moi humain, en un mot, se substituant à Dieu, ce n'est certainement pas là une chose nouvelle parmi les hommes; mais ce qui l'était, c'est cet absolutisme du moi humain érigé en droit politique et social et aspirant à ce titre à prendre possession de la société. C'est cette nouveauté-là qui en 1789 s'est appelée la Révolution Française.

Depuis lors, et à travers toutes ses métamorphoses, la Révolution est restée conséquente à sa nature, et peut-être à aucun moment de sa durée ne s'est-elle sentie plus ellemême, plus intimement anti-chrétienne que dans le moment actuel, où elle vient d'adopter le mot d'ordre du christianisme:

la fraternité. C'est même là ce qui pourrait faire croire qu'elle touche à son apogée. En effet, à entendre toutes ces déclamations naïvement blasphématoires qui sont devenues comme la langue officielle de l'époque, qui ne croirait que la nouvelle République Française n'a été unie au monde que pour accomplir la loi de l'Evangile? C'est bien là aussi la mission que les pouvoirs qu'elle a créés se sont solennellement attribuée, sauf toutefois un amendement que la Révolution s'est réservé d'y introduire, c'est qu'à l'esprit d'humilité et de renoncement à soi-même, qui est tout le fond du christianisme, elle entend substituer l'esprit d'orgueil et de prépotence, à la charité libre et volontaire, la charité forcée, et qu'à la place d'une fraternité prêchée et acceptée au nom de Dieu, elle prétend établir une fraternité imposée par la crainte du peuple-souverain. A cés différences près, son règne promet en effet d'être celui du Christ.

Et qu'on ne se laisse pas induire en erreur par cette espèce de bienveillance dédaigneuse que les nouveaux pouvoirs ont jusqu'ici témoignée à l'Eglise catholique et à ses ministres. Ceci est peut-être le symptôme le plus grave de la situation et l'indice le plus certain de la toute-puissance que la Révolution a obtenue. Pourquoi, en effet, la Révolution se montrerait-elle rébarbative envers un clergé, envers des prêtres chrétiens qui, non contents de la subir, l'acceptent et l'adoptent, qui pour la conjurer glorifient toutes ses violences et qui, sans y croire, s'associent à tous ses mensonges? Si dans une pareille conduite il n'y avait que du calcul, ce calcul déjà serait de l'apostasie; mais s'il y entre de la conviction, c'en est une bien plus grande encore.

Et cependant il est à prévoir que les persécutions ne manqueront pas; car le jour où la limite des concessions sera atteinte, le jour où l'Eglise catholique croira devoir résister, on verra qu'elle ne pourra le faire qu'en rétrogradant jusqu'au martyre. On peut s'en fier à la Révolution: elle se montrera en toutes choses fidèle à elle-même et conséquente jusqu'au bout.

L'explosion de Février a rendu ce grand service au monde, c'est qu'elle a fait crouler jusqu'à terre tout l'échafaudage des illusions dont on avait masqué la réalité. Les moins intelligents doivent avoir compris maintenant que l'histoire de l'Europe depuis trente-trois ans n'a été qu'une longue mystification. En effet, de quelle lumière inexorable tout ce passé, si récent et déjà si loin de nous, ne s'est-il pas tout à coup illuminé? Qui, par exemple, ne comprend pas maintenant tout ce qu'il y avait de ridicule prétention dans cette sagesse du siècle qui s'était béatement persuadée qu'elle avait réussi à dompter la Révolution par l'exorcisme constitutionnel, à lier sa terrible énergie par une formule de légalité? Qui pourrait douter encore, après ce qui s'est passé, que du moment où le principe révolutionnaire est entré dans le sang d'une société, tous ses procédés, toutes ses formules de transactions ne sont plus que des narcotiques qui peuvent bien momentanément endormir le malade, mais qui n'empêchent pas le mal de poursuivre son cours?

Et voilà pourquoi, après avoir dévoré la Restauration qui lui était personnellement odieuse comme un dernier débris de l'autorité légitime en France, la Révolution n'a pas mieux supporté cet autre pouvoir, né d'elle-même, qu'elle avait bien accepté en 1830 pour lui servir de compère vis-à-vis de l'Europe, mais qu'elle a brisé le jour où, au lieu de la servir, ce pouvoir s'est avisé de se croire son maître.

A cette occasion, qu'il me soit permis de faire une ré-

flexion. Comment se fait-il que parmi tous les souverains de l'Europe, aussi bien que parmi les hommes politiques qui l'ont dirigée dans ces derniers temps, il n'y en a eu qu'un seul qui de prime-abord ait reconnu et signalé la grande illusion de 1830 et qui depuis, seul en Europe, seul peut-être au milieu de son entourage, ait constamment refusé à s'en laisser envahir? C'est que cette fois-ci il y avait heureusement sur le trône de Russie un Souverain en qui la pensée russe s'est incarnée, et que dans l'état actuel du monde la pensée russe est la seule qui soit placée assez en dehors du milieu révolutionnaire pour pouvoir apprécier sainement les faits qui s'y produisent.

Ce que l'Empereur avait prévu dès 1830, la Révolution n'a pas manqué de le réaliser de point en point. Toutes les concessions, tous les sacrifices des principes faits par l'Europe monarchique à l'établissement de Juillet dans l'intérêt d'un simulacre de statu quo, la Révolution s'en empara pour les utiliser au profit du bouleversement qu'elle méditait, et tandis que les pouvoirs légitimes faisaient de la diplomatie plus ou moins habile avec de la quasi-légitimité et que les hommes d'Etat et les diplomates de toute l'Europe assistaient en amateurs curieux et bienveillants aux joûtes parlementaires de Paris, le parti révolutionnaire, sans presque se cacher, travaillait sans relâche à miner le terrain sous leurs pieds.

On peut dire que la grande tâche du parti, durant ces dernières dix-huit années, a été de révolutionner de fond en comble l'Allemagne, et l'on peut juger maintenant si cette tâche a été bien remplie.

L'Allemagne assurément est le pays sur lequel on s'est fait le plus longtemps les plus étranges illusions. On le

croyait un pays d'ordre, parce qu'il était tranquille, et on ne voulait pas voir l'épouvantable anarchie qui y avait envahi et qui y ravageait les intelligences.

Soixante ans d'une philosophie destructive y avaient complètement dissous toutes les croyances chrétiennes et développé, dans ce néant de toute foi, le sentiment révolutionnaire par excellence: l'orgueil de l'esprit, si bien qu'à l'heure qu'il est, nulle part peut-être cette plaie du siècle n'est plus profonde et plus envenimée qu'en Allemagne. Par une conséquence nécessaire, à mesure que l'Allemagne se révolutionnait, elle sentait grandir sa haine contre la Russie. En effet, sous le coup des bienfaits qu'elle en avait reçus, une Allemagne révolutionnaire ne pouvait avoir pour la Russie qu'une haine implacable. Dans le moment actuel, ce paroxysme de haine paraît avoir atteint son point culminant; car il a triomphé en elle, je ne dis pas de toute raison, mais même du sentiment de sa propre conservation.

Si une aussi triste haine pouvait inspirer autre chose que de la pitié, la Russie certes se trouverait suffisamment vengée par le spectacle que l'Allemagne vient de donner au monde à la suite de la révolution de Février. Car c'est peut-être un fait sans précédent dans l'histoire que de voir tout un peuple se faisant le plagiaire d'un autre au moment même où il se livre à la violence la plus effrénée.

Et qu'on ne dise pas, pour justifier tous ces mouvements si évidemment factices qui viennent de bouleverser tout l'ordre politique de l'Allemagne et de compromettre jusqu'à l'existence de l'ordre social lui-même, qu'ils ont été inspirés par un sentiment sincère généralement éprouvé, par le besoin de l'unité allemande. Ce sentiment est sincère, soit; ce vœu est celui de la grande majorité, je le veux bien; mais qu'est-ce que cela prouve?... C'est encore là une des plus folles illusions de notre époque que de s'imaginer qu'il suffise qu'une chose soit vivement, ardemment convoitée par le grand nombre, pour qu'elle devienne par cela seul néces-sairement réalisable. D'ailleurs, il faut bien le reconnaître, il n'y a pas dans la société de nos jours ni vœu, ni besoin (quelque sincère, quelque légitime qu'il soit) que la Révolution en s'en emparant ne dénature et ne convertisse en mensonge, et c'est précisément ce qui est arrivé avec la question de l'unité allemande: car pour qui n'a pas abdiqué toute faculté de reconnaître l'évidence, il doit être clair dès à présent que dans la voie où l'Allemagne vient de s'engager à la recherche de la solution du problème, ce n'est pas à l'unité qu'elle aboutira, mais bien à un effroyable déchirement, à quelque catastrophe suprême et irréparable.

Oui, certes, on ne tardera pas à reconnaître que la seule unité qui fût possible, non pas pour l'Allemagne telle que les journaux la font, mais pour l'Allemagne réelle, telle que son histoire l'a faite, la seule chance d'unité sérieuse et pratique pour ce pays était indissolublement liée au système politique qu'il vient de briser.

Si, pendant ces dernières trente-trois années, les plus heureuses peut-être de toute son histoire, l'Allemagne a formé un corps politique hiérarchiquement constitué et fonctionnant d'une manière régulière, à quelles conditions un pareil résultat a-t-il pu être obtenu et assuré? C'était évidemment à la condition d'une entente sincère entre les deux grandes puissances qui représentent en Allemagne les deux principes qui se disputent ce pays depuis plus de trois siècles. Mais cet accord lui-même, si lent à s'établir, si difficile à conserver, croit-on qu'il eût été possible, qu'il eût pu durer aussi

longtemps, si l'Autriche et la Prusse, à l'issue des grandes guerres contre la France, ne se fussent intimement ralliées à la Russie, fortement appuyées sur elle? Voilà la combinaison politique qui, en réalisant pour l'Allemagne le seul système d'unité qui lui fût applicable, lui a valu cette trève de trente-trois ans qu'elle vient de rompre.

Il n'y a ni haine, ni mensonge qui pourront jamais prévaloir contre ce fait-là. Dans un accès de folie, l'Allemagne a bien pu briser une alliance qui, sans lui imposer aucun sacrifice, assurait et protégeait son indépendance nationale, mais par là-même elle s'est privée à jamais de toute base solide et durable.

Voyez plutôt la démonstration de cette vérité par la contre-épreuve des événements, dans ce terrible moment où les événements marchent presque aussi vite que la parole humaine. Il y a à peine deux mois que la Révolution en Allemagne s'est mise à la besogne, et déjà, il faut lui rendre cette justice, l'œuvre de la démolition dans ce pays est plus avancée qu'elle ne l'était sous la main de Napoléon après dix de ses foudroyantes campagnes.

Voyez l'Autriche plus compromise, plus abattue, plus démantelée qu'en 1809. Voyez la Prusse vouée au suicide par sa connivence fatale et forcée avec le parti polonais. Voyez les bords du Rhin, où, en dépit des chansons et des phrases, la confédération Rhénane n'aspire qu'à renaître. L'anarchie partout, l'autorité nulle part, et tout cela sous le coup d'une France où bout une révolution sociale qui ne demande qu'à déborder dans la révolution politique qui travaille l'Allemagne.

Dès à présent, pour tout homme sensé la question de l'unité allemande est une question jugée. Il faudrait avoir

ce genre d'ineptie propre aux idéologues allemands pour se demander sérieusement si ce tas de journalistes, d'avocats et de professeurs qui se sont réunis à Francfort, en se dounant la mission de recommencer Charlemagne, out quelque chance appréciable de réussir dans l'œuvre qu'ils ont entreprise, si sur ce sol qui tremble ils auront la main assez puissante et assez habile pour relever la pyramide renversée en la faisant tenir sur la pointe.

La question n'est plus là; il ne s'agit plus de savoir si l'Allemagne sera une, mais si de ces déchirements intérieurs compliqués probablement d'une guerre étrangère elle parviendra à sauver un lambeau quelconque de son existence nationale.

Les partis qui vont déchirer ce pays commencent déjà à se dessiner. Déjà sur différents points la République a pris pied en Allemagne, et l'on peut compter qu'elle ne se retirera pas sans avoir combattu, car elle a pour elle la logique et derrière elle la France. Aux yeux de ce parti la question de nationalité n'a ni sens, ni valeur. Dans l'intérêt de sa cause il n'hésitera pas un instant à immoler l'indépendance de son pays, et il enrôlerait l'Allemagne tout entière plutôt aujourd'hui que demain sous le drapeau de la France, fût-ce même sous le drapeau rouge. Ses auxiliaires sont partout; il trouve aide et appui dans les hommes comme dans les choses, aussi bien dans les instincts anarchiques des masses que dans les institutions anarchiques qui viennent d'être semées avec tant de profusion à travers toute l'Allemagne. Mais ses meilleurs, ses plus puissants auxiliaires sont précisément les hommes qui d'un moment à l'autre peuvent ètre appelés à la combattre: tant ces hommes se trouvent liés à elle par la solidarité des principes. Maintenant toute

la question est de savoir si la lutte éclatera avant que les prétendus conservateurs aient eu le temps de compromettre par leurs divisions et leurs folies tous les éléments de force et de résistance dont l'Allemagne dispose encore; si, en un mot, attaqués par le parti républicain, ils se décident à voir en lui ce qu'il est en effet, l'avant-garde de l'invasion française, et retrouvent, dans le sentiment du danger dont l'indépendance nationale serait menacée, assez d'énergie pour combattre la république à toute outrance; ou bien si pour s'épargner la lutte ils aimeront mieux accepter quelque faux semblant de transaction qui ne serait au fond de leur part qu'une capitulation déguisée. Dans le cas où cette dernière supposition viendrait à se réaliser, alors (il faut le reconnaître) l'éventualité d'une croisade contre la Russie, de cette croisade qui a toujours été le rêve chéri de la Révolution et qui maintenant est devenu son cri de guerre — cette éventualité se convertirait en une presque certitude; le jour de la lutte décisive serait presque arrivé, et c'est la Pologne qui servirait de champ de bataille. Voilà du moins la chance que caressent avec amour les révolutionnaires de tous les pays; mais il y a toutefois un élément de la question dont ils ne tiennent pas assez de compte, et cette omission pourrait singulièrement déranger leurs calculs.

Le parti révolutionnaire, en Allemagne surtout, paraît s'être persuadé que puisque lui-même faisait si bon marché de l'élément national, il en serait de même dans tous les pays soumis à son action et que partout et toujours la question de principe primerait la question de nationalité. Déjà les événements de la Lombardie ont dû faire faire de singulières réflexions aux étudiants réformateurs de Vienne, qui s'étaient imaginé qu'il suffisait de chasser le prince de Metternich et

de proclamer la liberté de la presse pour résoudre les formidables difficultés qui pèsent sur la monarchie autrichienne. Les Italiens n'en persistent pas moins à ne voir en eux que des Tedeschi et des Barbari, tout comme s'ils ne s'étaient pas régénérés dans les eaux lustrales de l'émeute. Mais l'Allemagne révolutionnaire ne tardera pas à recevoir à cet égard une leçon plus significative et plus sévère encore, car elle lui sera administrée de plus près. En effet, on n'a pas pensé qu'en brisant ou en affaiblissant tous les anciens pouvoirs, qu'en remuant jusque dans ses profondeurs tout l'ordre politique de ce pays, on allait y réveiller la plus redoutable des complications, une question de vie et de mort pour son avenir — la question des races. On avait oublié qu'au cœur même de cette Allemagne, dont on rêve l'unité, il y avait dans le bassin de la Bohême et dans les pays slaves qui l'entourent six à sept millions d'hommes pour qui, de générations en générations, l'Allemand depuis des siècles n'a pas cessé d'être un seul instant quelque chose de pis qu'un étranger, pour qui l'Allemand est toujours un Hrancus.... Il ne s'agit pas ici bien entendu du patriotisme littéraire de quelques savants de Prague, tout honorable qu'il puisse être; ces hommes ont rendu sans doute de grands services à la cause de leur pays et ils lui en rendront encore; mais la vie de la Bohême n'est pas là. La vie d'un peuple n'est jamais dans les livres que l'on imprime pour lui, à moins toutefois que ce ne soit le peuple allemand; la vie d'un peuple est dans ses instincts et dans ses croyances, et les livres, il faut l'avouer, sont bien plus puissants pour les énerver et les flétrir que pour les ranimer et les faire vivre. Tout ce qui reste donc à la Bohême de vraie vie nationale est dans ses croyances Hussites, dans cette protestation

toujours vivante de sa nationalité slave opprimée contre l'usurpation de l'Eglise romaine, aussi bien que contre la domination allemande. C'est là le lien qui l'unit à tout son passé de luttes et de gloire, et c'est là aussi le chaînon qui pourra rattacher un jour le Yexz de la Bohême à ses frères d'Orient. On ne saurait assez insister sur ce point, car ce sont précisément ces réminiscences sympathiques de l'Eglise d'Orient, ce sont ces retours vers la vieille foi dont le hussitisme dans son temps n'a été qu'une expression imparfaite et défigurée, qui établissent une différence profonde entre la Pologne et la Bohême: entre la Bohême ne subissant que malgré elle le joug de la communauté occidentale, et cette Pologne factieusement catholique—séide fanatique de l'Occident et toujours traître vis-à-vis des siens.

Je sais que pour le moment la véritable question en Bohême ne s'est pas encore posée et que ce qui s'agite et se remue à la surface du pays, c'est du libéralisme le plus vulgaire mêlé de communisme dans les villes et probablement d'un peu de jacquerie dans les campagnes. Mais toute cette ivresse tombera bientôt, et au train dont vont les choses le fond de la situation ne tardera pas à paraître. Alors la question pour la Bohême sera celle-ci: une fois l'Empire d'Autriche dissous par la perte de la Lombardie et par l'émancipation maintenant complète de la Hongrie, que fera la Bohême avec ces peuples qui l'entourent, Moraves, Slovaques, c'est-à-dire sept à huit millions d'hommes de même langue et de même race qu'elle? Aspirera-t-elle à se constituer d'une manière indépendante, ou se prêtera-t-elle à entrer dans le cadre ridicule de cette future Unité Germanique qui ne sera jamais que l'Unité du Chaos? Il est peu probable que ce dernier parti la tente beaucoup. Dès

lors elle se trouvera infailliblement en butte à toutes sortes d'hostilités et d'agressions, et pour y résister ce n'est certes pas sur la Hongrie qu'elle pourra s'appuyer. Pour savoir donc quelle est la puissance vers laquelle la Bohême, en dépit des idées qui la dominent aujourd'hui et des institutions qui la régiront demain, se trouvera forcément entraînée, je n'ai besoin de me rappeler que ce que me disait en 1841 à Prague le plus national des patriotes de ce pays La Bohême, me disait Hancka, ne sera libre et indépendante, ne sera réellement en possession d'elle-même que le cjour où la Russie sera rentrée en possession de la Gallicie.» En général c'est une chose digne de remarque que cette faveur persévérante que la Russie, le nom russe, sa gloire, son avenir, n'ont cessé de rencontrer parmi les hommes nationaux de Prague; et cela au moment même où notre fidèle alliée l'Allemagne se faisait avec plus de désintéressement que d'équité la doublure de l'émigration polonaise, pour ameuter contre nous l'opinion publique de l'Europe entière. Tout Russe qui a visité Prague dans le courant de ces dernières années pourra certifier que le seul grief qu'il y ait entendu exprimer contre nous, c'était de voir la réserve et la tiédeur avec lesquelles les sympathies nationales de la Bohême étaient accueillies parmi nous. De hautes, de généreuses considérations nous imposaient alors cette conduite: maintenant assurément ce ne serait plus qu'un contresens: car les sacrifices que nous faisions alors à la cause de l'ordre, nous ne pourrions les faire désormais qu'au profit de la Révolution.

Mais s'il est vrai de dire que la Russie dans les circonstances actuelles a moins que jamais le droit de décourager les sympathies qui viendraient à elle, il est juste de recon-



naître d'autre part une loi historique qui jusqu'à présent a providentiellement régi ses destinées: c'est que ce sont toujours ses ennemis les plus acharnés qui ont travaillé avec le plus de succès au développement de sa grandeur. Cette loi providentielle vient de lui en susciter un qui certainement jouera un grand rôle dans les destinées de son avenir et qui ne contribuera pas médiocrement à en hâter l'accomplissement. Cet ennemi c'est la Hongrie, j'entends la Hongrie magyare. De tous les ennemis de la Russie c'est peut-être celui qui la hait de la haine la plus furieuse. Le peuple magyare, en qui la ferveur révolutionnaire vient de s'associer par la plus étrange des combinaisons à la brutalité d'une horde asiatique et dont on pourrait dire, avec tout autant de justice que des Turcs, qu'il ne fait que camper en Europe, vit entouré de peuples slaves qui lui sont tous également odieux. Ennemi personnel de cette race, dont il a pendant si longtemps abîmé les destinées, il se retrouve après des siècles d'agitations et de turbulence toujours encore emprisonné au milieu d'elle. Tous ces peuples qui l'entourent: Serbes, Croates, Slovaques, Transylvaniens et jusqu'aux Petits-Russiens des Carpathes, sont les anneaux d'une chaîne qu'il croyait à tout jamais brisée. Et maintenant il sent au-dessus de lui une main qui pourra, quand il lui plaira, rejoindre ces anneaux et resserrer la chaîne à volonté. De là sa haine instinctive contre la Russie. D'autre part, sur la foi du journalisme étranger, les meneurs actuels du parti se sont sérieusement persuadé que le peuple magyare avait une grande mission à remplir dans l'Orient Orthodoxe; que c'était à lui, en un mot, à tenir en échec les destinées de la Russie.... Jusqu'à présent l'autorité modératrice de l'Autriche avait tant bien que mal contenu toute cette turbulence et cette déraison; mais maintenant que le dernier lien a été brisé et que c'est le pauvre vieux père, tombé en enfance, qui a été mis en tutelle, il est à prévoir que le Magyarisme complètement émancipé va donner libre cours à toutes ces excentricités et courir les aventures les plus folles. Déjà il a été question de l'incorporation définitive de la Transylvanie. On parle de faire revivre d'anciens droits sur les principautés du Danube et sur la Serbie. On va redoubler de propagande dans tous ces pays-là pour les ameuter contre la Russie, et quand on y aura mis la confusion partout, on compte bien un beau jour s'y présenter en armes pour revendiquer, au nom de l'Occident lésé dans ses droits, la possession des bouches du Danube et dire à la Russie d'une voix impérieuse: «Tu n'iras pas plus loin.» — Voilà certainement quelques articles du programme qui s'élabore maintenant à Presbourg. L'année dernière tout cela n'était encore que phrases de journal, maintenant cela peut, d'un moment à l'autre, se traduire par des tentatives très sérieuses et très compromettantes. Ce qui paraît néanmoins le plus imminent, c'est un conflit entre la Hongrie et les deux royaumes slaves qui en dépendent. En effet, la Croatie et la Slavonie, ayant prévu que l'affaiblissement de l'autorité légitime à Vienne allait les livrer infailliblement à la discrétion du Magyarisme, ont, à ce qu'il paraît, obtenu du gouvernement autrichien la promesse d'une organisation séparée pour elles, en y joignant la Dalmatie et la frontière militaire. Cette attitude que ces pays ainsi groupés essaient de prendre vis-à-vis de la Hongrie ne manquera pas d'exaspérer tous les anciens différends et ne tardera pas à y faire éclater une franche guerre civile, et comme l'autorité du gouvernement autrichien se trouvera probablement trop débile pour s'interposer avec quelque chance de succès entre les combattants, les Slaves de la Hongrie qui sont les plus faibles succomberaient probablement dans la lutte sans une circonstance qui doit tôt ou tard leur venir incessamment en aide: c'est que l'ennemi qu'ils ont à combattre est avant tout l'ennemi de la Russie, et c'est qu'aussi sur toute cette frontière militaire, composée aux trois quarts de Serbes orthodoxes, il n'y a pas une cabane de colon (au dire même des voyageurs autrichiens) où, à côté du portrait de l'empereur d'Autriche, l'on ne découvre le portrait d'un autre Empereur que ces races fidèles s'obstinent à considérer comme le seul légitime. D'ailleurs (pourquoi se le dissimuler) il est peu probable que toutes ces secousses de tremblement de terre qui bouleversent l'Occident s'arrêtent au seuil des pays d'Orient; et comment pourrait-il se faire que dans cette guerre à outrance, dans cette croisade d'impiété que la Révolution, déjà maîtresse des trois quarts de l'Europe Occidentale, prépare à la Russie, l'Orient Chrétien, l'Orient Slave-Orthodoxe, lui dont la vie est indissolublement liée à la nôtre, ne se trouvât entraîné dans la lutte à notre suite, et c'est peut-être même par lui que la guerre commencera: car il est à prévoir que toutes ces propagandes qui le travaillaient déjà, propagande catholique, propagande révolutionnaire, etc., etc... toutes opposées entre elles, mais réunies dans un sentiment de haine commune contre la Russie, vont maintenant se mettre à l'œuvre avec plus d'ardeur que jamais. On peut être certain qu'elles ne reculeront devant rien pour arriver à leurs fins... Et quel serait, juste Ciel! le sort de toutes ces populations chrétiennes comme nous, si, en butte, comme elles le sont déjà, à toutes ces influences abominables, si la seule autorité qu'elles invoquent dans

leurs prières venait à leur faire défaut, dans un pareil moment? — En un mot, quelle ne serait pas l'horrible confusion où tomberaient ces pays d'Orient aux prises avec la Révolution, si le légitime Souverain, si l'Empereur Orthodoxe d'Orient tardait encore longtemps à y apparaître!

Non, c'est impossible. Des pressentiments de mille ans ne trompent point. La Russie, pays de foi, ne manquera pas de foi dans le moment suprême. Elle ne s'effraiera pas de la grandeur de ses destinées et ne reculera pas devant sa mission.

Et quand donc cette mission a-t-elle été plus claire et plus évidente? On peut dire que Dieu l'écrit en traits de feu sur ce Ciel tout noir de tempêtes. L'Occident s'en va, tout croule, tout s'abîme dans une conflagration générale, l'Europe de Charlemagne aussi bien que l'Europe des traités de 1815; la papauté de Rome et toutes les royautés de l'Occident; le Catholicisme et le Protestantisme; la foi depuis longtemps perdue et la raison réduite à l'absurde; l'ordre désormais impossible, la liberté désormais impossible, et sur toutes ces ruines amoncelées par elle, la civilisation se suicidant de ses propres mains...

Et lorsque au-dessus de cet immense naufrage nous voyons comme une Arche Sainte surnager cet Empire plus immense encore, qui donc pourrait douter de sa mission, et serait-ce à nous, ses enfants, à nous montrer sceptiques et pusillanimes?....

12 avril 1848.

La question Romaine.

Si, parmi les questions du jour ou plutôt du siècle, il en est une qui résume et concentre comme dans un foyer toutes les anomalies, toutes les contradictions et toutes les impossibilités contre lesquelles se débat l'Europe occidentale, c'est assurément la question romaine.

Et il n'en pouvait être autrement, grâce à cette inexorable logique que Dieu a mise, comme une justice cachée.
dans les événements de ce monde. La profonde et irréconciliable scission qui travaille depuis des siècles l'Occident,
devait trouver enfin son expression suprême, elle devait
pénétrer jusqu'à la racine de l'arbre. Or, c'est un titre de
gloire que personne ne contestera à Rome: elle est encore
de nos jours, comme elle l'a toujours été, la racine du monde
occidental. Il est douteux toutefois, malgré la vive préoccupation que cette question suscite, qu'on se soit rendu un
compte exact de tout ce qu'elle contient.

Ce qui contribue probablement à donner le change sur la nature et sur la portée de la question telle qu'elle vient de se poser, c'est d'abord la fausse analogie de ce que nous avons vu arriver à Rome avec certains antécédents de ses révolutions antérieures; c'est aussi la solidarité très réelle qui rattache le mouvement actuel de Rome au mouvement général de la révolution européenne. Toutes ces circonstances accessoires, qui paraissent expliquer au premier abord la question romaine, ne servent en réalité qu'à en dissimuler la profondeur.

Non, certes, ce n'est pas là une question comme une autre — car non seulement elle touche à tout dans l'Occident, mais on peut même dire qu'elle le déborde.

On ne serait assurément pas accusé de soutenir un paradoxe ou d'avancer une calomnie en affirmant qu'à l'heure qu'il est, tout ce qui reste encore de Christianisme positif à l'Occident, se rattache, soit explicitement, soit par des affinités plus ou moins avouées, au Catholicisme Romain dont la Papauté, telle que les siècles l'ont faite, est évidemment la clef de voûte et la condition d'existence.

Le Protestantisme avec ses nombreuses ramifications, après avoir fourni à peine une carrière de trois siècles, se meurt de décrépitude dans tous les pays où il avait régné jusqu'à présent, l'Angleterre seule exceptée; — ou s'il révèle encore quelques éléments de vie, ces éléments aspirent à rejoindre Rome. Quant aux doctrines religieuses qui se produisent en dehors de toute communauté avec l'un ou l'autre de ces deux symboles, ce ne sont évidemment que des opinions individuelles.

En un mot: la Papauté — telle est la colonne unique qui soutient tant bien que mal en Occident tout ce pan de l'édifice chrétien resté debout après la grande ruine du seizième siècle et les écroulements successifs qui ont eu lieu

depuis. Maintenant c'est cette colonne que l'on se dispose à attaquer par sa base.

Nous connaissons fort bien toutes les banalités, tant de la presse quotidienne que du langage officiel de certains gouvernements, dont on a l'habitude de se servir pour masquer la réalité: On ne veut pas toucher à l'institution religieuse de la Papauté, — on est à genoux devant elle, — on la respecte, on la maintiendra, — on ne conteste même pas à la Papauté son autorité temporelle, — on prétend seulement en modifier l'exercice. On ne lui demandera que des concessions reconnues indispensables et on ne lui imposera que des réformes parfaitement légitimes. Il y a dans tout ceci passablement de mauvaise foi et surabondamment d'illusions.

Il y a certainement de la mauvaise foi, même de la part des plus candides, à faire semblant de croire que des réformes sérieuses et sincères, introduites dans le régime actuel de l'Etat Romain, puissent ne pas aboutir dans un temps donné à une sécularisation complète de cet Etat.

Mais la question n'est même pas là: la véritable question est de savoir au profit de qui se ferait cette sécularisation, c'est-à-dire quels seront: la nature, l'esprit et les tendances du pouvoir auquel vous remettriez l'autorité temporelle après en avoir dépouillé la Papauté? — Car, vous ne sauriez vous le dissimuler, c'est sous la tutelle de ce nouveau pouvoir que la Papauté serait désormais appelée à vivre.

Et c'est ici que les illusions abondent. Nous connaissons le fétichisme des Occidentaux pour tout ce qui est forme, formule et mécanisme politique. Ce fétichisme est devenu comme une dernière religion de l'Occident; mais, à moins d'avoir les yeux et l'esprit complètement fermés et scellés à toute expérience comme à toute évidence, comment, après

ce qui vient de se passer, parviendrait-on encore à se persuader que dans l'état actuel de l'Europe, de l'Italie, de Rome, les institutions libérales ou semi-libérales que vous aurez imposées au Pape resteraient longtemps aux mains de cette opinion moyenne, modérée, mitigée, telle que vous vous plaisez à la rêver dans l'intérêt de votre thèse, qu'elles ne seraient point promptement envahies par la révolution et transformées aussitôt en machines de guerre pour battre en brèche, non pas seulement la souveraineté temporelle du Pape, mais bien l'institution religieuse elle-même. Car vous auriez beau recommander au principe révolutionnaire, comme l'Eternel à Satan, de ne molester que le corps du fidèle Job, sans toucher à son âme, soyez bien convaincus que la révolution, moins scrupuleuse que l'ange des ténèbres, ne tiendrait nul compte de vos injonctions.

Toute illusion, toute méprise à cet égard sont impossibles pour qui a bien réellement compris ce qui fait le fond du débat qui s'agite en Occident — ce qui en est devenu depuis des siècles la vie même; vie anormale mais réelle, maladie qui ne date pas d'hier et qui est toujours encore en voie de progrès. Et s'il se rencontre si peu d'hommes qui ont le sentiment de cette situation, cela prouve seulement que la maladie est déjà bien avancée.

Nul doute, quant à la question romaine, que la plupart des intérêts qui réclament des réformes et des concessions de la part du Pape sont des intérêts honnêtes, légitimes et sans arrière-pensée; qu'une satisfaction leur est due et que même elle ne saurait leur être plus longtemps refusée. Mais telle est l'incroyable fatalité de la situation, que ces intérêts d'une nature toute locale et d'une valeur comparativement médiocre dominent et compromettent une question immense.

Ce sont de modestes et inoffensives habitations de particuliers situées de telle sorte qu'elles commandent une place de guerre et, malheureusement, l'ennemi est aux portes.

Car encore une fois la sécularisation de l'Etat romain est au bout de toute réforme sincère et sérieuse qu'on voudrait y introduire, et d'autre part la sécularisation dans les circonstances présentes ne serait qu'un désarmement devant l'ennemi — une capitulation....

Eh bien, qu'est-ce à dire? que la question romaine posée dans ces termes est tout bonnement un labyrinthe sans issue; que l'institution papale par le développement d'un vice caché en est arrivée après une durée de quelques siècles à cette période de l'existence où la vie, comme on l'a dit, ne se faisait plus sentir que par une difficulté d'être? Que Rome qui a fait l'Occident à son image se trouve comme lui acculée à une impossibilité? Nous ne disons pas le contraire....

Et c'est ici qu'éclate visible comme le soleil cette logique providentielle qui régit comme une loi intérieure les événements de ce monde.

Huit siècles seront bientôt révolus depuis le jour où Rome a brisé le dernier lien qui la rattachait à la tradition orthodoxe de l'Eglise universelle. — Ce jour-là Rome en se faisant une destinée à part a décidé pour des siècles de celle de l'Occident.

On connaît généralement les différences dogmatiques qui séparent Rome de l'Eglise orthodoxe. Au point de vue de la raison humaine cette différence, tout en motivant la séparation, n'explique pas suffisamment l'abîme qui s'est creusé, non pas entre les deux Eglises -- puisque l'Eglise est Une et Universelle -- mais entre les deux mondes, les deux huma-



nités pour ainsi dire qui ont suivi ces deux drapeaux différents.

Elle n'explique pas suffisamment comment ce qui a dévié alors, a dû de toute nécessité aboutir au terme où nous le voyons arriver aujourd'hui.

Jésus-Christ avait dit: «Mon Royaume n'est pas de ce monde»; — eh bien, il s'agit de comprendre comment Rome, après s'être séparée de l'Unité, s'est cru le droit, dans un intérêt qu'elle a identifié avec l'intérêt même du christianisme, d'organiser un Royaume du Christ comme un royaume du monde.

Il est très difficile, nous le savons bien, dans les idées de l'Occident de donner à cette parole sa signification légitime; on sera toujours tenté de l'expliquer, non pas dans le sens orthodoxe, mais dans un sens protestant. Or, il y a entre ces deux sens la distance qui sépare ce qui est divin de ce qui est humain. Mais pour être séparée par cette incommensurable distance, la doctrine orthodoxe, il faut le reconnaître, n'est guère plus rapprochée de celle de Rome — et voici pourquoi:

Rome, il est vrai, n'a pas fait comme le Protestantisme, elle n'a point supprimé le centre chrétien qui est l'Eglise, au profit du moi humain — mais elle l'a absorbé dans le moi romain. — Elle n'a point nié la tradition, elle s'est contentée de la confisquer à son profit. Mais usurper sur ce qui est divin n'est-ce pas aussi le nier?... Et voilà ce qui établit cette redoutable mais incontestable solidarité qui rattache à travers les temps l'origine du Protestantisme aux usurpations de Rome. Car l'usurpation a cela de particulier que non-seulement elle suscite la révolte, mais crée encore à son profit une apparence de droit.

Aussi l'école révolutionnaire moderne ne s'y est-elle pas trompée. La révolution, qui n'est que l'apothéose de ce même moi humain arrivé à son entier et plein épanouissement, n'a pas manqué de reconnaître pour siens et de saluer comme ses deux glorieux maîtres Luther aussi bien que Grégoire VII. La voix du sang lui a parlé et elle a adopté l'un en dépit de ses croyances chrétiennes comme elle a presque canonisé l'autre, tout pape qu'il était.

Mais si le rapport évident qui lie les trois termes de cette série est le fond même de la vie historique de l'Occident, il est tout aussi incontestable qu'on ne saurait lui assigner d'autre point de départ que cette altération profonde que Rome a fait subir au principe chrétien par l'organisation qu'elle lui a imposée.

Pendant des siècles l'Eglise d'Occident, sous les auspices de Rome, avait presque entièrement perdu le caractère que la loi de son origine lui assignait. Elle avait cessé d'être au milieu de la grande société humaine une société de fidèles librement réunie en esprit et en vérité sous la loi du Christ. Elle était devenue une institution, une puissance politique — un Etat dans l'Etat. A vrai dire, pendant la durée du moyenâge, l'Eglise en Occident n'était autre chose qu'une colonie romaine établie dans un pays conquis.

C'est cette organisation qui, en rattachant l'Eglise à la glèbe des intérêts terrestres, lui avait fait, pour ainsi dire, des destinées mortelles. En incarnant l'élément divin dans un corps infirme et périssable, elle lui a fait contracter toutes les infirmités comme tous les appétits de la chair. De cette organisation est sortie pour l'Eglise romaine, par une fatalité providentielle — la nécessité de la guerre, de la guerre matérielle, nécessité qui, pour une institution comme

l'Eglise, équivalait à une condamnation absolue. De cette organisation sont nés ce conflit de prétentions et cette rivalité d'intérêts qui devaient forcément aboutir à une lutte acharnée entre le Sacerdoce et l'Empire — à ce duel vraiment impie et sacrilège qui en se prolongeant à travers tout le moyenâge a blessé à mort en Occident le principe même de l'autorité.

De là tant d'excès, de violences, d'énormités accumulés pendant des siècles pour étayer ce pouvoir matériel dont Rome ne croyait pas pouvoir se passer pour sauvegarder l'Unité de l'Eglise et qui néanmoins ont fini, comme ils devaient finir, par briser en éclats cette Unité prétendue. Car, on ne saurait le nier, l'explosion de la Réforme au seizième siècle n'a été dans son origine que la réaction du sentiment chrétien trop longtemps froissé, contre l'autorité d'une Eglise qui sous beaucoup de rapports ne l'était plus que de nom. — Mais comme depuis des siècles Rome s'était soigneusement interposée entre l'Eglise universelle et l'Occident, les chefs de la Réforme, au lieu de porter leurs griefs au tribunal de l'autorité légitime et compétente, aimèrent mieux en appeler au jugement de la conscience individuelle — c'est-à-dire qu'ils se firent juges dans leur propre cause.

Voilà l'écueil sur lequel la réforme du seizième siècle est venue échouer. Telle est, n'en déplaise à la sagesse des docteurs de l'Occident, la véritable et la seule cause qui a fait dévier ce mouvement de la réforme—chrétien à son origine, jusqu'à la faire aboutir à la négation de l'autorité de l'Eglise et, par suite, du principe même de toute autorité. Et c'est par cette brèche, que le Protestantisme a ouverte pour ainsi dire à son insu, que le principe anti-chrétien a fait plus tard irruption dans la société de l'Occident.

Ce résultat était inévitable, car le moi humain livré à lui-même est anti-chrétien par essence. La révolte, l'usurpation du moi ne datent pas assurément des trois derniers siècles, mais ce qui alors était nouveau, ce qui se produisait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'était de voir cette révolte, cette usurpation élevées à la dignité d'un principe et s'exerçant à titre d'un droit essentiellement inhérent à la personnalité humaine.

Il ne fallait pas moins que la venue au monde du Christianisme pour inspirer à l'homme des prétentions aussi altières, comme il ne fallait pas moins que la présence du souverain légitime pour rendre la révolte complète et l'usurpation flagrante.

Depuis ces trois derniers siècles la vie historique de l'Occident n'a donc été, et n'a pu être, qu'une guerre incessante, un assaut continuel livré à tout ce qu'il y avait d'éléments chrétiens dans la composition de l'ancienne société occidentale. Ce travail de démolition a été long, car avant de pouvoir s'attaquer aux institutions il avait fallu détruire ce qui en faisait le ciment: c'est-à-dire les croyances.

Ce qui fait de la première révolution française une date à jamais mémorable dans l'histoire du monde, c'est qu'elle a inauguré pour ainsi dire l'avènement de l'idée anti-chrétienne aux gouvernements de la société politique.

Que cette idée est le caractère propre et comme l'âme elle-même de la Révolution, il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner quel est son dogme essentiel,—le dogme nouveau qu'elle a apporté au monde. C'est évidemment le dogme de la souveraineté du peuple. Or, qu'est-ce que la souveraineté du peuple, sinon celle du moi humain multiplié par le nombre — c'est-à-dire appuyé sur la force? Tout ce qui n'est

pas ce principe n'est plus la révolution et ne saurait avoir qu'une valeur purement relative et contingente. Voilà pourquoi, soit dit en passant, rien n'est plus niais, ou plus perfide que d'attribuer aux institutions politiques que la Révolution a créées, une autre valeur que celle-là. Ce sont des machines de guerre admirablement appropriées à l'usage pour lequel elles ont été faites, mais qui en dehors de cette destination ne sauraient jamais, dans une société régulière, trouver d'emploi convenable.

La Révolution d'ailleurs a pris soin elle-même de ne nous laisser aucun doute sur sa véritable nature en formulant ainsi ses rapports vis-à-vis du christianisme: «l'Etat comme tel n'a point de religion». — Car tel est le Crédo de l'Etat moderne.

Voilà, à vrai dire, la grande nouveauté que la Révolution a apportée au monde. Voilà son œuvre propre, essentielle un fait sans antécédents dans l'histoire des sociétés humaines.

C'était la première fois qu'une société politique acceptait pour la régir un Etat parfaitement étranger à toute sanction supérieure à l'homme; un Etat qui déclarait qu'il n'avait point d'âme ou que s'il en avait une, cette âme n'était point religieuse. — Car, qui ne sait que même dans l'antiquité païenne, dans tout ce monde de l'autre côté de la croix, placé sous l'empire de la tradition universelle que le paganisme a bien pu défigurer mais sons l'interrompre,—la cité, l'Etat, étaient avant tout une institution religieuse. C'était comme un fragment détaché de la tradition universelle qui en s'incarnant dans une société particulière se constituait comme un centre indépendant. C'était pour ainsi dire de la religion localisée, matérialisée.

Nous savons fort bien que cette prétendue neutralité en



matière religieuse n'est pas une chose sérieuse de la part de la Révolution. Elle-même connaît trop bien la nature de son adversaire pour ne pas savoir que vis-à-vis de lui la neutralité est impossible: «Qui n'est pas pour moi est contre moi». En effet, pour offrir la neutralité au christianisme il faut déjà avoir cessé d'être chrétien. Le sophisme de la doctrine moderne échoue ici contre la nature toute-puissante des choses. Pour que cette prétendue neutralité eût un sens, pour qu'elle fût autre chose qu'un mensonge et un piège, il faudrait de toute nécessité que l'Etat moderne consentît à se dépouiller de tout caractère d'autorité morale, qu'il se résignât à n'être qu'une simple institution de police, un simple fait matériel, incapable par nature d'exprimer une idée morale quelconque. — Soutiendra-t-on sérieusement que la Révolution accepte pour l'Etat qu'elle a créé et qui la représente une condition semblable, non-seulement humble, mais impossible?... Elle l'accepte si peu que d'après sa doctrine bien connue elle ne fait dériver l'incompétence de la loi moderne en matière religieuse que de la conviction où elle est que la morale, dépouillée de toute sanction surnaturelle, suffit aux destinées de la société humaine. Cette proposition peut être vraie ou fausse, mais cette proposition, on l'avouera, est toute une doctrine, et, pour tout homme de bonne foi, une doctrine qui équivaut à la négation la plus complète de la vérité chrétienne.

Aussi, en dépit de cette prétendue incompétence et de sa neutralité constitutionnelle en matière de religion, nous voyons que partout où l'Etat moderne s'est établi, il n'a pas manqué de réclamer et d'exercer vis-à-vis de l'Eglise la même autorité et les mêmes droits que ceux qui avaient appartenu aux anciens pouvoirs. Ainsi en France, par exemple, dans ce pays de logique par excellence, la loi a beau déclarer que l'Etat comme tel n'a point de religion, celui-ci, dans ses rapports à l'égard de l'Eglise catholique, n'en persiste pas moins à se considérer comme l'héritier parfaitement légitime du Roi très-chrétien, — du fils aîné de cette Eglise.

Rétablissons donc la vérité des faits. L'Etat moderne ne proscrit les religions d'Etat que parce qu'il a la sienne — et cette religion c'est la Révolution. Maintenant, pour en revenir à la question romaine, on comprendra sans peine la position impossible que l'on prétend faire à la Papauté en l'obligeant à accepter pour sa souveraineté temporelle les conditions de l'Etat moderne. La Papauté sait fort bien quelle est la nature du principe dont il relève. Elle le comprend d'instinct, la conscience chrétienne du prêtre dans le Pape l'en avertirait au besoin. Entre la Papauté et ce principe il n'y a point de transaction possible; car ici une transaction ne serait pas une pure concession de pouvoir, ce serait tout bonnement une apostasie. — Mais, dira-t-on, pourquoi le Pape n'accepterait-il pas les institutions sans le principe? — C'est encore là une des illusions de cette opinion soi-disant modérée, qui se croit éminemment raisonnable et qui n'est qu'inintelligente. Comme si des institutions pouvaient se séparer du principe qui les a créées et qui les fait vivre... Comme si le matériel d'institutions privées de leur âme était autre chose qu'un attirail mort et sans utilité—un véritable encombrement. D'ailleurs les institutions politiques ont toujours en définitive la signification que leur attribuent, non pas ceux qui les donnent, mais ceux qui les obtiennent surtout quand ils vous les imposent.

Si le Pape n'eût été que prêtre, c'est-à-dire si la Papauté fût restée fidèle à son origine, la Révolution n'aurait eu

aucune prise sur elle, car la persécution n'en est pas une. Mais c'est l'élément mortel et périssable qu'elle s'est identifié qui la rend maintenant accessible à ses coups. C'est là le gage que depuis des siècles la Papauté romaine a donné par avance à la Révolution.

Et c'est ici, comme nous l'avons dit, que la logique souveraine de l'action providentielle s'est manifestée avec éclat. De toutes les institutions que la Papauté a enfantées depuis sa séparation d'avec l'Eglise Orthodoxe, celle qui a le plus profondément marqué cette séparation, qui l'a le plus aggravée, le plus consolidée, c'est sans nul doute la souveraineté temporelle du Pape. Et c'est précisément contre cette institution que nous voyons la Papauté venir se heurter aujourd'hui.

Depuis longtemps assurément le monde n'avait rien eu de comparable au spectacle qu'a offert la malheureuse Italie pendant les derniers temps qui ont précédé ses nouveaux désastres. Depuis longtemps nulle situation, nul fait historique n'avaient eu cette physionomie étrange. Il arrive parfois que des individus à la veille de quelque grand malheur se trouvent, sans motif apparent, subitement pris d'un accès de gaieté frénétique, d'hilarité furieuse — eh bien, ici c'est un peuple tout entier qui a été tout à coup saisi d'un accès de cette nature. Et cette fièvre, ce délire s'est soutenu, s'est propagé pendant des mois. Il y a eu un moment où il avait enlacé comme d'une chaîne électrique toutes les classes. toutes les conditions de la société et ce délire si intense, si général, avait adopté pour mot d'ordre le nom d'un Pape!...

Que de fois le pauvre prêtre chrétien au fond de sa retraite n'a-t-il pas dû frémir au bruit de cette orgie dont on le faisait le dieu! Que de fois ces vociférations d'amour, ces convulsions d'enthousiasme n'ont-elles pas dû porter la consternation et le doute dans l'âme de ce chrétien livré en proie à cette effrayante popularité!

Ce qui surtout devait le consterner, lui, le Pape, c'est qu'au fond de cette popularité immense, à travers toute cette exaltation des masses, quelque effrénée qu'elle fût, il ne pouvait méconnaître un calcul et une arrière-pensée.

C'était la première fois que l'on affectait d'adorer le Pape en le séparant de la Papauté. Ce n'est pas assez dire: tous ces hommages, toutes ces adorations ne s'adressaient à l'homme que parce que l'on espérait trouver en lui un complice contre l'institution. En un mot, on voulait fêter le Pape en faisant un feu de joie de la Papauté. Et ce qu'il y avait de particulièrement redoutable dans cette situation, c'est que ce calcul, cette arrière-pensée n'étaient pas seulement dans l'intention des partis, ils se retrouvaient aussi dans le sentiment instinctif des masses. Et rien assurément ne pouvait mieux mettre à nu toute la fausseté et toute l'hypocrisie de la situation que de voir l'apothéose décernée au chef de l'Eglise Catholique, au moment même où la persécution se déchaînait plus ardente que jamais contre l'ordre des Jésuites.

L'institution des Jésuites sera toujours un problème pour l'Occident. C'est encore là une de ces énigmes dont la clef est ailleurs. On peut dire avec vérité que la question des Jésuites tient de trop près à la conscience religieuse de l'Occident pour qu'il puisse jamais la résoudre d'une manière entièrement satisfaisante.

En parlant des jésuites, en cherchant à les soumettre à une appréciation équitable, il faut commencer par mettre hors de cause tous ceux (et leur nom est légion) pour qui

le mot de jésuite n'est plus qu'un mot de passe, un cri de guerre. Certes, de toutes les apologies que l'on a essayées en faveur de cet ordre, il n'en est pas de plus éloquente, de plus convaincante que la haine, cette haine furieuse et implacable que lui ont vouée tous les ennemis de la Religion Chrétienne. Mais, ceci admis, on ne saurait se dissimuler que bien des catholiques romains les plus sincères, les plus dévoués à leur Eglise, depuis Pascal jusqu'à nos jours, n'ont censé de génération en génération de nourrir une antipathie déclarée, insurmontable, contre cette institution. Cette disposition d'esprit dans une fraction considérable du monde catholique constitue peut-être une des situations les plus réellement saisissantes et les plus tragiques où il soit donné à l'âme humaine de se trouver placée.

En effet, que peut-on imaginer de plus profondément tragique que le combat qui doit se livrer dans le cœur de l'homme, lorsque, partagé entre le sentiment de la vénération religieuse, de ce sentiment de piété plus que filiale, et une odieuse évidence, il s'efforce de récuser, de refouler le témoignage de sa propre conscience plutôt que de s'avouer la solidarité réelle et incontestable qui lie l'objet de son culte à celui de son aversion. — Et cependant telle est la situation de tout catholique fidèle qui aveuglé par son inimitié contre les jésuites cherche à se dissimuler un fait d'une éclatante évidence, à savoir: la profonde, l'intime solidarité qui lie cet ordre, ses tendances, ses doctrines, ses destinées, aux tendances, aux doctrines, aux destinées de l'Eglise romaine et l'impossibilité absolue de les séparer l'un de l'autre, sans qu'il en résulte une lésion organique et une mutilation évidente. Car si, en se dégageant de toute prévention, de toute préoccupation de parti, de secte et même de nationalité,

l'esprit appliqué à l'impartialité la plus absolue et le cœur rempli de charité chrétienne, on se place en présence de l'histoire et de la réalité et que, après les avoir interrogées l'une et l'autre, on se pose de bonne foi cette question: Qu'est-ce que les jésuites? voici, nous pensons, la réponse que l'on se fera: Les jésuites sont des hommes pleins d'un zèle ardent, infatigable, souvent héroïque, pour la cause chrétienne et qui pourtant se sont rendus coupables d'un bien grand crime vis-à-vis du christianisme; — c'est que, dominés par le moi humain, non pas comme individus mais comme ordre, ils ont cru la cause chrétienne tellement liée à la leur propre — ils ont dans l'ardeur de la poursuite et dans l'émotion du combat si complètement oublié cette parole du Maître: Que Ta volonté soit faite et non pas la mienne!» — qu'ils ont fini par rechercher la victoire de Dieu à tout prix, sauf celui de leur satisfaction personnelle. Or, cette erreur, qui a sa racine dans la corruption originelle de l'homme et qui a été d'une portée incalculable dans ses conséquences pour les intérêts du christianisme, n'est pas, tant s'en faut, un fait particulier à la Société de Jésus. Cette erreur, cette tendance, lui est si bien commune avec l'Eglise de Rome elle-même que l'on pourrait à bon droit dire que c'est elle qui les rattache l'une à l'autre par une affinité vraiment organique, par un véritable lien du sang. C'est cette commanauté, cette identité de tendances qui fait de l'Institut des jésuites l'expression concentrée mais littéralement fidèle de catholicisme romain; qui fait pour tout dire que c'est le catholicisme romain lui-même, mais à l'état d'action, à l'état militant.

Et voilà pourquoi cet ordre: «ballotté d'âge en âge» à travers les persécutions et le triomphe, l'outrage et l'apo-

théose, n'a jamais trouvé, et ne saurait trouver, en Occident, ni des convictions religieuses suffisamment désintéressées dans sa cause pour pouvoir l'apprécier, ni une autorité religieuse compétente pour le juger. Une fraction de la société occidentale, celle qui a résolûment rompu avec le principe chrétien, ne s'attaque aux jésuites que pour pouvoir à couvert de leur impopularité mieux assurer les coups qu'elle adresse à son véritable ennemi. Quant à ceux des catholiques restés fidèles à Rome qui se sont faits les adversaires de cet ordre, bien qu'individuellement parlant ils puissent comme chrétiens être dans le vrai, toutefois comme catholiques romains ils sont sans armes contre lui, car en l'attaquant ils s'exposeraient toujours au danger de blesser l'Eglise romaine elle-même.

Mais ce n'est pas seulement contre les jésuites, cette force vive du catholicisme, qu'on a cherché à exploiter la popularité moitié factice, moitié sincère dont on avait enveloppé le pape Pie IX. Un autre parti encore comptait aussi sur lui — une autre mission lui était réservée.

Les partisans de l'indépendance nationale espéraient que. sécularisant tout à fait la Papauté au profit de leur cause, celui qui avant tout est prêtre, consentirait à se faire le gonfalonier de la liberté italienne. C'est ainsi que les deux sentiments les plus vivaces et les plus impérieux de l'Italie contemporaine: l'antipathie pour la domination séculière du clergé et la haine traditionnelle de l'étranger, du barbare, de l'Allemand, revendiquaient tous deux, au profit de leur cause, la coopération du Pape. Tout le monde le glorifiait, le déifiait même, mais à la condition qu'il se ferait le serviteur de tout le monde, et cela dans un sens qui n'était nullement celui de l'humilité chrétienne.

Parmi les opinions ou les influences politiques qui venaient ainsi briguer son patronage en lui offrant leur concours, il y en avait une qui avait jeté précédemment quelque éclat parce qu'elle avait en pour interprètes et pour apôtres quelques hommes d'un talent littéraire peu commun. A en croire les doctrines naïvement ambitieuses de ces théoriciens politiques, l'Italie contemporaine allait sous les auspices du Pontificat romain récupérer la primauté universelle et ressaisir pour la troisième fois le sceptre du monde. C'est-à-dire qu'au moment où l'établissement papal était secoué jusque dans ses fondements, ils proposaient sérieusement au Pape de renchérir encore sur les données du moyenâge et lui offraient quelque chose comme un Califat chrétien à la condition, bien entendu, que cette théocratie nouvelle s'exercerait avant tout dans l'intérêt de la nationalité italienne.

On ne saurait, en vérité, assez s'émerveiller de cette tendance vers le chimérique et l'impossible qui domine les esprits de nos jours et qui est un des traits distinctifs de l'époque. Il faut qu'il y ait une affinité réelle entre l'utopie et la Révolution, car chaque fois que celle-ci, un moment infidèle à ses habitudes, veut créer au lieu de détruire, elle tombe infailliblement dans l'utopie. Il est juste de dire que celle à laquelle nous venons de faire allusion est encore une des plus inoffensives.

Enfin vint un moment dans la situation donnée où, l'équivoque n'étant plus possible, la Papauté, pour ressaisir son droit, se vit obligée de rompre en visière aux prétendus amis du Pape. C'est alors que la Révolution jeta à son tour le masque et apparut au monde sous les traits de la république romaine.

Quant à ce parti on le connaît maintenant, on l'a vu à l'œuvre. C'est le véritable, le légitime représentant de la Révolution en Italie. Ce parti-là considère la Papauté comme son ennemi personnel à cause de l'élément chrétien qu'il découvre en elle. Aussi n'en veut-il à aucun prix, pas même pour l'exploiter. Il voudrait tout simplement la supprimer et c'est par un motif semblable qu'il voudrait aussi supprimer tout le passé de l'Italie, toutes les conditions historiques de son existence comme entachées et infectées de catholicisme, se réservant de rattacher, par une pure abstraction révolutionnaire, l'existence du régime qu'il prétend fonder, aux antécédents républicains de l'ancienne Rome.

Eh bien, ce qu'il y a de particulier dans cette brutale utopie, c'est que, quel que soit le caractère profondément anti-historique dont elle est empreinte, elle aussi a sa tradition bien connue dans l'histoire de la civilisation italienne.— Elle n'est après tout que la réminiscence classique de l'ancien monde païen, de la civilisation païenne; — tradition qui a joué un grand rôle dans l'histoire de l'Italie, qui s'est perpétuée à travers tout le passé de ce pays, qui a eu ses représentants, ses héros et même ses martyrs et qui, non contente de dominer presque exclusivement ses arts et sa littérature, a tenté à plusieurs reprises de se constituer politiquement pour s'emparer de la société tout entière. Et, chose remarquable, - chaque fois que cette tradition, cette tendance a essayé de renaître, elle est toujours apparue à la manière des revenants, invariablement attachée à la même localité — à celle de Rome.

Arrivée jusqu'à nos jours, le principe révolutionnaire ne pouvait guère manquer de l'accueillir et de se l'approprier à cause de la pensée anti-chrétienne qui était en elle. Main-

tenant ce parti vient d'être abattu et l'autorité du Pape en apparence restaurée. Mais si quelque chose, il faut en convenir, pouvait encore grossir le trésor de fatalités que cette question romaine renferme, c'était de voir ce double résultat obtenu par une intervention de la France.

Le lieu commun de l'opinion courante au sujet de cette intervention, c'est de n'y voir, comme on le fait assez généralement, qu'un coup de tête ou une maladresse du gouvernement français. Ce qu'il y a de vrai à dire, à ce sujet, c'est que si le gouvernement français, en s'engageant dans cette question insoluble en elle-même, s'est dissimulé qu'elle était plus insoluble pour lui que pour tout autre, cela prouverait seulement de sa part une complète inintelligence tant de sa propre position que de celle de la France.... ce qui d'ailleurs est fort possible, nous en convenons.

En général on s'est trop habitué en Europe, dans ces derniers temps, à résumer l'appréciation que l'on fait des actes ou plutôt des velléités d'action de la politique française par une phrase devenue proverbiale: «La France ne sait ce qu'elle veut». — Cela peut être vrai, mais pour être parfaitement juste on devrait ajouter: que la France ne peut pas savoir ce qu'elle veut. Car pour y réussir il faut avant tout avoir *Une* volonté — et la France depuis soixante ans est condamnée à en avoir deux.

Et ici il ne s'agit pas de ce désaccord, de cette divergence d'opinions politiques ou autres qui se rencontrent dans tous les pays où la société par la fatalité des circonstances se trouve livrée au gouvernement des partis. Il s'agit d'un fait bien autrement grave; il s'agit d'un antagonisme permanent, essentiel et à tout jamais insoluble, qui depuis soixante ans constitue, pour ainsi dire, le fond même de la

conscience nationale en France. C'est l'âme de la France qui est divisée.

La Révolution, depuis qu'elle s'est emparée de ce pays, a bien pu le bouleverser, le modifier, l'altérer profondément, mais elle n'a pu, ni ne pourra jamais se l'assimiler entièrement. Elle aura beau faire, il y a des éléments, des principes dans la vie morale de la France qui résisteront toujours — ou du moins aussi longtemps qu'il y aura une France au monde; tels sont: l'Église catholique avec ses croyances et son enseignement; — le mariage chrétien et la famille, et même la propriété. D'autre part, comme il est à prévoir que la Révolution, qui est entrée non-seulement dans le sang, mais dans l'âme même de cette société, ne se décidera jamais à lâcher prise volontairement, et comme dans l'histoire du monde nous ne connaissons pas une formule d'exorcisme applicable à une nation tout entière, il est fort à craindre que l'état de lutte, mais d'une lutte intime et incessante, de scission permanente et pour ainsi dire organique, ne soit devenu pour bien longtemps la condition normale de la nouvelle société française.

Et voilà pourquoi dans ce pays, où nous voyons depuis soixante ans se réaliser cette combinaison d'un Etat révolutionnaire par principe traînant à la remorque une société qui n'est que révolutionnée, le gouvernement, le pouvoir qui tient nécessairement des deux sans parvenir à les concilier, s'y trouve fatalement condamné à une position fausse, précaire, entourée de périls et frappée d'impuissance. Aussi avons-nous vu que depuis cette époque tous les gouvernements en France — moins un, celui de la Convention pendant la Terreur — quelque fût la diversité de leur origine, de leurs doctrines et de leurs tendances, ont eu ceci en com-

mun: c'est que tous, sans excepter même celui du lendemain de Février, ils ont subi la Révolution bien plus qu'ils ne l'ont représentée. Et il n'en pouvait être autrement. Car ce n'est qu'à la condition de lutter contre elle, tout en la subissant, qu'ils ont pu vivre. Mais il est vrai de dire que, jusqu'à présent du moins, ils ont tous péri à la tâche.

Comment donc un pouvoir ainsi fait, aussi peu sûr de son droit, d'une nature aussi indécise, aurait-il eu quelque chance de succès en intervenant dans une question comme l'est cette question romaine? En se présentant comme médiateur ou comme arbitre entre la Révolution et le Pape, il ne pouvait guère espérer de concilier ce qui est inconciliable par nature. Et d'autre part il ne pouvait donner gain de cause à l'une des parties adverses sans se blesser lui-même, sans renier pour ainsi dire une moitié de lui-même. Ce qu'il pouvait donc obtenir par cette intervention à double tranchant, quelque émoussé qu'il fût, c'était d'embrouiller encore davantage ce qui déjà était inextricable, d'envenimer la plaie en l'irritant. C'est à quoi il a parfaitement réussi.

Maintenant quelle est au vrai la situation du Pape à l'égard de ses sujets? Et quel est le sort probable réservé aux nouvelles institutions qu'il vient de leur accorder? — Ici malheureusement les plus tristes prévisions sont seules de droit. C'est le doute qui ne l'est pas.

La situation, — c'est l'ancien état des choses, celui antérieur au règne actuel, celui qui dès lors croulait déjà sous le poids de son impossibilité, mais démesurément aggravé par tout ce qui est arrivé depuis. Au moral, par d'immenses déceptions et d'immenses trahisons; au matériel, par toutes les ruines accumulées.

On connaît ce cercle vicieux où depuis quarante ans nous

avons vu rouler et se débattre tant de peuples et tant de gouvernements. Des gouvernés n'acceptant les concessions que leur faisait le pouvoir que comme un faible à-compte payé à contre-cœur par un débiteur de mauvaise foi. Des gouvernements qui ne voyaient dans les demandes qu'on leur adressait que les embûches d'un ennemi hypocrite. Eh bien, cette situation, cette réciprocité de mauvais sentiments, détestable et démoralisante partout et toujours, est encore grandement envenimée ici par le caractère particulièrement sacré du pouvoir et par la nature tout exceptionnelle de ses rapports avec ses sujets. Car, encore une fois, dans la situation donnée et sur la pente où l'on se trouve placé, non-seulement par la passion des hommes, mais par la force même des choses, — toute concession, toute réforme, pour peu qu'elle soit sincère et sérieuse, pousse infailliblement l'Etat romain vers une sécularisation complète. La sécularisation, nul n'en doute, est le dernier mot de la situation. Et cependant le Pape, sans droit pour l'accorder même dans les temps ordinaires, puisque la souveraineté temporelle n'est pas son bien, mais celui de l'Eglise de Rome, — pourrait bien moins encore y consentir maintenant qu'il a la certitude que cette sécularisation, lors même qu'elle serait accordée à des nécessités réelles, tournerait en définitive au profit des ennemis jurés, non pas de son pouvoir seulement, mais de l'Eglise elle-même. Y consentir, ce serait se rendre coupable d'apostasie et de trahison tout à la fois. Voici pour le Pouvoir. Pour ce qui est des sujets, il est clair que cette antipathie invétérée contre la domination des prêtres, qui constitue tout l'esprit public de la population romaine, n'aura pas diminué par suite des derniers événements.

Et si d'une part une semblable disposition des esprits suffit à elle seule pour faire avorter les réformes les plus généreuses et les plus loyales, d'autre part l'insuccès de ces réformes ne peut qu'ajouter infiniment à l'irritation générale, confirmer l'opinion dans sa haine pour l'autorité rétablie et—recruter pour l'ennemi.

Voilà certes une situation parfaitement déplorable et qui a tous les caractères d'un châtiment providentiel. Car pour un prêtre chrétien quel plus grand malheur peut-on imaginer que celui de se voir ainsi fatalement investi d'un pouvoir qu'il ne peut exercer qu'au détriment des âmes et pour la ruine de la Religion!... Non, en vérité, cette situation est trop violente, trop contre nature pour pouvoir se prolonger. Châtiment ou épreuve, il est impossible que la Papauté romaine reste longtemps encore enfermée dans ce cercle de feu sans que Dieu dans sa miséricorde lui vienne en aide et lui ouvre une voie, une issue merveilleuse, éclatante, inattendue — ou, disons mieux, attendue depuis des siècles.

Peut-être en est-elle séparée encore, elle—la Papauté et l'Eglise soumise à ses lois, par bien des tribulations et bien des désastres; peut-être n'est-elle encore qu'à l'entrée de ces temps calamiteux. Car ce ne sera pas une petite flamme, ce ne sera pas un incendie de quelques heures que celui qui, en dévorant et réduisant en cendres des siècles entiers de préoccupations mondaines et d'inimitiés anti-chrétiennes, fera enfin crouler devant elle cette fatale barrière qui lui cachait l'issue désirée.

Et comment à la vue de ce qui se passe, en présence de cette organisation nouvelle du principe du mal, la plus savante et la plus formidable que les hommes aient jamais vue, — en présence de ce monde du mal tout constitué et tout armé, avec son église d'irréligion et son gouvernement de révolte, — comment, disons nous, serait-il interdit aux chrétiens d'espérer que Dieu daignera proportionner les forces de Son Eglise à Lui, à la nouvelle tâche qu'Il lui assigne? — Qu'à la veille des combats qui se préparent Il daignera lui restituer la plénitude de ses forces, et qu'à cet effet Lui-même, à son heure, viendra, de Sa main miséricordieuse, guérir au flanc de Son Eglise la plaie que la main des hommes y a faite — cette plaie ouverte qui saigne depuis huit cents ans!...

L'Eglise Orthodoxe n'a jamais désespéré de cette guérison. Elle l'attend — elle y compte — non pas avec confiance, mais avec certitude. Comment ce qui est Un par principe, ce qui est Un dans l'Eternité, ne triompherait-il pas de la désunion dans le temps? En dépit de la séparation de plusieurs siècles et à travers toutes les préventions humaines elle n'a cessé de reconnaître que le principe chrétien n'a jamais péri dans l'Eglise de Rome; qu'il a toujours été plus fort en elle que l'erreur et la passion des hommes, et voilà pourquoi elle a la conviction intime qu'il sera plus fort que tous ses ennemis. Elle sait, de plus, qu'à l'heure qu'il est, comme depuis des siècles, les destinées chrétiennes de l'Occident sont toujours encore entre les mains de l'Eglise de Rome et elle espère qu'au jour de la grande réunion elle lui restituera intact ce dépôt sacré.

Qu'il nous soit permis de rappeler, en finissant, un incident qui se rattache à la visite que l'Empereur de Russie a faite à Rome en 1846. On s'y souviendra peut-être encore de l'émotion générale qui l'a accueilli à son apparition dans l'église de Saint-Pierre — l'apparition de l'Empereur orthodoxe revenu à Rome après plusieurs siècles d'absence! et du mouvement électrique qui a parcouru la foule lorsqu'on l'a vu aller prier au tombeau des Apôtres. Cette émotion était juste et légitime. L'Empereur prosterné n'y était pas seul. Toute la Russie était là prosternée avec lui. — Espérons qu'il n'aura pas prié en vain devant les saintes reliques.

Lettre sur la censure en Russie.

Je profite de l'autorisation que vous avez bien voulu me donner, pour vous soumettre quelques réflexions, qui se rattachent à l'objet de notre dernier entretien. Je n'ai assurément pas besoin de vous exprimer encore une fois ma sympathique adhésion à l'idée que vous avez eu la bonté de me communiquer et, dans le cas où on tenterait de la réaliser, de vous assurer de ma sérieuse bonne volonté de la servir de tous mes moyens. Mais c'est précisément pour être mieux à même de le faire que je crois devoir, avant toute chose, m'expliquer franchement vis-à-vis de vous sur ma manière d'envisager la question. Il ne s'agit pas ici, bien entendu, de faire une profession de foi politique. Ce serait une puérilité: de nos jours, en fait d'opinions politiques. tous les gens raisonnables sont à peu près du même avis; on ne diffère les uns des autres que par le plus ou le moins d'intelligence que l'on apporte à bien reconnaître ce qui est et à bien apprécier ce qui devrait être. C'est sur le plus ou le moins de vérité qui se trouve dans ces appréciations

qu'il s'agirait avant tout de s'entendre. Car s'il est vrai (comme vous l'avez dit, mon prince) qu'un esprit pratique ne saurait vouloir dans une situation donnée que ce qui est réalisable eu égard aux personnes, il est tout aussi vrai qu'il serait peu digne d'un esprit réellement pratique de vouloir une chose quelconque en dehors des conditions naturelles de son existence. Mais, venons au fait. S'il est une vérité, parmi beaucoup d'autres, qui soit sortie, entourée d'une grande évidence, de la sévère expérience des dernières années, c'est assurément celle-ci : il nous a été rudement prouvé qu'on ne saurait imposer aux intelligences une contrainte, une compression trop absolue, trop prolongée, sans qu'il en résulte des dommages graves pour l'organisme social tout entier. Il paraît que tout affaiblissement, toute diminution notable de la vie intellectuelle dans une société tourne nécessairement au profit des appétits matériels et des instincts sordidement égoïstes. Le Pouvoir lui-même n'échappe pas à la longue aux inconvénients d'un pareil régime. Un désert, un vide intellectuel immense se fait autour de la sphère où il réside, et la pensée dirigeante, ne trouvant en dehors d'elle-même ni contrôle, ni indication, ni un point d'appui quelconque, finit par se troubler et par s'affaisser sous son propre poids, avant même que de succomber sous la fatalité des événements. Heureusement cette rude leçon n'a pas été perdue. Le sens droit et la nature bienveillante de l'Empereur régnant ont compris qu'il y avait lieu à se relâcher de la rigueur excessive du système précédent et à rendre aux intelligences l'air qui leur manquait... Eh bien (je le dis avec une entière conviction), pour qui a suivi depuis lors dans son ensemble le travail des esprits, tel qu'il s'est produit dans le mouvement littéraire du pays, il est

impossible de ne pas se féliciter des heureux effets de ce changement de système. Je ne me dissimule pas plus qu'un autre les côtés faibles et parfois même les écarts de la littérature du jour; mais il y a un mérite qu'on ne saurait lui refuser sans injustice, et ce mérite-là est bien réel: c'est que du jour où la liberté de la parole lui a été rendue dans une certaine mesure, elle s'est constamment appliquée à exprimer de son mieux et le plus fidèlement possible la pensée même du pays. A un sentiment très vif de la réalité contemporaine et à un talent souvent fort remarquable de la reproduire, elle a joint une sollicitude non moins vive pour tous les besoins réels, pour tous les intérêts, pour toutes les plaies de la société russe. Comme le pays lui-même, en fait d'améliorations à accomplir, elle ne s'est préoccupée que de celles qui étaient possibles, pratiques et clairement indiquées, sans se laisser envahir par l'utopie, cette maladie si éminemment littéraire. Si dans la guerre qu'elle a faite aux abus elle s'est laissée parfois entraîner à d'évidentes exagérations, on peut dire, en son honneur, que dans son zèle à les combattre elle n'a jamais séparé dans sa pensée les intérêts de l'Autorité Suprême d'avec ceux du pays: tant elle était pénétrée de cette sérieuse et loyale conviction, que faire la guerre aux abus, c'était la faire aux ennemis personnels de l'Empereur... Souvent, de nos jours, de pareils dehors de zèle ont, je le sais bien, recouvert de très manvais sentiments et servi à dissimuler des tendances qui n'étaient rien moins que loyales; mais, grâce à l'expérience que les hommes de notre âge doivent avoir nécessairement acquise, rien de plus facile que de reconnaître, à la première vue, ces ruses du métier, et le faux dans ce genre ne trompe plus personne.

On peut affirmer qu'à l'heure qu'il est, en Russie il y a deux sentiments dominants et qui se retrouvent presque toujours étroitement associés l'un à l'autre: c'est l'irritation et le dégoût que soulève la persistance des abus, et une religieuse confiance dans les intentions pures, droites et bienveillantes du Souverain.

On est généralement convaincu que personne plus que Lui ne souffre de ces plaies de la Russie et n'en désire plus énergiquement la guérison; mais nulle part peut-être cette conviction n'est aussi vive et aussi entière que précisément dans la classe des hommes de lettres, et c'est remplir le devoir d'un homme d'honneur, que de saisir toutes les occasions pour proclamer bien haut qu'il n'y a pas peut-être en ce moment de classe de la société qui soit plus pieusement dévouée que celle-ci à la Personne de l'Empereur.

Ces appréciations (je ne le cache pas) pourraient bien rencontrer plus d'un incrédule dans quelques régions de notre monde officiel. C'est que de tout temps il y a eu dans ce monde-là comme un parti pris de défiance et de mauvaise humeur, et cela s'explique fort bien par la spécialité du point de vue. Il y a des hommes qui ne connaissent de la littérature que ce que la police des grandes villes connaît du peuple qu'elle surveille, c'est-à-dire les incongruités et les désordres auxquels le bon peuple se laisse parfois entraîner.

Non, quoi qu'on en dise, le gouvernement jusqu'à présent n'a pas en lieu de se repentir d'avoir mitigé en faveur de la presse les rigueurs du régime que pesait sur elle. Mais dans cette question de la presse, était-ce là tout ce qu'il y avait à faire, et en présence de ce travail des esprits plus libre et à mesure que le mouvement littéraire ira gran-

dissant, l'utilité et la nécessité d'une direction supérieure ne se fera-t-elle pas sentir tous les jours davantage? La censure à elle seule, de quelque manière qu'elle s'exerce, est loin de suffire aux exigences de cette situation nouvelle. La censure est une borne et n'est pas une direction. Or, chez nous, en littérature comme en toute chose, il s'agit bien moins de réprimer que de diriger. La direction, une direction forte, intelligente, sûre d'elle-même, voilà le cri du pays, voilà le mot d'ordre de notre situation tout entière.

On se plaint souvent de l'esprit d'indocilité et d'insubordination qui caractérise les hommes de la génération nouvelle. Il y a beaucoup de malentendu dans cette accusation. Ce qui est certain c'est qu'à aucune autre époque il n'y a eu autant d'intelligences actives à l'état de disponibilité et rongeant comme un frein l'inertie qui leur est imposée. Mais ces mêmes intelligences, parmi lesquelles se recrutent les ennemis du Pouvoir, bien souvent ne demandent pas mieux que de le suivre, du moment qu'il veut bien se prêter à les associer à son action et à marcher résolûment à leur tête. C'est cette vérité d'expérience, enfin reconnue, qui, depuis les dernières crises révolutionnaires en Europe, a beaucoup contribué dans les différents pays à modifier sensiblement les rapports du Pouvoir avec la presse. Et ici, mon prince, je me permettrai de rappeler, à l'appui de ma thèse, le témoignage de vos propres souvenirs.

Vous, qui avez connu comme moi l'Allemagne d'avant 1848, vous devez vous rappeler quelle était l'attitude de la presse d'alors vis-à-vis des gouvernements allemands, quelle aigreur, quelle hostilité caractérisait ses rapports avec eux, que de tracas et de soucis elle leur suscitait.

Eh bien, comment se fait-il que maintenant ces disposi-

tions haineuses aient en grande partie disparu et aient fait place à des dispositions essentiellement différentes?

C'est qu'aujourd'hui ces mêmes gouvernements, qui considéraient la presse comme un mal nécessaire qu'ils étaient obligés de subir tout en le détestant, ont pris le parti de chercher en elle une force auxiliaire et de s'en servir comme d'un instrument approprié à leur usage. Je ne cite cet exemple que pour prouver que dans des pays déjà fortement entamés par la révolution, une direction intelligente et énergique trouve toujours des esprits disposés à l'accepter et à la suivre. Car, d'ailleurs, autant que qui que ce soit je hais, quand il s'agit de nos intérêts, toutes ces prétendues analogies que l'on va chercher à l'étranger: presque toujours comprises à demi, elle nous ont fait trop de mal pour que je sois disposé à invoquer leur autorité.

Chez nous, grâce au Ciel, ce ne sont pas absolument les mêmes instincts, les mêmes exigences qu'il s'agirait de satisfaire; ce sont d'autres convictions, des convictions moins entamées et plus désintéressées qui répondraient à l'appel du Pouvoir.

En effet, malgré les infirmités qui nous affligent et les vices qui nous déforment, il y a encore chez nous dans les âmes (on ne saurait assez le redire) des trésors de bonne volonté intelligente et d'activité d'esprit dévouée qui n'attendent, pour se livrer, que des mains sympathiques, qui sachent les reconnaître et les recueillir. En un mot, s'il est vrai, comme on l'a si souvent dit, que l'Etat a charge d'âmes aussi bien que l'Eglise, nulle part cette vérité n'est plus évidente qu'en Russie, et nulle part aussi (il faut bien le reconnaître) cette mission de l'Etat n'a été plus facile à exercer et à accomplir. C'est donc avec une satisfaction, une adhésion

unanimes, que l'on verrait chez nous le Pouvoir, dans ses rapports avec la presse, assumer sur lui la direction de l'esprit public, sérieusement et loyalement comprise, et revendiquer comme son droit le gouvernement des intelligences.

Mais, mon prince, comme ce n'est pas un article semiofficiel que j'écris en ce moment, et que, dans une lettre toute de confiance et de sincérité, rien ne serait plus ridiculement déplacé que les circonlocutions et les réticences, je tâcherai d'expliquer de mon mieux quelles seraient à mon avis les conditions auxquelles le Pouvoir pourrait prétendre à exercer une pareille action sur les esprits.

D'abord, il faut prendre le pays tel qu'il est dans le moment donné, livré à de très pénibles, de très légitimes préoccupations d'esprit, entre un passé rempli d'enseignements (il est vrai), mais aussi de bien décourageantes expériences, et un avenir tout rempli de problèmes.

Il faudrait ensuite, par rapport à ce pays, se décider à reconnaître ce que les parents, qui voient leurs enfants grandir sous leurs yeux, ont tant de peine à s'avouer, c'est qu'il vient un âge où la pensée aussi est adulte et veut être traitée comme telle. Or, pour conquérir, sur des intelligences arrivées à l'âge de raison, cet ascendant moral, sans lequel on ne saurait prétendre à les diriger, il faudrait avant tout leur donner la certitude que sur toutes les grandes questions, qui préoccupent et passionnent le pays en ce moment, il y a dans les hautes régions du Pouvoir, sinon des solutions toutes prêtes, au moins des convictions fortement arrêtées et un corps de doctrine lié dans toutes ses parties et conséquent à lui-même.

Non, certes, il ne s'agit pas d'autoriser le public à inter-

venir dans les délibérations du conseil de l'Empire, ou d'arrêter de compte à demi avec la presse le programme des mesures du gouvernement. Mais ce qui serait bien essentiel, c'est que le Pouvoir fût lui-même assez convaincu de ses propres idées, assez pénétré de ses propres convictions pour qu'il éprouvât le besoin d'en répandre l'influence au dehors, et de la faire pénétrer, comme un élément de régénération, comme une vie nouvelle, dans l'intimité de la conscience nationale. Ce qui serait essentiel en présence des écrasantes difficultés qui pèsent sur nous, c'est qu'il comprît que sans cette communication intime avec l'âme même du pays, sans le réveil plein et entier de toutes ces énergies morales et intellectuelles, sans leur concours spontané et unanime à l'œuvre commune, le gouvernement, réduit à ses propres forces, ne peut rien, pas plus au dehors qu'au dedans, pas plus pour son salut que pour le nôtre.

En un mot, il faudrait que tous, public et gouvernement, nous ne cessassions de nous dire et de nous répéter que les destinées de la Russie sont comme un vaisseau échoué, que tous les efforts de l'équipage ne réussiront jamais à dégager et que seule la marée montante de la vie nationale parviendra à soulever et à mettre à flot.

Voilà, selon moi, au nom de quel principe et de quel sentiment le Pouvoir pourrait en ce moment avoir prise sur les âmes et sur les intelligences, qu'il pourrait pour ainsi dire les mettre dans sa main et les emporter où bon lui semblerait. Cette bannière-là, elles la suivraient partout.

Inutile de dire que je ne prétends nullement pour cela ériger le gouvernement en prédicateur, le faire monter en chaire et lui faire débiter des sermons devant une assistance silencieuse. C'est son esprit et non sa parole qu'il devrait mettre dans la propagande loyale qui se ferait sous ses auspices.

Et même, comme la première condition de succès, dès qu'on veut persuader les gens, c'est de se faire écouter d'eux, il est bien entendu que cette propagande de salut, pour se faire accueillir, bien loin de limiter la liberté de discussion, la suppose au contraire aussi franche et aussi sérieuse que les circonstances du pays peuvent la permettre.

Car est-il nécessaire d'insister pour la millième fois sur un fait d'une évidence aussi flagrante que celui-ci: c'est que de nos jours, partout où la liberté de discussion n'existe pas dans une mesure suffisante, là rien n'est possible, mais absolument rien, moralement et intellectuellement parlant. Je sais combien dans ces matières il est difficile (pour ne pas dire impossible) de donner à sa pensée le degré de précision nécessaire. Comment définir par exemple ce que l'on entend par une mesure suffisante de liberté en matière de discussion? Cette mesure, essentiellement flottante et arbitraire. n'est bien souvent déterminée que par ce qu'il y a de plus intime et de plus individuel dans nos convictions, et il faudrait pour ainsi dire connaître tout l'homme pour savoir au juste le sens qu'il attache aux mots en parlant sur ces questions. Pour ma part, j'ai depuis plus de trente ans suivi, comme tant d'autres, cette insoluble question de la presse dans toutes les vicissitudes de sa destinée, et vous me rendrez la justice de croire, mon prince, qu'après un aussi long temps d'études et d'observations cette question ne saurait être pour moi que l'objet de la plus impartiale et de la plus froide appréciation. Je n'ai donc ni parti pris, ni préventions sur rien de ce qui y a rapport; je n'ai pas même d'animosité exagérée contre la censure, bien que dans ces dernières années elle ait pesé sur la Russie comme une véritable calamité publique. Tout en admettant son opportunité et son utilité relative, mon principal grief contre elle, c'est qu'elle est selon moi profondément insuffisante dans le moment actuel dans le sens de nos vrais besoins et de nos vrais intérêts. Au reste la question n'est pas là, elle n'est pas dans la lettre morte des règlements et des instructions qui n'ont de valeur que par l'esprit qui les anime. La question est tout entière dans la manière dont le gouvernement luimême dans son for intérieur considère ses rapports avec la presse; elle est, pour tout dire, dans la part plus ou moins grande de légitimité qu'il reconnaît au droit de la pensée individuelle.

Et maintenant, pour sortir une bonne fois des généralités et pour serrer de plus près la situation du moment, permettez-moi, mon prince, de vous dire, avec toute la franchise d'une lettre entièrement confidentielle, que tant que le gouvernement chez nous n'aura pas, dans les habitudes de sa pensée, essentiellement modifié sa manière d'envisager les rapports de la presse vis-à-vis de lui, — tant qu'il n'aura pas, pour ainsi dire, coupé court à tout cela, rien de sérieux, rien de réellement efficace ne saurait être tenté avec quelque chance de succès; et l'espoir d'acquérir de l'ascendant sur les esprits, au moyen d'une presse ainsi administrée, ne serait jamais qu'une illusion.

Et cependant il faudrait avoir le courage d'envisager la question telle qu'elle est, telle que les circonstances l'ont faite. Il est impossible que le gouvernement ne se préoccupe très sérieusement d'un fait qui s'est produit depuis quelques années et qui tend à prendre des développements dont personne ne saurait dès à présent prévoir la portée et les con-

séquences. Vous comprenez, mon prince, que je veux parler de l'établissement des presses russes à l'étranger, hors de tout contrôle de notre gouvernement. Le fait assurément est grave, et très grave, et mérite sa plus sérieuse attention. Il serait inutile de chercher à dissimuler les progrès déjà réalisés par cette propagande littéraire. Nous savons qu'à l'heure qu'il est, la Russie est inondée de ces publications, qu'elles sont avidement recherchées, qu'elles passent de main en main, avec une grande facilité de circulation, et qu'elles ont déjà pénétré, sinon dans les masses qui ne lisent pas, au moins dans les couches très inférieures de la société. D'autre part, il faut bien s'avouer qu'à moins d'avoir recours à des mesures positivement vexatoires et tyranniques, il sera bien difficile d'entraver efficacement, soit l'importation et le débit de ces imprimés, soit l'envoi à l'étranger des manuscrits destinés à les alimenter. Eh bien, ayons le courage de reconnaître la vraie portée, la vraie signification de ce fait: c'est tout bonnement la suppression de la censure, mais la suppression de la censure au profit d'une influence mauvaise et ennemie; et pour être plus en mesure de la combattre, tâchons de nous rendre compte de ce qui fait sa force et de ce qui lui vaut ses succès.

Jusqu'à présent, en fait de presse russe à l'étranger, il ne peut, comme de raison, être question que du journal de Herzen. Quelle est donc la signification de Herzen pour la Russie? Qui le lit? Sont-ce par hasard ses utopies socialistes et ses menées révolutionnaires qui le recommandent à son attention? Mais parmi les hommes de quelque valeur intellectuelle qui le lisent, croit-on qu'il y en ait 2 sur 100 qui prennent au sérieux ses doctrines et ne les considèrent comme une monomanie plus ou moins involontaire, dont il

s'est laissé envahir? Il m'a même été assuré, ces jours-ci, que des hommes qui s'intéressent à son succès l'avaient très sérieusement exhorté à rejeter loin de lui toute cette défroque révolutionnaire, pour ne pas affaiblir l'influence qu'ils voudraient voir acquise à son journal. Cela ne prouve-t-il pas que le journal de Herzen représente pour la Russie toute autre chose que les doctrines professées par l'éditeur? Or, comment se dissimuler que ce qui fait sa force et lui vaut son influence, c'est qu'il représente pour nous la discussion libre dans des conditions mauvaises (il est vrai), dans des conditions de haine et de partialité, mais assez libres néanmoins (pourquoi le nier?) pour admettre au concours d'autres opinions, plus réfléchies, plus modérées et quelques-unes même décidément raisonnables. Et maintenant que nous nous sommes assuré où gît le secret de sa force et de son influence, nous ne serons pas en peine, de quelle nature sont les armes que nous devons employer pour le combattre. Il est évident que le journal qui accepterait une pareille mission ne pourrait rencontrer des chances de succès que dans des conditions d'existence quelque peu analogues à celles de son adversaire. C'est à vous, mon prince, de décider, dans votre bienveillante sagesse, si dans la situation donnée, et que vous connaissez mieux que moi, de pareilles conditions sont réalisables, et jusqu'à quel point elles le sont. Assurément ni les talents, ni le zèle, ni les convictions sincères ne manqueraient à cette publication; mais en accourant à l'appel qui leur serait adressé ils voudraient, avant toute chose, avoir la certitude qu'ils s'associent, non pas à une œuvre de police, mais à une œuvre de conscience; et c'est pourquoi ils se croiraient en droit de réclamer toute la mesure de liberté que suppose et nécessite une discussion vraiment sérieuse et efficace.

Voyez, mon prince, si les influences qui auraient présidé à l'établissement de ce journal et qui protégeraient son existence, s'entendraient à lui assurer la mesure de liberté dont il aurait besoin, si peut-être elles ne se persuaderaient pas que, par une sorte de reconnaissance pour le patronage qui lui serait accordé et par une sorte de déférence pour sa position privilégiée, le journal qu'ils considéreraient en partie comme le leur ne serait pas tenu à plus de réserve encore et à plus de discrétion que tous les autres journaux du pays.

Mais cette lettre est trop longue, et j'ai hâte de la finir. Permettez-moi seulement, mon prince, d'y ajouter en terminant ce peu de mots qui résument ma pensée tout entière. Le projet que vous avez eu la bonté de me communiquer me paraîtrait d'une réalisation, sinon facile, du moins possible, si toutes les opinions, toutes les convictions honnêtes et éclairées avaient le droit de se constituer librement et ouvertement en une milice intelligente et dévouée des inspirations personnelles de l'Empereur.

-- O'M OI

Recevez, etc.

Novembre, 1857.

опечатки.

СТРАН.	CTPORA.	напечатано:	СЛЪДУЕТЪ:		
3	12	храмъ	. храмъ		
90	14	1827	. 1832		
115	4	Но	. He		
206	7	нъкода	. нъкогда		
220	1	зеленветъ	. зеленћетъ,		
239	4	своенравно,	. своеправил,		
241	1	пототъ	. потомъ		
244	5	будь	, бурь		
256	14	въ весит	. къ весић		
269	7	отступническомь	. отступническомъ		
272	(въ заглавін)	A . Θ . To $-\pi$. Д. Ө. Т-ой.		
291	7	растила	. растянла		
298	1	вразуминиць	. вразумишь		
305	16	тяжскій	. тяжкій		
346	6	Катишь	. катишь		
384	2	укрытен	. укрыться		
389	5	пережить	. пережитъ		
408	ō	Севъръ	. Съверъ		
426	3	тебя	. себя		
	13	вънкваотвъдор	ванковолякого.		
428	8	утрежденія	. учрежденія		
432	28	стало	. стала		
461	20	романтизмъ	. романизмъ		
489	18	Кн. М. Д. Горчакову	. Кн.А. М.Горчакову		
530	6	mais encore pas	. mais pas		
511	4	incessamment	. nécessairement		
560	9	censé	. cessé		
575	28	que	. qui		







LHR

